



ВИТРАЖИ
литературный альманах

“Лукоморье”
2018

ВИТРАЖИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУКОМОРЬЕ»

МЕЛЬБУРН

2018

© Copyright 2018 by authors.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from the authors.

ISBN 978-0-9946108-3-6

Design and Artwork:

Graphics:

Efim Gammer

Paintings from:

Efim Gammer

Ruvim Nemirovsky

Cover design:

Ruvim Nemirovsky

Zalman Shmeylin

**Literary Creative Association
“LUKOMORIE” Inc.**

Printed in Australia

Melbourne

2018

ПОЭЗИЯ
ЯИЗЭОП



НУРИ БУРНАШ (р. 1975, наст. имя – **Искандер Абдуллин**) – казанский писатель, преподаватель, публицист и радиоведущий. Закончил филфак КГУ. Первая публикация состоялась в 1988 в газете "Вечерняя Казань" (с предисловием Е. Евтушенко). С 1993 по 2000 возглавлял литературно-философское общество *Altera Pars*. Редактор литературного альманаха "Лица" (Казань, 1999-2001). Автор двух поэтических книжек («Двадцать одно», «Графика») и пестрого букета публикаций в СМИ – отечественных и не очень. Стихи переводились на татарский и немецкий языки. Учитель студентов русской литературе, член Союза российских писателей, участник фестивалей (Коктебель, Тарту, Петербург, Гисен, Екатеринбург и пр.), победитель республиканского поэтического слэма (2016).



KZN.tat

Повсюду Казань, Жень,
Куда ни пойдешь, Леш.
И даже в Париж, Миш,
Ты тащишь Казань, Ань.
Не нужно у касс час
Сто первый стоять раз.
С вокзала Казань Пасс
Везут до Казань Пасс.
Ты можешь хотеть в Рим.
Ты можешь лететь в Крым.
Снимай, пилигрим, грим:
Не скрыться под ним.
Что в сумке твоей, гость?
Татарских молитв горсть?
Казанских дворов гроздь?
Зилантова кость?
Хоть вовсе не пей чай,
Хоть чаянья свои чай,
Ты в этот пророс край
По самый тукай.

ЛИВЕНЬ

Адамы под навесами
торчат, окоченев:

под хлябями небесными
хрен догребешь до ев.
Распутица, бескормица,
в Эдеме дождь стеной –
а Ной все не торопится
Кон-Тики строить свой.
А Ной все ждет знамения –
и лишь отсрочке рад
угревшийся в расщелине
непарный шелкопряд.
Забыл соблазна навыки
Змей, погруженный в сон, –
И тяжелеют яблоки,
и падают в Гихон.

Шамбала

Мы, жители Шамбалы, тайной страны,
мельчаем в панельных ашрамах, но сны
нас делают выше;
мы сами себе не рабы, не цари,
а царь наш – Сучандра, как мы говорим,
пока он не слышит.
В часы медитаций уйдя далеко,
брахманы постигли, что нет ничего
прекрасней свободы –
и, видя с мигалкой кортеж колесниц,
мы так же по-прежнему падаем ниц –
но дерзко и гордо.
Нам, неприкасаемым, знать застит взор.
Надсадно Сансары скрипит колесо,
вращаясь на месте.
Репризой не вытянуть старый сюжет,
ведь ставит до боли родной шамбалет
наш шамбалетмейстер.
Давно уже черви проели закон –
одну кама-сутру мы помним с пелен,
зато досканально.
Когда же нас ночью теснит пустота,
целительный чай отверзает врата

и гонит печаль, но
едва ли поможет священный отвар,
когда на заборе поверх старых мантр
лишь новые мантры.

Утрачено все искусство письма:
искусственным мозгом забиты дома
по самые чакры.

Луч солнечный редко доходит сюда
и часто такие стоят холода,
что ёжятся йоги.

К нам путь переменчив и скользок, как ложь,
а если случайно ты нас и найдешь –
не вспомнишь дороги.

pro amor

Клеить бабу учили в подъезде.
Рыжий Вовка по кличке «Тулуп»
был в немыслимом авторитете
и плевал через выбитый зуб.

На немые уши пацанские
ровным слоем ложилась лапша,
но методика той аппликации
до сих пор в наших душах свежа.
Был доходчив спецкурс корифея,
а греховные тайны – просты.

Наши, ерзя по батарее,
как в геенне, горели зады.

"...есть такие: не знают покоя,
так и тащат за шкурку в постель!"

– на романтике улиц настоен
заблуждений пьянящий коктейль.

Сколько ж трещин и сколько царапин
на бесчисленных гранях таит,
миллионами пальцев залапан,
той бесстыжей науки гранит!

Ток незамысловатой интриги.

Тусклый свет. Вкус чужих папирос.

Нет, стратеги подъездных блицкригов
не забыли своих барбаросс!

Помним, что говорить, обнимая.
Брать умеем, не глядя в глаза.
Только как расставаться – не знаем:
что-то Вовка недорассказал.

Тонко-тонко, тихо-тихо
у окна строчит пичуга;
зверь паук плетет интригу;
спит беспечная округа.
Зарастают паутиной
звезд бессмысленные гроздья;
гости в комнате гостиной
завелись и не уходят.
Над столом парит спиртное
и окурок в грязной чашке;
чей-то муж с ничьей женою
мне расскажут на ночь сказку,
увлекательную повесть
о живых и тех, кто помер, –
вот ведь как бывает! –
то есть,
обо всем на свете, кроме.
Будет он шутить нескладно,
а она смотреть устало.
Грянет полночь и кантата
для нетрезвого вокала.
После будет гость неправ, но
буду я великодушен.
А потом я стану плавным
и засну под теплым душем.
И дождя аплодисменты
шелестеть начнут негромко
да пружины петь за стенкой –
тихо-тихо. Тонко-тонко.

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



Родился и живет в Минске. Окончил БГУ. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранного «Времена», книги избранных произведений «Просветление». Лауреат многих международных литературных премий, в т.ч. им. Э. Хемингуэя (Канада), «Литературный европеец» (Германия), им. К. Бальмонта (Австралия), им. С. Есенина, им. Б. Корнилова, им. А. Чехова, им. В. Пикуля (все – Россия) и др. Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств. Главный редактор журнала «Новая

Немига литературная». Почетный член Союза русскоязычных писателей Болгарии.

Воды остыли, раскисли дороги.
Скоро, наверное, Праведный Суд.
Люди боятся – гневливые боги
Что еще страшного им принесут?

Болью и ложью истерзанный весь я,
Мучусь иным у грядущих Голгоф –
Что вознесется со мной в поднебесье,
Чем испугаю усталых богов?..

Когда подступает обид череда,
И мир покидают хорошие люди,
Я в миг роковой вспоминаю всегда,
Что лучше не будет...

И в небе напрасную птицу слежу,
И взгляд мне звезда обжигает всевластно.
Но я всё о том же твержу и сужу –
Мол, всё не напрасно...

Никем не отменится час роковой...
И слепо бредя по пузырячатой луже,
Шепчу еле слышно: «Гордись, что живой...
Бывает и хуже...»

Пусть целит судьба, чтоб ударить под дых,
И звезды тускнеют в неоновом свете,
Пусть ветер свистит в колокольнях пустых,
Он все-таки ветер...

Узколицая тень всё металась по стареньким сходням,
И мерцал виновато давно догоревший костер...
А поближе к полуночи вышел отец мой в исподнем,
К безразличному небу худые ладони простер.

И чего он хотел?.. Лишь ступней необутой примятый,
Побуревший листочек все рвался лететь в никуда.
И ржавела трава... И клубился туман возле хаты...
Да в озябшем колодце звезду поглотила вода.

Затаилась луна... И ползла из косматого мрака
Золоченая нежить, чтоб снова ползти в никуда...
Вдалеке завывала простуженным басом собака
Да надрывно гудели о чем-то своем провода.

Так отцова рука упиралась в ночные просторы,
Словно отодвигая подальше грядущую жуть,
Что от станции тихо отъехал грохочущий «скорый»,
Чтоб во тьме растворяясь, молитвенных слов не спугнуть...

И отец в небесах...
И нет счета все новым потерям.
И увядший букетик похож на взъерошенный ил...
Но о чем он молился в ночи, если в Бога не верил?..
Он тогда промолчал... Ну а я ничего не спросил...

Шепоткам назло, глазам колючим,
Недругам, что ждут невдалеке,

Я пишу на русском, на могучем,
На роднящем души языке.

Я пишу... И слышится далече,
Сквозь глухую летопись времен,
Исполинский рокот русской сечи,
Звонниц серебристый перезвон.

И живот в бою отдав за друга,
Друг уходит в лучшие миры...
И по-русски просит пить пичуга,
И стучат по-русски топоры.

И рожден родного слова ради,
Будет чист прозренья чудный миг,
Как слезинка кроткого дитяти,
Что стекла на белый воротник...

Догорала заря... Сивер выл над змеистым обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян...
А он шел, напевая... Он был озорным и счастливым...
– Как же звать тебя, **милай?**.. И вторило эхо: «Иван...»

Он шагал через луг... Чертыхаясь – несжатой полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки.
– И куда ты, Иване? – Туда, где красою неброской
Очарован, стекает косматый туман со стрехи...

– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что, с утра зародясь в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат...

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет ладонь.
Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана –
Подрастет и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!»

Нараспашку душа... Да и двери не заперты на ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу...
– Ты откуда, Иван? – Так автобус сломался, Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца... В авоське несу...

«А я любил советскую страну...»
Геннадий Красников

Скорей не потому, а вопреки,
Что над страной моей погасло солнце,
Я вас люблю, родные старики,
Матросова люблю и краснодонцев.

О, сколько было строек и атак
В моей стране, исчезнувшей!.. Однако
Ее люблю, не глядя на ГУЛАГ
И несмотря на травлю Пастернака.

Теперь она отчетливей видна,
Там дух иной и истинность – иная,
Где радио хрипело допоздна,
Что широка страна моя родная.

Мне до сих пор ночами напролет,
Из памяти виденья доставая,
Русланова про «Валенки» поет
И три танкиста гонят самураев...

Там Сталинград еще не Волгоград,
Там «Тихий Дон», там песенное слово.
И в ноябре, как водится, парад –
Под первый снег... В каникулы... Седьмого...

Мне в детские видения слова
Впечатались, чтоб нынче повториться:
«Столица нашей Родины – Москва...»
Я там же... Не Москва моя столица...

Смахну слезу... На несколько минут
Прижмусь щекой к отцовскому портрету.
Седьмое ноября... У нас – салют...
Во славу той страны, которой нету.

ГРИГОРИЙ АМБУРГ



Родился и вырос в совдепии... в Узбекистане. Образование моё – экономическое. В 1990 году эмигрировал в Израиль. В 2009 – переехал в Австралию. Страстный поклонник авторской песни. Потому и сам написал более ста стихотворений (песен) и рассказов.

Мы несем в себе в солнечный день и снега и дожди,
Те, которые были уже и которые, может быть, будут.
Но когда это все позади, или все впереди,
Трудно взять и понять невзначай, что ветра еще дунут.

И что будет похлеще, быть может, чем прошлой зимой,
Враз внезапная осень раскроет объяття сырые.
Ну и что до того, ведь сегодня парИт над тобой
Летний зной, утверждая порядки свои и законы другие.

Ну а в пасмурный день, вспоминая о солнце с тоской,
Или в радости тень убежав от лучей его жгучих,
Мы хотим все равно насладиться погодой другой.
И летим в перемены, как прежде, надеясь на случай.

Нет, не новы слова. Смысл и цель ну никак не новЫ.
Взбудоражить пытаемся нерв, заглубивший под кожей,
И с собою на "Ты" говоря, остаемся на "Вы"
С тихим временем, что продолжает итожить.

Сквозняком разметало листки
Вместе с рифмами притороченными.
Разлетевшихся мыслей куски
Неизбежностью озабочены.

Им другим бы себя объяснить,
Только склеиться нет возможности.
Им бы слабость свою победить,
Да мешает синдром осторожности.

Все по небу плывут облака,
Будоража собой чувство вящее,
И стараемся мы пока
Оценить все происходящее.

Нам бы в лучшее перейти,
Только пропасти глубоки.
И поют безысходный мотив
Затерявшиеся сквозняки.

МИХАИЛ БЕЛОНОВ



Родился в деревне Чернышово, Свердловской области, живу в рабочем посёлке Пышма. Образование: Свердловский электротехникум связи и УГТУ (УПИ). Работаю в энергетическом предприятии. Стихи пишу с юности. Публиковался в местной периодической печати, в личных и коллективных сборниках самиздатовского формата, на сайте «СТИХИ. РУ».

Свобода

И полная свобода до поры,
Как в небо устремлённые шары
На Первомай и мирный День Победы,

А дальше звуки гимна по утрам
И планы пятилеток на-гора,
Надбавки и дешёвые обеды...

Рыбалка и футбол по выходным,
А осенью прикинешься больным
И «отдохнёшь» недельку на больничном...

Свобода – это хлев и огород,
На завтрак с колбасою бутерброд,
И снова «в бой», пока на фронте личном

Царит однообразие и лень,
И «дольше века длится летний день»,
И век уже давно за половину...

А детство по просёлку босиком,
Вперегонки с июльским ветерком,
Бежит за мной к колхозному овину...

Рождественское

Краснодеревщик изготовит раму,
задаст размер для нового холста.

Трубач побудку выдует с листа.
Звезда укажет мне дорогу к храму,

что высится над медленной рекой,
несущей льдом закованные воды,
но скоро вестью разольёт благой
архаику востребованной оды...

И снизойдёт от неба благодать
к земле родной, чтоб словом возродить
могучий род надломленного древа...

И будет ночь на Рождество бела,
и в добрый час, на добрые дела
благословит Святая Параскева...

Седьмое небо

Из окна седьмой палаты
все коллизии видны –
неба чёрные квадраты
освещают две луны...

А от неба всё во благо –
хворь не худший катаклизм...
По системе струйкой влага
в поражённый организм...

Не мытьём, так внутривенно
очищается от скверны
плоть..., а с нею и душа...

Не перечь! Лежи и слушай
тишину, что льётся в уши
из небесного ковша...

Мой лекарь

Проснулся не с тобой, но жив...
И солнце так же ярко светит!

Не запоздал мой лекарь-цветень,
Снял камень с сердца и души,
Снежками, заиграв в овражках,
Снега в лощинах запалив...
И вот в просторах белых нив
Резвятся белые барашки...
Какой разлив! Как никогда
Река земная полноводна!
Как дух, мятежна и свободна
Лёд победившая вода!
Не в русле строгих берегов
Бурлит поток, не в узких рамках,
Освободившись от оков,
Несёт песок размытых замков,
Древесный прах сухих стволов,
Обломки свай мостов-временок...
Пошёл в сарай, нашёл рубанок,
Стругаю новое весло...

Лицо дождя

Пытаюсь разглядеть его лицо
В слезинках на стекле оконной рамы,
В святых глазах-дождевках юной мамы,
На старом фото рядышком с отцом...
Пытаюсь разглядеть его лицо
В потоках мутных яростной стихии,
Когда вдруг стали все вокруг плохими,
И сам стал сволочью и подлецом...
Не опускаю перед ликом взгляд,
Смотрю в глаза, пусть даже исподлобья –
Я горькой правде, не поверишь, рад
И больше не ломаю перья-копья
В сраженьях против мельниц ветряных,
Не проливаю капли творческого пота –
Мне стал не близок образ Дон Кихота
И стали чужды образы иных,
Когда-то мною избранных героев,
Кумиров, обручившихся с дождём,
Сопедавших с пьедестала скорбным строем...

Там мокнут с грустной музою вдвоём
Такие же, как я, немного странные –
Чужие люди, без имён и лиц...
Дождь, не огонь... солдаты оловянные,
Лишь смахивают капельки с ресниц,
Пытаясь заглянуть в лицо прекрасное,
Внутри себя живущего творца...
Лицо дождя... размытое, неясное...
Как вечность без начала и конца...

Обида

Ты обиделась..., я знаю – это значит,
что меня теперь накажут небеса...
Да, по мне уже давно на небе плачут,
и наточена тяжёлая коса,
а для верности пристреляна винтовка
на мишенях всех несбывшихся надежд,
с той поры, как осень – рыжая плутовка,
разбросала лоскуты своих одежд
по лугам, где бойкий ветер шаловливый
подсмотрел обворожительный стриптиз,
а над речкой перешёптывались ивы
в предвкушении банальности реприз...
Ты обиделась..., а осень-чаровница,
потеряв от горя голову и стыд,
обнажённая пришла со мной проститься
и у гроба долго плакала навзрыд...

ИЛЬЯ БУДНИЦКИЙ



Родился в городе Среднеуральске. Окончил УПИ. Увлекался театром, нетрадиционной медициной, поэзией, занимался боевыми искусствами. Издано три сборника стихотворений – "Сотворение", "Дыхание дней", "Прекрасная Елена". Недавно вышло избранное в двух томах: первый – "Стихотворения и поэмы" - многое из написанного за более чем тридцать лет; второй – роман-дневник в сонетах – "Тезей".

Прикроватный столик полон книг,
и, как неприлежный ученик,
то одну раскрою, то другую... –
молча полистаю и усну,
или откровением блесну –
все ещё бессмысленно тоскую...

Почему бессмысленно? – смотри –
по реке поднялись дикари,
и не возвратились из похода, –
паводок, и засуха, и лед –
все с рекой случится и пройдет,
повторится временами года.

Живопись наскальная щедра –
киноварь до росчерка пера
так же поражает, как и стрелы,
попадет – и дышишь по складам,
подражая отмелям и льдам,
притворяясь черным или белым –

в книгах все оттенки учтены, –
что случилось? – нет твоей вины
в снова повторившемся сюжете –
по складам читают дикари –

если хочешь – слово повтори,
даже если слова нет на свете...

Отголоски части речи

Новое время мнется, как промокашка,
или под стать сосуду, в котором бражка –
только наклонишь – сразу дохнет сивухой,
если у моря – то стариком, старухой,
неводом, рыбкой вызверится, желаньем –
что там ещё прикинулось мирозданием?
Эхо? – в заначке нет на него колодца.
Море шипит, и плавится и плюется,
вот для кого нет времени и распада,
там, где прибой – окатыши и рассада,
мокрое, ибо нет на него сосуда,
не красота, но нечто, с которым буду
перебираться в боги, пловцы, титаны,
перемежая форте, откат, пиано, –

ночью важнее облако и Селена,
или на время снова ложится пена, –
и высыхает – не письменна, но влага, –
я подойду к сосуду и рядом лягу,
выучу шум, состарюсь, пропахну йодом,
воображу, что невод, пройду по водам...

Возьмем сюжет блокбастера – зола,
унылая осенняя пора,
природа засыпает крупным планом,
мельчайшие детали – конский круп,
чернеющий на заднем плане сруб,
и комментатор новым Эккерманом. –

Он говорит о милых пустяках –
о нянюшки слабеющих руках,
о детском смехе, юбках, кринолинах,
о том, что все друг в друга влюблены... –

в сюжете нет ни мира, ни войны,
лишь осень, шелестящая в долинах...

Зола все ближе, ближе... – до крупниц,
и вдруг порыв – как ночью взмах ресниц, –
и перед нами девушка, девица,
она поет (в субтитрах все поют),
про холод и осенний уют,
и, то ли ей, то ль нам пора влюбиться. –

Действительно пора! – сюжет лохмат,
и зелен, как лисицын виноград,
но попадает в яблочко не целясь –
есть Золушка, есть ярмарка, есть бал,
и только дождь куда-то запропал,
а под него так хорошо всем пелось... –

Хрустальный ли, алмазный башмачок –
событие лишь повод и крючок,
аллюзия для встречи и сюжета, –
встречают по одежке или без, –
в конце (в субтитрах) – вновь зола и лес,
и девушка в осеннее одета...

Всё письмена – морозные узоры,
и вихри телеграфа, и кора,
немое эхо танца Терпсихоры,
кометная ночная мишура,
следы животных, снег под фонарями –
летающий или падающий к нам,
и то, что притворяясь снегирями,
стучит с утра в окно, мешая снам,
и сумерки с опавшею листвою,
и облако, чей след неразличим,
но я сейчас сравнение удвою –
не музыкой, которою звучим,
но рябью по воде – она повсюду,
из воздуха и влаги сплетена, –

в сосуде и сбегает по сосуду,
вершина и поднятое со дна,
и чтение подобно разговору,
дыханию, сиянию, огню,
в студеную ли, летнюю ли пору,
когда я сам словца не пророню...

Кочки на болоте – голова в соломе,
осень на излете, протопить бы в доме,
до сухого жара, маленького лета,
пестрого базара, птичьего балета,
вечности подёнок, говора излучин,
завтрака спросонок, – мир окрест изучен,
заново дарован, ветрено и зябко –
кочка вместо крова, лягушачья лапка,
мышья перебежка, беличья потайка,
в инее тележка, далеко хозяйка...

ЮРИЙ ВАЙСМАН



Родился в городе Калинковичи, что на Белорусском полесье. Окончил Рижский Политехнический институт по специальности инженер-строитель. С 1994 года живёт в городе Мельбурне.

Автор двух сборников: «Исповедь» (1989) и «Рубикон» (1991). Стихи публиковались в «Литературной газете», альманахе «Витражи», газете «Интеллигент», в поэтическом альманахе «45 Параллель», в журналах «Новая Немига

Литературная», «Крещатик» «Белый ворон», на порталах «Русская литература Австралии» и др.

В.К

Апрель отмерил половину
И прожит год на четвертак,
Как здорово, что друг старинный
Заходит в гости просто так.

Нарезать хлеб, пройти во двор,
Усевшись за столом под дубом,
Вести неспешный разговор
На языке простом и грубом.

И рассуждать про Пентагон,
Про Скрипалей и про улики,
И пить душистый самогон,
Настоянный на базилике.

Поговорить о планах НАТО,
С кем нам дружить и воевать,
И почему плоды граната
Не успевают вызревать.

И что Балканские славяне
Опять, похоже – в западне,
И хорошо б достроить баню,
Хотя бы к будущей весне.

И в завершение разговора,
По маленькой на посошок,
И у калитки, вдоль забора
Иерусалимский артишок.

В Базилике блуждают блики,
Изречено святым отцом:
От василька до базилика
Мы все равны перед Творцом.

И окрыляет, и тревожит
Простое это тождество,
Ведь где то глубоко, под кожей
Во мне – подобие Его!

И эта малая крупица
Меня пытается спасти,
А я пытаюсь откупиться
Банальным: Господи – прости.

Как пронести свой крест нательный,
Не зацепив за бахрому?!
Ведь жизнь хрупка, ведь жизнь – смертельна
По назначенью своему.

Где дух святой? Где дух мятежный?
Где свет, а где небытие?
Не так пугает неизбежность,
Как ожидание ее.

Где тот, кто вертит этот вертел,
Решает – кто ему нужней!
Пытаясь убежать от смерти,
Мы слепо следуем за ней...

В Базилике блуждают блики,
И лик распятого Христа,

И мир спасает красота,
И мы пред ней – равновелики.

Я думал на исходе дня
О древних мудрецах Востока,
Чей разум силился понять
Тригонометрию истока.

Казалось бы – какой резон,
Ловя зрачком размытый контур
Упрямо плыть на горизонт,
Не приближаясь к горизонту?

Туда где небо и земля
Сливаются как дух и тело
В ось абсолютного нуля,
Натянутую до предела.

Поэт, опередивший время,
Любимец женщин и зверей
Зачем свои стихи как семя
Ты проливаешь у дверей?

Не в том ли истины основа,
Не в том ли истинность пути,–
Чтоб оторваться от земного
И до земного донести?!

Так древний грек терял рассудок,
Молясь тому что сотворил.
Предназначение сосуда,–
В наполненности изнутри.

И Посейдон, что правит волны,
И Зевс, в чьих пальцах бытие
Всё делают чтоб ты исполнил
Предназначение свое.

Так сбрось ненужную обузу,
И улыбаясь, и любя,
Творцом войди в покои Музы,
Давно желающей тебя!

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ



Родился 18 июня 1950 года в Москве. До отмены в СССР цензуры печатался как поэт-переводчик; опубликовал множество переложений из Китса, Уайльда, Киплинга, Рильке, Рембо, и других. В 1990-е годы подготовил к печати четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трёхтомное собрание сочинений Георгия Иванова и многое иное. В 2003 году создал сайт «Век

перевода» (www.vekperevoda.com), в 2005 и 2006 годах издательством «Водолей Publishers» по материалам сайта изданы антологии русского поэтического перевода XXI века – «Век перевода». Лауреат премии «Серебряный век» за 2014 год, эксперт Союза переводчиков России, поэт, переводчик, романист, главный редактор издательства “Водолей”. Живёт в Москве.

МИСТИКА ПРЕСНИ

Здесь мастера ковали палаши,
здесь мелкие селились торгаши,
здесь на досуге пел срамные песни
смотритель государевых собак,
здесь Сумароков шествовал в кабак
стоявший возле устья речки Пресни.

Для кухни государева дворца
здесь добывали стерлядь и гольца,
и на столах бывала лососина,
карась плескался в дебрях камыша,
а нынче, вероятно, ни ерша
не выловит рыбак из керосина.

Здесь Бубна с Кабанихой шли вдвоём
чтоб слиться с Пресней в общий водоём,
однако Пресня к играм охладела.
Пока бурлили страсти в озерке,
прилипло слово «красная» к реке,
как банный лист к известной части тела.

Внук лихоимца барственных кровей,
голландский сад устроил князь Матвей
у речки Студенец в раю Трехгорном,
и некогда, пресытившись Москвой,
под Канавелу запил труп живой
в цыганском переулке Живодерном.

Здесь потешались несколько веков,
здесь рыскали обыщики волков,
в овраг чуму закапывали предки,
боевики хранили динамит
на фабрике, где полоумный Шмит
доламывал свои же табуретки.

...Здесь часто спрятать хочется глаза,
здесь царствует грузинская шиза,
пугая в зоопарке Божьих тварей,
мышей едят на завтрак журавли,
и, крепко накурившись конопли,
ворочает булыжник пролетарий.

Вокзал товарный грубо и борзо
стал бойким перевалочным СИЗО,
первоначальной школой зуботычин.
Благослови, Господь, сию тюрьму!..
Да только неизвестно почему
сей пересыльный пункт неромантичен.

Здесь высится салезианский храм,
скитаются легенды по дворам
и двигаются тени, обесплотев;
здесь вечная обитель тишины,
и две различных музыки слышны –
из храма, и из дома, что напротив.

Кукушка пролетела над гнездом
и пожелтел известный белый дом,
отправилась на пенсию кухарка,
закономерный грянул термидор,

и бегают клиенты до сих пор
в психушку на задворках зоопарка.

Того, кто машет флагом, как хвостом,
и грезить рад о веке золотом,
кого не убедила канонада,
кто веровал во всю галиматью,
кто жил в аду, считая, что в раю –
того лечить не выйдет, и не надо.

В стальную грудь стучался депутат,
но был силен проклятый супостат,
и в миг единый кончилась поколка:
перескочил Камер-Коллежский вал,
тамбовский волк в борзятне побывал
и народился выборзок от волка.

...Мерцают звезды в Пресненском пруду,
и я стою у тигра на виду,
и золотится сказочная шкура:
разделены нетленное и тлен.
Как раз об этом говорит Верлен,
что остальное всё – литература.

МОСКВА ИУДЕЙСКАЯ

Льву Турчинскому

На тех, кто видел небо сквозь волчок,
кто не вскочил судьбе на облучок,
чью жизнь измерить можно только горем,
на тех, кто утомлѐн и заклеймѐн,
глядит Зарядье из былых времѐн
убитым дважды Глебовским подворьем.

Грех вспоминать об этой конуре,
но между тем в Донском монастыре
лежит, и людям памятен донине,
достигший в службе сказочных высот
владелец душ почти девятисот
слепой потомок князя Облагини.

Четыре входа в несколько дворов
и теснота, и запах будь здоров,
стук молотков и брань на галдарейке,
ярмолки, пейсы, талесы, тфилин,
нарцисс Шарона, лилия долин,
еврейчики, евреи и еврейки.

Кошерные камчатские бобры
у скорняков, и отдых от муштры
женатых наконец-то кантонистов,
пике и плюш, вельвет и коверкот,
и шавуот, и пурим, и суккот,
и вечно придирающийся пристав.

Из Режицы, и полный генерал!
Но сколько б славы ни понабирал –
что пользы в том еврейском дворянине?
Ты, ингеле, крещеный Николай,
сородичам удачи пожелай,
и уходи играть на пианине.

Лимон, морковка, сахар и кишмиш,
а только жаль, что и за рыбой фиш
не объяснишься с гоем тугоухим,
но если он абиселе умней,
ты у него не покупай саней,
и шмире штейн с подобным гройсер хухим.

Но пусть горят в печах кусочки хал,
и пусть бы на столе благоухал
миндаль, а в крайнем случае арахис,
шафран, имбирь, корица, водка, мак,
гехакте лебер, цимес, и форшмак,
суфганиет и остальные нахес.

И этот мир никто не воскресит.
О Глебовском не молится хасид,
о дедовских надеждах и сыновних,
о суете прервавшихся годин

всплакнет едва ли ребе хоть один,
и даже хоть единый ламедвовник.

...Все позабыто, и притом давно,
счастливое Зарядье снесено,
опять Москва в усобицах погрязла,
и даже мерзопакостный отель
давно снесен и вывезен оттель,
и ждуг ума от нового шлемазла.

...Не наставляй, любезный, револьвер,
не вырастет ни сад, ни даже сквер,
так велика еврейская обида,
что здесь, насколько скверик тот ни мал,
получится Таймыр или Ямал,
получится сплошная Антарктида.

Зато в аэропорт подать рукой:
теперь утехи вовсе никакой
не стоит дожидаться иудею,
и память иссыхает, как ручей,
и над Москвой-рекою семь свечей
зажгли борцы за русскую идею.

* *Из Режицы* – Михаил Грулев (1857–1943)

** *Николай* – Николай Рубинштейн (1835–1881)

Все – 2016

ДМИТРИЙ ВОЛЖСКИЙ



Родился и вырос в Ярославле. Впервые вышел на сцену в 1989г. С 1998 по 2007 жил в Новой Зеландии, потом - Мельбурн. В архиве автора около 170 стихов и песен. Публикации: альманахи «Крещатик», «Витражи», «Австралийская мозаика», «Воинская слава», «Поэт года», «Белый ворон». Некоторые из песен вошли в сборники «Солдатской студии» В. Петряева и звучали в эфирах радио «Эхо Москвы» и «SBS». Номинант премий «Поэт года». Призёр сетевых литконкурсов (в т.ч. Грушинского 2014 года). Записано и издано 4 авторских альбома. Самый свежий – «Память наших дворов» (2016).

Опять декабрь

Опять декабрь – проснусь и выйду рано,
Опять в декабрь – в кроссворд дворов туманных,
Опять декабрь – итог былых начал.
Опять декабрь – колючий вдох рассвета,
Мой старый год вот-вот – и канет в Лету,
Спешу ему сказать «прости – прощай».

Год, что год назад пришёл под крыши,
Год, что нынче белой нитью вышит,
Год, с которым я делил, не споря,
Смех и горе, да что там – всё пополам.
Год, устало спящий у порога,
Год, куда заказана дорога,
Год – ещё один подарок Бога всем нам.

Опять декабрь... Куда ни ступишь – холод,
Опять декабрь... По льду скользящий город,
Опять в декабрь ценю тепло людей.
Тепло людей, что завсегда спасало,
Тепло друзей, и то, что их так мало,
Когда в миру кружит зима-метель.

А у ней на длинных на ресницах
Белый-белый иней серебрится,
Вновь её узорный хрупкий почерк
Тонко точит в окне письма ко мне,
Ах, мне бы прочитатъ хоть в паре строчек,
Что же там, за новогодней ночью,
Жаль, но женский почерк неразборчив – снег.

Опять декабрь с его студёным ветром,
Опять декабрь... Чуть-чуть печальным ретро
Звучат слова едва минувших дней.
Опять декабрь – сезон еловой ветки.
Коктейль надежд разбавлю чем-то крепким,
Чтоб всё сбылось в судьбе чудной моей.

Стрелочки к двенадцати подходят так: тик-так,
Старый год прощается, уходит так: тик-так,
Так и быть, давай его проводим,
Как о друге добром вспомним о нём.
Пусть горят гирлянды по пути нам, так-тик-так,
В полночи, увитой серпантинном, так-тик-так,
С новым счастьем, братья, с Новым Годом – нальём.

На Запад (печатається в сокращении)

На пулемётные распахнутые лапы
Цигарки скуренной осыпалась звезда,
Ну наконец-то нам – на Запад, всем – на Запад –
Мы по ракете начинаем контрудар.
Когда поднимутся ошмётья батальонов,
В который раз уже сведённые в один,
Я попрошу в тылу оставленные клёны
Запомнить каждого, кто с нами уходил.

И мы пойдём, как прежде, в первых эшелонах,
Сходя с ума от тишины без артогня,
Всех не успевших победить непобеждённых
На каждой пяди континента хороня.
Мы поползём, плацдармы комкая в ладонях,
Но даже если до Победы не дойдём,

В немые кадры чёрно-белых кинохроник
За десять выстрелов до смерти попадём.
Там будет мало нас, дошедших, дошагавших
Назло несчитанному встречному свинцу,
Во славу выживших, во имя наших павших
Мы подведём это безумие к концу.
Всё так и будет, а пока кровавым крапом
Ракета взрезала рассвет наискосок,
И, вырастая из земли лицом – на Запад,
Мы в первый раз встаём спиною на Восток.

В первых главах житейской повести (печатается в сокращении)

В первых главах житейской повести
Все мы жили когда-то там,
Во дворах, где, сказать по совести,
Ах, как счастливо жилось нам,
Там, где нами все тропки пройдены,
Там, где жизнь была впереди,
Там, куда, лишь заслышишь "Родина",
Сердце просится из груди.

Марки, пробки, индейцы, фантики,
Фотки с дамами в неглиже,
Все, кто был в пацанах-романтиках,
Превратились давно в мужей.
Как слезою с ресниц уроненной,
Вся эпоха ушла в песок...
Сколько ж в памяти нахоронено –
Может лучше не помнить всё.

Разлетались дружки с окраины –
Всё меняется – хошь-не хошь,
Кто с Афгана пришёл израненный,
Кто-то в драке попал на нож.
И сосед за штыком с колочкою
Девять лет – по святым местам –
Уходил со двора в наручниках,
А пришёл – купола в крестах.

Собираю теперь фантазии
По беседкам пустых дворов...
Там, где столько с гитарой лазал я,
Нет в помине моих следов.
Лишь скамейка с резными рунами,
Тот же столик, и в эту ночь
Помяну своё счастье юное,
И уйду без оглядки...прочь.

В 33-ей армии (печатается в сокращении)

Так накомандармили – как нечистый сглазил –
Да неужто ж мало их полегло зазря?
Но 33-й армии сказано – на Вязьму,
А приказа в армии обсуждать нельзя.

Обступили армию бурелома стены,
Глухомань еловая – тропки не найдёшь,
Но шагает с армией генерал Ефремов,
Значит, эту армию даром не возьмёшь.

33-й армии больше половины
Валом вдоль по вяземской лесополосе.
В 33-й армии двести грамм конины
Выдают на голову, да и то – не всем.

Так стояла армия, падая поротно
На потеху вымершим, выжившим – на страх,
Вдоволь им отсыпали меди пулемётной,
Да надавили танками в Шпырьевских лесах.

Где спускалась армия в огненну геенну,
Нынче пляшут лодочки вдоль Угры-реки,
А где стрелялся раненый генерал Ефремов –
Обелиски звёздные точно маяки.

33-ю армию достают из грязи –
Котелок, да косточка, смертный медальон...
33-я армия всё ещё – под Вязьмой,
Ведь приказ по армии не был отменён.

АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ



Харьков, потом Нижневартовск, Мельбурн, Австралия. В Австралии с 1992 года. По профессии программист. Печатался в различных Австралийских сборниках поэзии и в Интернет-журналах, в частности в «45-й параллели», «Белый ворон», «Крещатик». В 2006 году был удостоен высшей награды международного поэтического турнира в Дюссельдорфе.

Марафонец

Теперь добежать мне не хватит сил,
но я так привык, я на старте застыл,
не победитель ни в чем, многократный.
Красиво горят мосты за спиной.
И те, кто мне дорог, уже не со мной.
И нет и не будет дороги обратно

А вы, у которых все так хорошо,
вам лучше не знать, что мой путь предрешен.
Не будьте, как я, берегите нервы.
Помчусь на обе ноги хромой,
и там, где я рухну, – там финиш мой.
На этом финише я буду первый.

Если дни монотонны, тягостны и пусты.
И если время и дремотно, и тягуче.
Если уже не гонор, ни гнев, ни стыд.
И орган, которым пишу это, тоже отключен.

И если надо и время, и место менять.
Я мало хотел, мало взял и довольствуюсь малым.
И если посмеет кто-то спросить, как дела у меня,
Отвечу, что все нормально. Все слишком нормально.

Отвечу про хворь свою и про ступор,
О том, что все знаю, но нету сил.

Что невозможны уже ни Любовь, ни Поступок.
И что мне так не нравится тот, кто спросил.

Пора на что-то решиться. Пора.
Случилось то, что должно случиться.
Да, я вылетел не вчера.
Да, я достиг середины Днепра.
Да, я та самая, редкая птица.

И это только моя беда,
И только я сам виноват, вероятно,
А в середине все та же вода.
Зачем я здесь и зачем я сюда?
И нет уже сил на дорогу обратно.

И дальше тоже лететь нет сил,
И нет островка отдохнуть – приземлиться.
И как я ветер просил: «Неси» –
Но небо – пустая, холодная синь.
А я? Я та самая, редкая птица.

Для кота я – Повелитель дверей,
И когда над ним довлеет инстинкт,
Он желает погулять во дворе,
Ну, а я чтобы пустить – не пустить.

В этом доме кот давно – Царь зверей.
Из людей здесь только я, я – не царь.
Для кота я – Повелитель дверей.
Для кота я – нерадивый швейцар.

ЛЮБОВЬ ГОЛЕЙЧУК КОЭН БЕЛЛ



«По рождению и по духу я бакинка. Все свои летние каникулы в детстве проводила в Волгограде у родных. Считаю Волгоград своей второй Родиной.

Израиль стал моей третьей Родиной. Уехала с семьёй мужа в Израиль в 1992 году. Прожила я там десять лет. В Тель-Авиве родился мой старший сын. Волею обстоятельств оказалась в Новой Зеландии и живу здесь с 2002 года. Здесь родилась моя младшая дочь. Последние годы работаю главным координатором русской лицензированной сети домашних детских садов Окленда.

Стихи писала ещё в школьные и студенческие годы. Печаталась в местных газетах. Многие мои стихи основаны на реальных событиях. Моя более подробная автобиография – в них.

Адаму

Вспыхнут зори в мокром серебре
Свежих рос, вспорхнёт над миром утро,
Сбудется задуманное мудро
Болью незнакомою в ребре:
Это я! Узнай! В твоей груди
Прячется мой свет, моё рождение!
Плоть твоя меня во плоть оденет,
Обо мне так бешено гудит
Кровь в хитросплетеньях тёмных вен,
В лабиринтах розовых артерий.
Облик мой в груди твоей затерян...
Но и рай не выберу взамен.
Потерявшись в хаосе веков,
Я сквозь шум бессмысленный расслышу
Сердца стук, а если станет тише,
То умру без вздохов, слёз и слов...
Ни при чём слова... Их пыль прегит.
Суть проста: не жить нам друг без друга!
Если будет шанс второго круга,
Стану вновь ребром в твоей груди.

Ветвь сирени

Сжимая бережно в руке
Не просто тоненькую ветку -
Воспоминаний хрупкий свет,
По кладбищу тропой заветной
Шёл, не примеченный никем,
Укутавшись в обноски, дед.

Не к внукам в теплые дома,
Не на парад ко дню Победы,
Потратив свой последний грош
На сладкий вздох сирени бледной,
Он шёл к любимой. Следом май
Летел за ним дождём, и дрожь

Опущенных некрепких плеч
Сливалась с трепетом сирени.
Старик, собой прикрыв цветы,
Твердил невнятно: "День весенний
Опустошён... Земная течь...
Сиротство с привкусом воды..."

О чём пытался рассказать?
Как одинок и обездолен?
Нет, он... мечтал: «Недолго ждать...»,
И из глубин морщин и боли
Лучились нежностью глаза
Сквозь прозрачный хрусталь дождя...

Любовь с Первого Взгляда в Фехтовальном Зале

Спортивный зал. Смеялся луч,
Касаясь стали.
Шептались девочки в углу,
Клинки сверкали.
И вдруг пронзила синева
Насквозь мне душу.
Не двигаюсь, дышу едва –
Лишь знаю: нужен
Мне этот ярко-синий цвет,

Как жизнь, как воздух.
«Бежать бы!» - где-то в голове,
Но знаю: поздно.
На миг, а, может, на века –
Глаз синих тяга.
Как в горне, плавится в руках
Стальная шпага...

Комната

Этою ночью ты звёзды по небу развесил,
И кормлю я обеих Медведиц с ладоней,
Но пора уж домой. Старый дом наш чудесен:
Посмотри, как в предсмертном движенье балконы

Наклонились к земле, словно просят пощады,
Зная: время уже не исполнит надежды.
Наши окна в потресканных рамах дощатых
Так милы, что, наверное, только невежда

Не поймёт глубины, не нащупает смысла
В их рассеянном взгляде. Как хочется чаю!
Ты снимаешь с меня руки, рифмы и мысли.
Я же тихо и дерзко тебя облучаю.

Ты боишься? На плечи накинь от ожогов
Звёздный плащ или рыжую пыль штукатурки.
На невидимых волнах танцует пирога –
Наша комната. И миллионного тура

Круговое движенье рождает усталость.
И не в такт сонной речи дрожит занавеска.
Разрушение зданий – забавная малость,
Лишь бы были слова притягательно вески.

Звон воды заглушает мелодию быта –
Недовольные стоны немой посуды.

И вода, и тарелки надолго забыты.
Вещи нас не поймут и, наверно, осудят.

Потолок далеко. Он желает побелки,
Но как трудно подняться к кирпичному своду –
Обладать бы весёлой прыгучестью белки,
Мне, быть может, хватило б ещё кислорода!

Ты твердишь, что меня притяженье погубит.
И твой голос меня наполняет привычно.
А в конце я зачем-то ишу только губы
И люблю неотложно, легко, неприлично...

Лодочник

Так сколько ты возьмёшь за перевоз
На сторону таинственную ту,
Где будет мир из пряников и роз,
Где позабуду боль и суету?
В кармане я сжимаю пустоту...

Имущество моё – лишь пыль грехов.
Разбросано бездумно злато дней,
У шеи круг безверия лихой
Смыкается всё ближе, всё плотней.
Есть цель вдали, но как добраться к ней?

На лодке, как на гордом корабле,
Ты перевозишь судьбы... Увлечён
Мечтой любого города белей,
Сквозь стаи лет плывёшь ты, старичок,
И ноет от весла твоё плечо...

Забывчивый, не помнишь ты цены,
Но знаю, что монет мне не собрать
На замки, что достоинства полны,
На лилий водных преданную рать...
И всё же... сколько стоит благодать?!

Я нищ, но приглядишь ко мне, старик,
Росток от Древа Жизни угадай!
Он в душу мне нечаянно проник

И, может, разрастётся за года.
Перевези, не пожалей труда!

Ты собираешь робкие ростки,
Заботливо в лодчонку сложишь все,
Возьмёшь с собой в бессмертные реки,
Что вьётся нежной лентою в косе
Заката, и вздохнёшь: «Велик посев...»

Камин

Декабрь белым мягким телом
Прильнул к промёрзшему окну.
А за окном весь двор одел он
В наряд, подобный волокну:
Обрывки нитей на осинах
Висят сосульками, дрожа,
Прикрывшись снежным палантином,
Трепещет улицы душа.
Расслышав зов далёких предков,
Подброшу дров в каминный зев,
Стечёт зима узором редким
По окнам, с жару разомлев...

АННА ГОРЕЛОВА
Нижний Новгород. Россия



С отличием окончила филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Лауреат и дипломант различных литературных конкурсов («Мзинские мосты» без границ», «Русский Гофман», «Хрустальный родник», «Большой финал», «Першацвет», «Верлибр», «45-й калибр» и др.).

Публикации в альманахах «Новый енисейский литератор», «Першацвет», журнале «Плавучий мост» и др.

Шесть пятнадцать на старых ходиках..

Шесть пятнадцать на старых ходиках.

И она на ногах чуть свет.

Ждёт. Все птицы к апрелю вроде бы
возвратились уже на родину,

только аиста нет и нет.

Снег сошёл давно, и растрёпанный
сад по пояс в весне увяз.

И ей чудится: за воротами
белый аист крылами хлопает.

Выбегает – и всякий раз

никого. Далеко за рощею
ветры вольную песнь поют.

Мир бескрайний. Домишко крошечный.

Никогда ничего хорошего
не случилось в её краю.

Плечи, губ уголки опущены...

Сколько минуло долгих зим!

Не вернётся?

Оно и к лучшему.

Но как будто рука зовущая –
тонкой струйкой над кровлей дым.

Шесть пятнадцать. Почти смеркается.

Не спешит эмигрант домой.

А она у окошка мается,

ищет в небе глазами аиста,
и в руках тишины немой,
как в силках, бьётся птицей пойманной
и до хрипа кричит, кричит...
На часах шесть пятнадцать. Сломаны.
И на крыше шуршат соломою
ночь за ночью одни грачи.

Матвей

Ночь-полночь. Она в одной сорочке
рвётся в стужу с валенками в сад:
– Да пусти ты, ирод! Там же дочки
на морозе бóсые стоят!
... Плачь – не плачь, берёт война без спросу
в дар себе не только сыновей.
Три девчонки было – три берёзы
посадил под окнами Матвей.
Боль прядёт причудливую пряжу:
год какой Матвеева жена
ленточки берёзам в косы вяжет,
сказывает сказки до темна.
... Ночь-полночь...
– Пусти!
– Вертайся щас же!
Что ты, баба, тронулась умом?
Всё к чертям срублю! – Матвей ей скажет
и шагнёт за двери с топором;
вынет папиросы, чиркнет спичкой...
Вот и злоба враз на нет сошла.
... Первая берёзка – невеличка:
Стася в мать росточком-то была.
Деревце, что рядом, то повыше
и маленько ладней остальных:
к старшенькой – красавице Ирише –
не один посватался жених.
А вон ту берёзку любят птицы:
пела Груня дюже хорошо...
С фронта он в июле воротился,
в дом пустой – целёхоньким пришёл.
Три берёзки. В трёх стаканах крепкий
мутный самогон. За упокой.

Постучит война в окошко веткой,
будто тонкой девичьей рукой.

... Наметёт к утру. В одной сорочке
горюшко крадучись выйдет в сад,
где замёрз в сугробе этой ночью
трижды в сердце раненный солдат.

Париж

А за окнами был Париж.
А за стенкой сосед-алкаш:
– Дед, накатим? Сердечник? Ишь...
Всё по-честному. Баш на баш.
Коммуналка, галдёж – привык.
Так же жили все пра-пра-пра.
Беспардонный соседкин крик
заглушал беспардонный храп:
– Подымайся! Чего лежишь,
пьянь такая? Да чтоб ты сдох!
Но за окнами был Париж,
и сквозь сжатые зубы – вдох.
Забегала с дежурства дочь:
– Не выходишь? Совсем зачах.
Хоть проветривай через ночь.
И когда она впопыхах
рамы дёргала
(– Ну и вонь!
– Ты ступай, mon ami. Я сам...),
в окна плыл колокольный звон
к службе утренней в Нотр-Дам.
Город звал его? – Хорошо.
... Был четверг. До рассвета, в три,
он оделся. Почти ушёл;
но у самой входной двери
вдруг осел потихоньку вниз.
И небритый, в трико, босой
ангел божий над ним навис,
перегаром дохнув в лицо:
– Худо? Зинка, валокордин!
И «03»! Ну, давай живей!
Боль металась в его груди

сотней пуганых голубей;
он хрипел на них: кыш, мол, кыш...

Днём, впервые по той весне,
дождь прошёл – и забрал Париж,
нарисованный на стене.

Иваси

рыба бесхребетная иваси
в синем-синем море плывёт-скользит
и морской воды солоней в разы
горький привкус рыбьей её слезы
ни о чём я Господа не просил
а теперь прошу: сохрани спаси
пусть живым дойдёт до конца стези
пусть увидит море хоть раз близи
тот кто мне постыл и невыносим
тот о ком не спит опять иваси
свет велик, а море – от сих до сих
уплывай пожалуйста, иваси
мир не рухнет, мир не сойдёт с оси:
в этом море тысячи иваси
ни о чём стихии я не просил
а теперь прошу: коли хватит сил
рыбу бесхребетную иваси
ты туда, течение, отнеси
где старик без имени на фарси
хрипло кличет с берега иваси

Спи, мой хороший, спи уже...

«Спи, мой хороший, спи уже»... Стонет теплоцентральный.
Город до хруста выстужен. В городе вновь февраль.
Сгорбился у обочины сонный-бессонный дом.
Пахнет бельём замоченным, гарью и молоком.
И торопя метельную зимнюю ночь к концу,
горлица колыбельную тихо поёт птенцу.
«Баю-баю», – заученно... больше не вспомнить слов.
Комната вся измучена дробью глухих шагов.
Время со скрипом крутится мельничным колесом.

А за окошком улицу начисто занесло:
малость – и Богом брошенный город исчезнет с карт...
«Тише же, ну, хороший мой. Подзаплутавший март
я для тебя аукаю. Ты потерпи ещё.
Знаю, что вместе с вьюгою плачется хорошо».
И хоть ничуть не верится даже в рассвет самой,
шепчет голубка первенцу: «Сделаются весной
ночи – совсем короткими, руки мои – теплей».
Снежный узор решёткою на ледяном стекле.
Ей бы из дома выбежать, птицей сорваться вдаль!..
«Спи, мой хороший, спи уже. Завтра пока февраль...».

ОЛЬГА ГУЛЯЕВА



Родилась в городе Енисейске. Училась в Красноярском государственном университете на филологическом факультете, работала корреспондентом «Сегодняшней газеты». Позже окончила психологический факультет Красноярского педагогического университета. Стихи публиковались в альманахе «Енисей», журнале «День и ночь», газетах «Енисейская правда», «Красноярский рабочий», а также коллективных литературных сборниках. Живет и работает в Красноярске.

А хочется листать журнальчик глянцевый
И быть смиренной, аки херувим,
И не читать, а только иллюстрации
Воспринимать и радоваться им;
Глядеть в глубины Марианской впадины,
Глядеть обратно из её глубин –
Как голуби черёмухой нагадили
И взгляд у них прозрачно-голубин.
А хочется капризничать, смеяться, и
Ни с кем при этом не крутить роман,
И быть красивой, как аллитерация,
И быть нелепой, как анжамбеман.

Сусанна

Они морщинисты и нескромны,
И скачут рядом, как обезьяны.
Сусанна любит своих геронтов,
Геронты любят свою Сусанну;
Геронты ей предлагают пиво,
Коньяк, мейн-куна, читать и мебель,
Сусанна делает мир счастливым,
Геронты с ней на десятом небе –

Любой себя представляет юным,
Красивым, резвым и неустанным;
Сусанна любит лежать с мейн-куном,
Геронты любят лежать с Сусанной;
Они беседуют про микробов
И по-французски, и по-немецки,
Сусанна любит своих геронтов,
Геронты скачут и жаждут секса.
Её феррари грохочет громко:
Да, насосала, да, насосала.
Сусанна любит своих геронтов.
Геронты любят свою Сусанну.

Утро

Где-то внизу готовят на молоке,
Мужик из четвёртой снова навеселе,
В квартире напротив печётся лимонный кекс,
Жёлтое масло ложится на черный хлеб.
Смотрю на него, размазываю его,
В пятой, проснувшись, ходит и пахнет дед –
Валокардином, дедом. Живой, живой,
Будет шуршать и топтать, и так – весь день.
Бабушки из седьмой не видно уже давно,
Любила сидеть на лавке, рассказывать про сыновей,
Про то, как пока что ей хорошо одной,
Старший живёт в деревне, младший живёт в Москве.
Дама на пятом, не замужем, сорок лет,
Стучит каблуками, жизнь у неё не мёд.
Жёлтое масло, кофе и черный хлеб.
Как их зовут? Не знаю я их имён.
Там же, на пятом, громко открылась дверь –
Ведёт спаниеля во двор мужичок в очках.
Звонко вещают о важном девчонки. Две.
И спаниель. Радостный, без поводка

Полураспад

Как стая обезьян по тупиковому пути
Идут картинки всякие в нагретой голове
Над площадью Восстания летит парашютист
Идёт ему навстречу какой-то человек

А в городе Актюбинске открыли зоопарк
Туда приводят пони и розовых щенят
Туда приходят дети собирается толпа
Они едят мороженку и смотрят на меня

Пингвины и учёные цветок и леопард
Всё это происходит в восемнадцатом году

А в зоне отчуждения идёт полураспад
Мне нравятся медведи и голубые какаду

Идёт ко мне с корзиночкой красивый депутат
И пахнет из корзиночки малиной и дор-блю

А в зоне отчуждения идёт полураспад

Люблю я леопардиков
а депутатов не люблю

пыль под его ногами

воображение дорисует чего не станет
довосстановит картину реальности это просто
где-то на грани неба и там за гранью
мысли мои читает усталый Бродский

поезд стоит сине-зелёное лето едет
делает вид что понял усталый Постум
я вспоминаю любовника грека Федю
жарко воняет гарью стучат колёса

И Суламита что-то кричит в запале
этот вот стон песней у них зовётся
Сергий отец рыдает и пилит палец
ласково ласково ласково светит солнце.

можно молиться /надо ли мне молиться
как бы составить эти слова в молитву/
все остальные не стоят его мизинца
флирта на грани секса на грани флирта

в каждой секунде кто-нибудь зашифрован
в каждый момент можно ещё добавить
лето колёсами поезда бьёт неровно
я не могу касаться его губами

но я ведь хочу касаться его губами

пыль под его ногами сейчас отливает медью
солнце ты видишь какое сегодня солнце
я вспоминаю любовника грека Федю.
жарко воняет гарью стучат колёса

Постум неодобрительно смотрит и упрекает
солнце иронизирует и убегает
необходимо потрогать его руками
и посмотреть на пыль под его ногами

такую красивую пыль под его ногами

Аксиомы друг другу противоречат
Выбираю тактику избеганий
А мужчина который тянет на Камбербетча
Всё равно немножечко не дотянет

Пробегают мимо голые партизаны
Раскрывают коды пароли явки
Не смотреть в глаза не показывать им глазами
Всё воспринимаемое двояко

Считывать показатели интеллекта
Слушать речь наслаждаться текущей речью
Вот такое прекрасное нынче лето
И мужчина который тянет на Камбербетча

И любой холерик любой холерик
Понимает что это бесчеловечно
И они и я и в какой-то мере
Тот мужчина который тянет на Камбербетча

ИНГА ДАУГАВИЕТЕ



*Родилась в Риге, 19 лет живу в Мельбурне.
Муж, двое сыновей, две собаки, два кролика... две рыбки.*

Поутру он белый вдохнет туман –
Выдыхает к вечеру черный дым.
Этот город сводит меня с ума,
Все равно что последний глоток воды
Перед долгой дорогой на крайний юг,
Где сухие версты в тоске песка.
Здесь никто не может найти приют,
Только все продолжают его искать.
Здесь любое слово бросает в дрожь,
Обернись на голос – и пустота.

Черный снег превращается в серебро,
Засыпает улицы,
замета –

Seasons

Ходики на стене, подтянуть бы гири,
Древние мерили время совсем иначе.
Горстка песка - и сразу же все – другие.
Вновь за стеной соседский ребенок плачет,
Время скользит, убегает, идет за нами,
Перегоняет, смотрит в лицо с укором.
Двое деревьев туго сплелись корнями,
Два силуэта застыли в кресте оконном,
Город - стекло и сталь на старинном блюде,

Не повторяй "январь", холодной не станет,
Двери открыты, натянуто улыбнуться –

Мы опоздали. Просто – мы опоздали.

И кто о чем, и снова – нарасхват
Слова. А ты прислушайся – в лесах –
Аукаются звуки, тают листья,
Дверь открыть – и осень где-то близко,
И постепенно перестать молиться,
И наконец-то можно забывать.

Выбирай, говорит, свой собственный лабиринт,
А потом кружи по нему всю жизнь наугад,
Принимая врага за друга и день за ночь,
И когда-нибудь (веришь?) становится всё равно,
Понимаешь, что каждому овощу – свой сезон,
Свой дракон – герою, а парусу – горизонт,
А в конце (или в центре) – свой собственный Минотавр,
Под названием старость.

Жертвоприношение

Они все шли и река текла, трава шелестела "Барух ха-Шем",
И кто-то, шепотом: "Иншалла"... Служанки прятали малышкой,
Седой привратник (нож в рукаве) , захлопывал дверь,
Проверял засов...

В клинике выключают свет ровно в десять часов.
Врач теребит на пальце кольцо, думает о Мари,
И накрывает палаты сон, переходящий в тревожный стон,
После – в сдавленный крик.

Приходит и говорит – не ори,
Зажимает ей грязной ладонью рот,

– Мириады миров у тебя внутри,
Тысячи лет, серебро костров.
Козочка, ты – бесценный сосуд,
Нести да не расплескать!
(Их было много, ханжей и сук,
Всех богомольных каст.)
И, захлебываясь слюной,
(Вдоль коридора кричат – врача!)
– Жидовской крови – разрешено
Пока что – восьмая часть.
И будет потомство твое – что грязь –
Рожать и рожать рабов.
В преддверии звонкого января
Грядет справедливый Бог!
Родишь царя к белоснежной зиме...

(Заклинило дверь, еще рывок –)

Ладони ищут острый предмет,
В кровь расцарапывают живот,
Врач второпях роняет шприц,
Санитар затягивает ремни –

В полях колосился капризный рис,
Они все шли и считали дни.
Туманы, тучи – за слоем слой,
В мутном небе хотя бы одна звезда!

Свивали четки цветной петлей,
И повторяли: "Не опоздать..."

СЕРГЕЙ ЕРОФЕЕВСКИЙ



Родился и вырос в Ростове-на-Дону. Окончил Машиностроительный институт. Работал на заводе, затем в газете. С 2000 года живёт в Австралии, в Сиднее. Работает в разных жанрах (стихи, рассказы, пьесы). Стихи публиковались в «Новом журнале», «Крещатике», в «Литературной газете» и многих других изданиях

ВЕСНА – ОСЕНЬ

Весну сменила ты на осень,
И в марте листья опадают,
Как много зим никто не спросит,
Как мало лет никто не знает,
И сколько звёзд в небесной чаше
Мечты роняют в сновиденья,
Они с годами станут краше,
Но и короче, к сожаленью.

НЕУЗНАВАЕМО

Неузнаваемо переменился парк,
Где клён теряет листья-эполеты,
Под ним мы целовались невпопад,
Роняя воду с алого берета.

Неузнаваемо переменился день,
Что был вельможно-пасмурным когда-то,
Он ныне разделён на свет и тень,
Лиловый фон и жёлтые заплаты.

Неузнаваемо переменялась ты,
Семь лёгких ветров, шевеливших чёлку,
Ушли искать сожжённые мосты,
А мы остались, крутимся без толку.

Ограда парка, красные цветы.

ЗИМА - ЛЕТО

Это было с белым снегом
И морозным синим ветром,
И припудренные смехом
Как когда-то теплым летом,
Открывались губы-сласти
И в глазах сияло солнце,
И влетали смех и счастье
Сквозь раскрытое оконце.

МАЛИНА С МОРОЖЕНЫМ

Твоя улыбка – спелая малина
С мороженым в китайском чайном блюде,
В твоих глазах танцуют балерины,
Стесняясь со слезою выйти в люди,
Там столько грёз, с печалью взбитых пенкой,
Там столько слов с гвоздикой и корицей,
Любовь и боль гарцуют ленку-енку,
И седина надеждою искрится.

КРОШЕНЬКА

Заюшка моя заюшка,
рыбушка моя рыбушка,
посыплю ножки тебе хлебушком,
кошенька моя кошенька,
катись, катись по дороженьке
от лесочка до деревца и до деревца ко мне...
Только не уходи.

Кро-шенька

Что же ты сделала
что же ты...

Крошенька,
расплети волосы твои
по травинке, по веничку
по тропинке, по лесенке.
Что же ты...

Рученька,
рученька моя ласковая, пальчики тоненькие,
как паутинки,
раз запутались во мне,
раз запутались во мне,
раз и налетели птицы
кружат, кружат...
Только не уходи.

Помнишь, мы летели на облаке,
на берёзовом, длинном облаке,
и держались за руки,
вместе то
лошадкою, то драконом
оно становилось, облако,
или замком с башнею,
а мы карабкались, чтобы не упасть.
Не уходи.

Крошенька,
Что же так весело,
весело-то как вокруг, радостно, отчего
ты ушла,
от меня ли, от людей весёлых,
от облака берёзова, от деревца.

ТАТЬЯНА ЖИЛИНСКАЯ

Минск, Беларусь



Поэт, актриса, бард, режиссер. Лауреат международной литературной премии им. Николая Гоголя "Триумф" и многих других. Академик международной литературно-художественной Академии (Украина). Член редколлегии журнала «Новая Немига литературная». Публиковалась в журналах "Новая Немига литературная" (Минск), "Невский альманах" (Санкт-Петербург), "Молодая гвардия" (Москва), "Литературный европеец" (Германия), "Берега" и "Балтика" (Калининград), канадской газете "Перекресток Виннипег" и других изданиях. Автор нескольких поэтических сборников. Работает преподавателем в Белорусском государственном педагогическом университете. Живет в Минске.

Баба Нина и баба Валя

Побудьте со мной, отдохните немного.
С трудом добрали до земного порога.
Путь был непростым из-за облачной дали,
Скажи, баба Нина, скажи, баба Валя?

Я редко стремилась «до вашага чаю»,
Делиться успехом, улыбкой, печалью,
Рассматривать раны, седины, медали –
Твои, баба Нина, твои, баба Валя.

Последний раз, помню, была званым гостем
На светлом, осеннем, смиренном погосте.
Так мудро от нас, от земных «паміралі»,
Что ты, баба Нина, что ты, баба Валя.

Тихонько вдвоем собирались в дорогу,
«Дзецяям» жизнь свою отписав понемногу.
С разбежкой в месяц «ляглі ў зямлю кралі»,
И ты – баба Нина, и ты – баба Валя.

Теперь пустота. Не прийти, не проведать.
Ни спеть, ни испечь, ни спросить, ни отведать...
Кому я скатерки стараюсь, крахмалу?
Зачем, баба Нина, зачем, баба Валя?

Ну вот, повидались, пора и обратно.
Там, с Богом, ведите себя деликатно...
Жемчужной росинкой на скатерть упали
Слеза бабы Нины, слеза бабы Вали.

Я слова стелила тихо

Заглянуло в душу Лихо –
Выпивало «красное».
Я слова стелила тихо,
А спала – с напрасными.

Отменило жестом томным
Все дела неспешные,
Я молилась мыслям умным,
А в итоге – грешная.

Напугало взглядом пресным,
Как ружье двуствольное.
Я хотела песен честных –
А достались – вольные.

Угощало шоколадкой,
Речью брызнув бойкою.
Я искала правды сладкой,
А нашла – лишь горькую.

Толку с этой вековушей
Мне петлять рассеянно.
Я спасала чью-то душу,
А свою – посеяла.

Кружка

Из-под сколов и обломков время вылезло наружу.
Беспокойной мелкой дрожью память ёжилась, ворчала.

Я всего лишь чищу кружку, я всего лишь мою кружку,
Допотопную жестянку, у которой нет начала.

Кем, когда, зачем, и сколько – где ответы на вопросы?
Чем измазан бок: перловкой, или ...да, кусочком сала.
Чем пахнуло: чаем, водкой, может, медным купоросом?
И кого она от пули скользким краешком спасала?

Что с неё мне? Память детства, пальцы бабушки и мамы.
Пар, нависший над землей, злость воды, в огонь попавшей.
И колодец по соседству, самый чистый, самый-самый...
Сок березовый, слезою на кривое днище павший.

Миг игры, в которой мячик должен ей сказать спасибо.
И костер с гитарой юной, и поэт, влюблённый в мяту.
И советские поездки – стройотряды по Турксибу.
И рюкзак простого кроя, в сколиозе виноватый.

Белый цвет под запах хлора, полувнятные улыбки,
И зубовный гадкий скрежет о края моей бедняжки.
Шум в ракушке, бриз, «Боржоми». «Не скучай» – с морской открытки.
Позабывтый после детства, добрый дух молочной каши.

Я её отчищу все же, подождет посуды племя,
Вид для свалки, он абсурден в современной амплитуде.
Ведь по сколотой каёмке здесь моё застыло время.
Я не знаю про начало, но при мне – конца не будет.

Сердобольные, отстаньте от меня.
У меня теперь не кожа, а броня.
От такой отрикошетит на авось,
И молитесь, чтобы мимо пронеслось.
У меня теперь не сердце, а гранит.
Не жалеет, не рыдает, не болит.
Не зовет, не прокликает, а взамен
Нет напрасных слов и несурзных сцен.
У меня теперь не нервы, а канат.
Наплевать на то, кто прав, кто виноват.

И на мщение-прощенье наплевать.
У меня теперь что слово, то печать.
Припечатаю и знаю – я права.
У меня теперь не чувства, а права.
Столько лет себя теряла, вот нашла...
Даже радуюсь, что молодость прошла...

Нет вечерней звезды в онемелом раю:
Звали «муж» моего, а «женою» – твою...
Невозможно друг к другу – осудит семья.
Что мой муж без меня, а жена без тебя...

Холод наших квартир, книг, вина, сигарет...
Строчки, письма, стихи, слезы, песни... И «Нет...»
Ты – не пишешь теперь, я теперь не пою.
Ты кроишь свой мирок... Я одежду крою...

МАРГАРИТА ЗЕЛЕНСКАЯ



Член Международной Гильдии Писателей. В 2011 году стала лауреатом международного литературного конкурса «Серебряный Стрелец». Публиковалась в журнале “Новый Ренессанс”, соавторских сборниках «Серпантин» (Россия, 2010), «Спиральность Вре́мён» (Россия, 2011). Автор книги «Осызанием Жизнь» (Германия, 2012) и одноимённого поэтического спектакля, показанного летом 2012 года в Москве. С 2004 года проживает в Южной Австралии.

До лучших времён

Зачем говорить, где молчанье вместит всё,
ни звука не прячет в сплетённых ветвях сад.
Зачем, ты смотри...

ты о прошлом смотри сон –
шли дни, шли года, убегали часы назад.

И чистым листом, как лицом от надежд свеж
там чествует город немую твою жизнь –
дожди не стучатся, ветров нет ветвей меж,
трамвай по кольцу в небренчанье давно кружит,

ни скрипа калиток, и птичий исчез хор,
смиренно в церквах колокольни хранят звон.
Так горько терять – век нещадно порой скор,
здесь прошлое – сон, бесконечно тревожный сон.

Где прячут потери судьбы ледяной вздох,
сквозь толщу времён дано замерзать словам.
Зачем говорить, где молчанье вместит всё.
Неслышно, неясно, смотри,
как спасенье,
там –

Рождается день, где тяжелых дубов строй
и небо в окно стремится скользнуть с вершин.
Ты только живи, пока диалог с собой,
до лучших времён, до забытых глубин души.

События

Который день стоит в окне погода,
и яблонь цвет рассыпался в садах,
густеет тишина в крови у города,
но больше зелени в его глазах.

А в захолустье словно кто-то выел
дорожки просек, – глядя с высоты,
стоят, не шелохнувшись, постовые
нестройным рядом хвойные столбы.

Где каждый раз бежит неузнаваем,
меняя свои лики небосвод,
мы неспроста с опаской отмечаем,
что неизвестен жизни поворот,
что запах быстротечности тревожен –
тревожит бездна прожитых часов,
их, видимо, учитывают тоже
в событиях из птичьих голосов.

С полудня, балансируя по краю,
в гардинах очертив который круг,
усатый хищник нервно наблюдает,
как между стёкол бьётся майский жук, –
так, словно в ограниченном пространстве
смирненно проживает человек,
пчела ж взовьётся в странном своём танце,
увидев лучезарный белый свет.

Ты спросишь, как отважиться отныне,
не заперши свои сомненья в клеть,
под шелест тополиных жёстких крыльев,
запомнить дней подробности суметь,
ларец ворот души приоткрывая,
вернуться в дом, что на пути в конце –
в нём точно удивлённо напевают
рассохшиеся доски на крыльце
и, закипая, шепелявит чайник,
а в остальном играет форс-мажор
набрякший распутившийся кустарник,
угрюмый снова расцветивши двор.
Здесь путь от расставаний до прибытий

увидеть и представить нелегко –
поскольку из незначимых событий
всё ощущение жизни... целиком.

13-я строка

Я видела тебя во сне, сквозь снег,
сквозь все дороги, рек разбег..
Где непривычен снегопад..
пронизывал холодный взгляд
витрин, площадной пустоты,
снег падал на дома, зонты.

Мне чудилось, что ты спешил
вниз по пролетам.. вдоль перил,
мерил времён, по нити лет
спешил,
и дым от сигарет
вокруг,
скорее – след ночей,
очей чужих, когда ничей...
не признан, даже нелюдим,
снег падал в скверах,
семенял
прохожий люд,
но ты и тут,
не замечая амплитуд, –
красив, с гитарой, стих лозой
сплетался с снившимся тобой.

Забыв про нереальность мест,
я полюбила весь норд-вест,
октоберфест, и словно вне
я видела тебя во сне.

Там Гофман где-то ворожил
с моим понятием как жить.

Где-то рядом с тобой

Лучше не забывать – несезон... непокой...
пусть всё чаще стихи проверяют на прочность,
где-то рядом с тобой, под вчерашней листвой
прорастают дождями позвучно... построчно...

сколько их - перебор.. переброд впереди,
приголубишь остатки, что сердца коснулись –
этот поздний мотив: фонари... фонари...
словно свет изнутри разбежавшихся улиц.

Зачастила искать до последних дворов
край земли, где, как водится, гредишься.
Знаешь,
я приеду, пускай несезон, но таков
непокой без стихов,
без зонтов и трамваев.

Тихо выпорхнет тень сквозь завесу гардин,
где-то рядом с тобой утончённей и глуше
тронет струны смычок... блёклый день нелюдим,
мне захочется слушать его... слушать... слушать...

Сколько лет утекло

Сколько лет утекло... да какой в этом толк –
Перематывать долгие кадры прожитий?
И чреват сожалением совести торг, –
Почему нет лазеек в налаженном быте?

Ты являлся в безмерном владении снов
С тем же угольным запахом – невероятно,
И шуршащей возней за стеной грызунов,
Чье семейство – по обуви вижу – всеядно.

Паутиной гирляндой вторженью запрет,
И сметать тяжело невесомые сети, –
Симпатичен хозяин витья – домосед,
Поселившийся в чайном трехногом буфете.

ФАИНА ЗИЛЬП



Я родилась в Украине в один день с Анной Ахматовой (но не в Одессе, а в Виннице и, конечно, на 85 лет позже!). Закончила художественную школу и педагогический институт, преподавала. В Австралии с 1997 года. После окончания университета стала социальным работником. Печаталась в литературных сборниках, газетах и журналах в Австралии, Украине, Израиле, Америке, Англии и Бельгии. Финалистка литературных

конкурсов: "Пушкин в Британии" - 2014, "Арфа Давида" - 2014 и 2015, а так же "Эмигрантская лира - 2015".

Без поэзии и рисования не представляю своей жизни.

Что нам поэзия, когда
Жизнь покидает, не прощаясь?
И из-под ног бегут года,
Земля уносится, вращаясь,

В бездушный космос, холодней,
Чем сердце, предавшее слово,
Прославившее будни дней
И рифмы праздничной оковы.

Чем удержаться на краю
У разверзающейся бездны?
Живём последний день в раю –
Изгнание в смерть грядёт нечестно.

Вот оттого-то и грешим,
Что нам осталось слишком мало.
Мы невозможности вершин
Берём без долгого привала;

Мы так рискуем, что порой
На месте страха – лишь веселье,
Которое за той горой
Предвидит спуск, его похмелье.

В любовь бросаемся сильней,
Чем можем вынести её мы.
Нам небо видится синей;
Безвесно то, что неподъёмно.

Обожествляем; пьедестал
Возводим, радуясь и славя.
Колосс из глины снова пал? –
Всё в разговорной топим лаве.

Вода живая слов – без дна,
Уму (и в руки) не даётся.
Но лишь поэзия одна
От нашей жизни остаётся...
18 ноября 2016 г.

Илье Фурману

- Сделал сырники тебе. Ну поешь:
Три горошины, поверь, это мало!
...Память полая, в ней – цельная брешь;
Только детство иногда вспоминала.

Но энергии – сполна на двоих:
Будит ночью и на улицу тянет.
Ночь встречает в темноте только их
И хранит пока. А силы не тают:

Как двужилъная! Весь день на ногах.
...Исхудали: он не хочет съесть больше,
Чем она. И держит в жизни лишь страх
Пережить её: не вынесет боль же...

Он влачит звезду Давида, как крест.
Сторожит: жена порой убегает;
Сразу ищет по соседям окрест,
Помогает в туалете, купает.

Курит самое дешёвое, но
Снова бросить и не пробует: нервы,
Постоянный недосып. Он давно
С ней живёт – лет пятьдесят муж примерный.

...Как с ребёнком с ней сейчас: и она
Опекала ведь всю жизнь, принимал он –
Вот и время отдавать: так больна,
Как врагу не пожелаешь и даром.

Пережили и войну... Но зима
Страшной старости безумьем сжимает.
Хоть и выжила она из ума,
Только – выжила! А он – доживает.

16 января 2014 г.

М.П.

Где ты? Знать бы, что с тобою.
Сжался прошлый век, как ртуть.
Слишком жаждал ты покоя...
Если жив, то – счастлив будь.

Пусть с другою – лучше, хуже –
С той, что сделалась родной.
Для меня не стал ты мужем;
Дорожил вообще ты мной?

Были рядом, а не вместе.
Где ты? Домыслы развей.
...Ты сейчас – в надёжном месте:
В долгой памяти моей.

25 июля 2014 г

Пахнет пылью и розами. Спала жара,
А луна округлилась, как будто спала;
На деревьях осталась ещё мишура,
На домах – ожерелья висят из стекла.

Разноцветные пляшут гирлянд огоньки.
Рождество, Новый Год незаметно прошли,
А от срубленных ёлок остались пеньки,
Так – при мачтовых соснах – плывут корабли!

Это – лета серёдка, начинка – январь.
Австралийский не сходит с ума календарь,
Просто здесь – только так, а живёшь – привыкай.
Слово "вечность" из льдинок не выложит Кай.

А пока – лишь прохладу принёс ветерок.
По кустам хор цикад надрывается впрок.
Вечереет. На небе – Жар-Птицы перо.
И сошлись облака, словно карты Таро.
5 января 2014 г.

Прошла пора любви – и зрелость на подхвате
У юности шальной. Пора в дорогу нам.
Мне жаль былых безумств. Не жаль ты, память, хватит...
Табун претит – опять свободным – скакунам!

Пора! Как чебрецом пропитан пьяный сумрак!
И клевер склеил сном соцветия слегка.
Коль воля, то – взахлёб, в любое время суток!
Да, время мне взирать на путы – свысока:

В ночное?! Пастбищ круг очерчен (страхом – полночь).
И дети у костра, и вы – на поводу...
Бегите же во тьму, и Бежин Луг вам – в помощь!
Я маялась сама в аду – в каком году? –

На привязи: уют конюшен одомашнил...
О, снова одичать! Седло, узда и плеть?!

Нет, рано жить пока неверным днём вчерашним.
...Возьмусь я каждый миг остановить: воспеть!

Себе принадлежать. И цыган сам – обманом
Не словит!.. У судьбы мной выцыганен звук
Мелодии мечты, отточен – филигранно:
Настроен камертон на сердца мерный стук.

31-го января 2014 г.

Себя стреножили душою укрощённой,
Живём судьбою разобщённо-упрощённой:
В загоне времени стоим, забыты, брошены –
И не найти нас: все дороги запорошены;

Заботы небо обескрыленное застили..
Но не ослепли – только стали мы глазастее!
Слух обострился, да не свериться с курантами:
Края покинув те, мы стали – эмигрантами.

Мы в забытьё ушли, в неведение канули;
На дне двойном – лишь свет гнилушек, прелость падали:
Сонм – погрузившихся в ума сон летаргический.
Стон литургии – по проектам утопическим.

...Неуязвимые (и кем – заговорённые?),
Лишь мы бессонны, словно пасынки приёмные.
Но осень кажется мечтою акварельною,
Ведь не предали нас суду – статьёй расстрельною;

Стрельцов – довольно... И тельцов, а здесь – тем паче их,
Богатства шорами бездушно околпаченных...

...Мы вопрошаем, но вопрос, скорее, задан – нам:
В загоне времени сейчас... или им – загнанны?

17 мая 2013

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ



Родился и жил в г. Таганроге Ростовской обл. Работал в Таганрогском радиотехническом университете зав. кафедрой, профессором кафедры высшей математики. Первое стихотворение опубликовано полвека назад в университетской многотиражке; в 1998 г. вышел сборник «Нить любви», который переиздавался несколько раз. Живет, в Мельбурне, Австралия

ПОДСНЕЖНИКИ

Из памяти старенькой тетради
Рвется горечь позабытых строк,
Но теперь, какого черта ради,
Я себе назначил новый срок?
Думал – в холодеющую осень,
Стиснув зубы, молча побреду,
Но опять на небе вижу просинь,
Сердцем чую пьяную беду.
Нет на свете для меня покоя,
Все тревожней новая весна,
И опять знакомою тропею
Я спешу к давно забытым снам.
Все растает в ласковом угаре,
Все придет в сиреновой ночи...
В первых окнах мартовских прогалин
Расцветают звездные лучи.

СЕМЬЯ

Я не прошел проверку "на поэта",
Родник стихов в душе моей застыл,
Как воду чистую песок горячий лета,
Их рой забот
 бесследно поглотил...
Но я зажег тебе одной лампаду,
Ее не погасить ни бурям, ни дождям,
И, право же, грустить, любимая, не надо,

Что сердце отдаем
теперь мы дочерям.
Пусть к ним придет и музыка заката,
И тишина лесов, и буря жарких слов,
Пусть ошибаются, как мы с тобой когда-то,
Пусть осенит их
Дружба и Любовь.
А мы найдем нежданно – нежданно
Седых волос – не два, не три, а прядь,
А мы поймем – иль поздно, или рано,
Что нам судьбы другой
не отыскать.
Жалеть не будем о воздушных замках,
То было в снах – хороших и плохих...
Смотри – бегут к нам Наденька и Анка –
Мои голубоглазые стихи.
Таганрог, 1981

ЖИВЫЕ

«Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царствие Небесное»
Евангелие от Матфея, гл. 5:3

Бомжи и собаки –
– они понимают друг друга,
Их часто насквозь
пробивает январская вьюга,
Кривая улыбка
постылой свободы знакома,
Судьбы искаженной –
– без ласки, тепла и без дома.
Они не жалеют
своей неудавшейся «жисти»,
Закон воровства
не дает им какой-то корысти,
А нам не понять
к ним любви Христа –
В репьях и лохмотьях
горит отраженье креста.

ДАЛЕКО

Дочери, уезжающей в Австралию

Нам казалось – далеко все это,
День отъезда навалился сразу.
У тебя в году не будет лета –
Осень и зима –
подряд два раза.
Мишки спрячутся за горизонт, тоскуя,
Воцарит на небе Южный Крест,
И кукушка вам не накукует
Много лет
из наших дальних мест.
Так далёко не летает аист
И березы не дойдут до вас,
А сирень весной не расцветает,
Там, где бродит
хитрый дикобраз.
Здесь живут невиданные звери –
Кенгуру, и динго, и коала...
Отворить туда спешите двери –
Что судьба вдали вам
нагадала?
Ты сама, как лапочка-коала,
Принесла из детства солнца лучик,
Всё о чем-то новом тосковала,
Горы выбирала – всё покруче.
Будешь ты и умной, и красивой,
Осенит и счастье вас, и новь,
Только больно и обидно за Россию –
Покидает нашу Родину Любовь...
Знаю я, что ласковой стране
Ты подаришь юного «австрала»,
Будет он еще и внуком мне,
Твоя мать
давно о нем мечтала.
«Далеко» – быть может, – «навсегда» –
Вас не все дождутся старички,
Может быть, плывут последние года
Их нелегкой

жизненной реки...

Надо жить, надеждою согретым,

Осень долгая – в тревоге и печали,

Лишь бы к вам пришли весна и лето,

Лишь бы нас

хоть редко привечали...

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО



Поэт, прозаик, композитор, телеведущий, ветеран-афганец. Член Международного ПЕН-центра, Союза писателей России, Союза писателей 21 века, Южнорусского Союза писателей. Сочинять стихи и песни Александр начал еще будучи школьником. В 1980 г. в Военном институте иностранных языков, изучал язык дари. Служил в Афганистане военным переводчиком, получал боевые награды. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в литературных журналах. В 1989-м году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со

смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант его стихов. Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах. Автор семи книг стихов и прозы.

Финалист поэтического конкурса «45-й параллели» в 2017 году. Заместитель главного редактора журнала поэзии «Дети Ра». Телеведущий авторской программы «Книги и люди» на канале «Диалог-ТВ». Лауреат премии Николая Островского за 2016 год. Дипломант премии «Писатель XXI века» за 2015 год. Живёт в Москве.

Нет меня: я растворился в Слове

«Мне жизни нет. И смерти тоже нет...»

Андрей Ширяев

Нет меня: я растворился в Слове –
Буквы, звук, и, может статься, Свет.
Всё к началу памяти готово.
Жизни нет. И смерти тоже нет.

Только сон. Лишь сердца приближенье.
Напряженье стёртых, бледных губ.
Дум протяжных головокруженье.
И в огне – сожженье медных труб.

Нет меня. Я выветрился болью,
Сквозняками промелькнувших лет.
Потому ль расставшимся с любовью
Жизни нет – и смерти тоже нет?

Когда ты вернёшься...

Когда ты на землю вернёшься родную,
И я, как богиню, тебя поцелую, –
Так ранней росой предрассветные дали
Встающее Солнце своё целовали;

Погаснут огни золотого Парижа,
В тоскующем сердце заполнится ниша,
И пенные волны протяжно и гулко
Бесценною сделают нашу прогулку.

И майя отбросят свои покрывала,
И жизни для счастья покажется мало;
Но «чудных мгновений» нам выпало много,
Чтоб имя любви стало именем Бога.

Прощай, вишнёвый сад!

Мы к тайнам бытия дерзаем прикоснуться,
Но горбимся подчас под тяжестью утрат.
Мы будущим живём, но, если оглянуться,
У каждого из нас был свой вишнёвый сад!
Дитя умелых рук и дней моих отрада,
Сокровище души и сердца божество...
Ума не приложу, как жить смогу без сада:
Так случилось, весь свой век я пестовал его!

А с тем, чем жили мы, непросто распрощаться:
Порой самих себя дарило нам оно!
Но нам, увы, нельзя за прошлое цепляться;
Не оживить его, оно – обречено!
Но я ещё живой! Куда-нибудь подамся...
Нет, я ещё найду пристанище своё!
Лишь дай мне Бог простить всем тем, кто надругался,
Кто заживо срубил сокровище моё!

Прощай, вишнёвый сад! Гарцуют топорича,
И надо всё принять, и, может быть, простить.
И жизнь начать с нуля, и стать последним нищим,
Судьбой своей связать разорванную нить!

Смерть - это просто переодеванье...

Лауре Цаголовой

Когда в себя твой запрокинут взор,
На перепутье ломкости дыханья,
Ты не пугайся, если пьян Гримёр:
Смерть – это просто переодеванье.

Не плачь, что жизнь, как женщина, ушла –
И ветру не обнять её руками;
Что духи нестареющего зла
Мечтанья превращают в зыбкий камень.

Благослови мерцанье фонарей –
И, охватив весь мир единым взором,
Смотри на всё как на театр теней,
Себя на миг представив режиссёром.

Кроны веток упрямо...

Элле Крыловой

Кроны веток упрямо
Шелестят за спиной.
Только нет моей мамы
На тропинке со мной.
Всё на месте – и камень,
И ларёк, и витраж.
Только нет моей мамы –
И неполон пейзаж.

Чья-то тёмная тайна
Маму вдаль увела.
Словно вышла случайно –
И домой не пришла.
Шла усталой походкой –
Мне ли это не знать?
Можно старою фоткой
Бытие доказать.

Эта женщина – Боже! –
Я глядел из окна –
Так на маму похожа,
Будто это – она!
Горизонты сужая,
Всё стоит на краю...
Это мама чужая!
Возвратите мою!

...О великий, могучий!
Помоги, просвети!
Я пройду через тучи,
Чтобы маму найти.
Как ребёнок, рыдаю,
Запыхавшись, стою:
«Это мама – чужая!
Возвратите мою!»

НАТАЛЬЯ КРОФТС



Наталья Крофтс родилась в 1976 году на Украине, в г. Херсоне. Окончила МГУ им. Ломоносова и Оксфордский университет. Публикации в журналах «Нева», «Новый журнал», «Новый берег», «Интерпоэзия», «Юность», и других. Английские стихи вошли в четыре британские поэтические антологии. Живёт в Австралии.

КУ-КА-РЕ-КУ

Когда мы ели петуха,
хрустели смачно потроха
с лучком из кладовой,
торчало крылышко горбом,
как парус в море голубом,
в кастрюле суповой.

Но мрачно хмурился мой дед,
и невесёлым был обед,
и в горло суп не лез.
Мы ели друга. Потому,
что песни нравились ему,
но петь нельзя в большом доме –
здесь вам, друзья, не лес.

А он плевал на палачей,
он петь хотел, не спал ночей –
и с часу или двух,
чтоб нам развеять грусть-тоску
он радостным «ку-ка-ре-ку»,
приветливым «ку-ка-ре-ку»
ласкал и тешил слух.

Но вот явился управдом,
и пенё обзвал вредом –
«В кастрюлю этих Петь!
Держите кошек и собак,

а петуха нельзя никак,
горластых нам нельзя никак –
нельзя ночами петь!»

Здесь можно спать, плясать гавот,
скандалить, ныть, растить живот,
собачиться до драк,
хамить и врать, хлестать вино,
быть с Чудом-Юдом заодно –
но петь у нас запрещено,
но петь нельзя никак!

...Сквозь слёзы я гляжу на суп.
Мне три. Я Петю не спасу.
Не прыгать петушку.
Но слышу я – сквозь боль и страх –
молитвой звонкой на ветрах –
да это ж я, сквозь боль и страх,
пою: «Ку-ка-ре-ку».

ГИМН В ЧЕСТЬ КАПУЧИНО

Горланят: «Мир жесток и глуп,
Кругом – гнильё да мертвечина,
За око – око, зуб за зуб».
Друзья! Под звук зловещих труб
Утопим беды в капучино!

О, чаша, пенный дар небес,
Мы злу найдём первопричину,
Решим, кто ангел здесь, кто – бес,
Кто с миром праведным – вразрез,
Кому – ни капли капучино!

Прогоним сон, зажжём умы,
Отбросим тусклые личины,
Средь хищных дум и злобной тьмы
От Колымы до Колымы
Пусть грянет вновь: «Рабы не мы!»
И – «Полконя за капучино!»

НЕ Я

1.

Злоба – крик,
плотоядный, пронзительный крик птерозавра,
затаившийся в птице, в спиральях её ДНК –
чтобы тонкою тенью тихонько пройти сквозь века –
и внезапно прорваться в холёное доброе завтра
из груди безобидной пичуги.

Так я чужака
привечаю и потчую, разулыбаюсь, растаю –
но внутри оживает свирепая, дикая стая –
первобытная стая в азарте кружит и визжит.
Ощетинились холки. Подкожное – бейте чужих.
И рука не желает открыться для рукопожатья –
будто чуждое племя напало на мой материк.

И всю жизнь я бегу. И никак не могу убежать я
от неистовой стаи. Туда, где бесследно растает
первобытная злость – плотоядный, пронзительный крик.

2.

Почти неслышно и невинно –
тревожно, тайно, в сердцевине –
но нарастая, как лавина
урчит несъито неприязнь:

«А ты – не я.

И ты – не я.

Не там живёшь, не так питаешься,
не тем героем стать пытаешься,
и шляпу носишь ты не так».

Нам ненависть черты корёжит,
и лица превращает в рожи.
Всего дороже нам – до дрожи –
своя, святая правота.

ПИСЬМО

Сквер завьюжила скверна
этих зябнущих дней.
Безысходность Инферно –
только здесь холодней.
В эти дни коронаций
и парадов-алле
жду тебя на Сенатской
у замёрзших аллей.

В эти дни коронаций,
в этот век миражей
мы с тобой на Сенатской
не встречались уже.
Но я помню: у кручи,
возведённой Петру –
сероглазый поручик
на декабрьском ветру.
И я помню метели
всех заснеженных дат.
Кто там – эти ли, те ли
победили тогда?

Память, как эмигрантам,
нам подбросит ломоть –
Анатолия Гранта
полыхающий мост,
сказки: «Шёл по Шпалерной –
и домой не дошёл»,
горечь дней и Фалерна,
леденящий крушон,
крохи, крахи, кроваво-
красно крестный поход,
сплав из слизи и славы,
слёз, приказов «в расход».

Эра галлюцинаций.
Память шепчет: «Держи:
на застывшей Сенатской –

миражи, миражи».
Нам с тобой не угнаться
за безумием дней.
Жду тебя на Сенатской
между вечных огней,
в блеске иллюминаций,
у дворцов изо льда.

Жду тебя на Сенатской
в день – ты помнишь? – когда
наше дикое племя
бросит зло да ножи –
и раскрошится время,
и окончится жизнь.

* * *

Антиподное лето. Февраль от жары разомлел,
развалился, разнежился на эвкалиптовом воздухе –
словно ящерка, что под окном распласталась на ворохе
заскорузлой листвы. На прожаренной этой земле,
прокалённой, калеченой засухой, чёрной – но заново
выпускающей жизнь на смолистую, жжёную паль –
на земле этой южной удушливо-пряный февраль –
ни пролётки, ни слякоти – дарит несытое зарево
от пожаров-убийц. И ещё – золотистую синь
беззаботного пляжа, где шумно, и девочка пляшет
у останков рождественской ёлки. Раздет апельсин,
ароматное солнце. У берега – брызги и радуга.
Австралийский февраль – это жизнь. Он калечит и радует.

Что же, радуй, резвись. Буду ящеркой юркой лежать
на ладони у света, вдали от угара и сора,
даже зная – однажды сюда доберётся пожар –
и обнимет меня. Убаюкает. Может быть – скоро.

НОРА КРУК



Элеонора Мариановна Крук, урождённая Кулеши. Поэт и переводчик. Родилась в 1920 году в Харбине, стихи начала писать с семи лет. В 1933 г. переехала в Мукден, а позже – в Шанхай и Гонконг, где работала журналисткой, дружила с ведущими поэтами восточной эмиграции В. Перелешиным и Л. Андерсен, была знакома с А. Вертинским. В 1976 году Нора переехала в Австралию, сейчас живёт в городе Сидней.

Стихи Норы вошли в антологию "Русская поэзия Китая" (Москва, 2000), публиковались в периодических изданиях России, Америки, Китая, Израиля и Австралии. Автор трёх сборников английских стихов, призёр Содружества австралийских писателей (1993) и Ассоциации австралийских писательниц (2000).

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Однообразен распорядок дня,
хотя порой случаются... нюансы:
усталость, раздражение и трансы,
когда суровый глаз сверлит меня.

Обычно благосклонен этот взгляд:
на телефоне я не заболталась,
и отзвонила всем, кому он рад,
и написала письма по заказу
(он одобряет мой рассказ и стиль),
и не перечила ему ни разу...

...в доме – штиль.

* * *

Я хочу, чтобы память осталась в ладонях,
чуть шершавая память китайской одежды,
и чтоб запах остался неувядаем
тех пионов, и ландышей, и надежды.

Твои губы шершавые жарко дышат,
а глаза твои узкие – угольки.

Нас никто не увидит и не услышит
близ моей желтокожей родной реки.

Вечера, о которых потом писали
«незабвенные вечера»...
И чего мы друг другу не обещали!
...как вчера.

Опускается занавес. Всё сместилось,
все затянуты в битвы идеологий,
и выпадают балованные в немилость –
их с Олимпа преследует голос строгий.

Глас народа? Так думали и в России.
Снова бегство... Разлука. Прощанье ранит.
А в стране из поэта возник Мессия...
Я хочу, чтоб в ладонях осталась память.

* * *

Она австралийка. Самым своим нутром.
Ещё до церемонии, меченой шуточным
подношением юного саженица, – киньте
его через плечо и он примется
в любой почве. Крепыш.

Ну, она-то не столь крепка,
но уже пустила здесь корень
и чувствует, что иностранность
лишь укрепляет ощущение её принадлежности.

Почва охватывает и держит крепко,
в ней безопасность, тепло, источник энергии.
Эвкалипты быстро растут под горячим солнцем,
ветры играют и треплют тонкие листья,
к этой живой красоте привыкает глаз.

Здесь она дома и говорит: место, где я
родилась, лишь точка на карте – русский
Харбин на китайской земле. Дом здесь.

Русскость когда-то текла мёдом бальмонтовских стихов, наполнялась мужеством шолоховских героев. Позже пришла влюблённость.

Это бывает. Я полюбила английский язык.

Новые эмигранты удивлены:

– Вы совсем русская!

Те, кому не даётся язык, говорят:

– Вы ж австралийка.

Спасшись от старой боли и новых угроз, новые эмигранты, как дети, жадно хватают новую жизнь... потом тоскуют.

Не о друзьях (большинство которых уже разъехалось), не о циркачестве новых политиканов – о местах, где родились воспоминания, о бедной выхолощенной земле и надвигающихся тучах...

* * *

Я пишу по-английски о русском Китае, иногда наше прошлое сочиняю, и цитаты поэтов не очень точны, но всплывает прошедшее, явь и сны, и голоса любимых...

Синей птицей слетает ко мне былое, а казалось воробышком в том саду...

Было... может быть, и такое...

В неизвестное будущее иду под тяжёлыми вязами по Садовой с моим рыженьким сеттером поутру в долгую мою жизнь.

Кто-то крикнул: «Остановись!»

Кто-то: «Сюда, направо!»

Кто-то: «Иди назад!»

Может быть, потому и пишу невпопад и не на том языке, на котором клялась Пушкину.

* * *

Лучше всего в постели
Что-то строчить за полночь
Верить своим словам
Верить звуку молчанья
И назначать свиданье
Новым, чужим стихам.

* * *

Валерию

Мы даже ссорились в последних письмах:
Вы Бродского назвали «бутербродским»
и голос ваш, подобный ветру в листьях,
стал желчным, невоздержанным и плотским.
Но прошлое ушло. Вас больше нет.
Остались безупречные сонеты,
их филигранность и прозрачный свет,
находки, откровенья и приметы.

Вам довелось по-разному любить,
замаливать в сутане ранний грех,
а позже гордо «разность» проносить
сквозь беды, порицанья и успех.

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА



Родилась в Москве в 1981 году. Училась в обычной школе, закончила курсы художника-оформителя и музыкальную школу, потом уже – Московский Педагогический Государственный Университет по специальности филология, а затем – аспирантуру Государственной Академии Славянской Культуры, получив степень кандидата культурологии. В настоящее время работаю с детьми, веду кружок по подготовке к школе. Моя профессия – это моё хобби.

Стихи пишу с юности. Иногда рисую графические иллюстрации к своим любимым произведениям. Поэзия и живопись для меня – это одно целое. Обычно творю под псевдонимом Селена Ка. Без него себя почти не мыслю. Мы слишком сроднились.

Бел-горючее

Глухая чужеземная тоска звенит внутри, тебя не отпуская,
и ты идёшь по лезвию, по краю – чужому краю – сам себе дикарь.
Когда твой дом не дом тебе, не храм (за тридевять земель – почти у чёрта),
так хочется от крыш и улиц мёртвых уплыть к святым кисельным берегам:

туда, где стынет камень бел-горюч – начало всех начал и откровений,
где горлинка-заря в одно мгновенье рождает озорной червонный луч,
а воды рек живительно-светлы, как птичье молоко чудной Гаганы*, –
прильнуть, припасть к земле обетованной сухой душой, истлевшей до золы.

И слушать, слушать молча тишину густых небес языческих, сварожьих,
прочувствовав нутром сполна (до дрожи) славянский дух, разлитый по
всему
пространству первобытному, и стать – вне времени, вне жизни
быстротечной –
разрыв-травой, Смородинкою-речкой, далёким отголоском птичьих стай.
И смолкнет чужеокая тоска – бесовская, тягучая, чумная –
в купальском солнце ласкового края, растает в белопенных облаках.
И заново появится в груди желанье видеть близкое, родное
в чужих глазах, подёрнутых враждою, и лицах незнакомых. Погляди! –
душа летит в расплёсканную синь –
три дня ей петь на воле песни Ирри.

а после...

после – пепел вместе с пылью.

...она уже не сможет

без Руси.

*Согласно русским поверьям алатырь (бел-горюч камень) охраняют мудрая змея Гарафена и волшебная птица Гагана, единственная во Вселенной, которая способна давать молоко.

Не забыть

Память злостная так упряма:

вновь гвоздём ковыряет душу.

Как забыть, подскажи мне, мама,

боль, которая разум глушит?

Каждый день я пытаюсь снова

жить, но это сродни Голгофе.

И привычки – совсем не вдовьи –

ставить в блюдца две чашки кофе,

вешать свитер на спинку стула,

где недавно ещё сидел *Он*...

Ныне дом наш – старик сутулый.

Мир застывший очерчен мелом.

Как забыть, если стерва-память

всё хранит: каждый миг и дату?

Горечь – словно тяжёлый камень –

мне не скинуть – в судьбу впечатан.

Запах ампул, больничных коек,

рук любимых и дрожь, и слабость,

время терпкое и больное

всякий раз я забыть стараюсь.

Только связаны нитью прочной

скорбь и память, что море с рифом.

Как рубить? По частям, кусочкам?

Или быстро? – Всё труд Сизифов.

Как идти и держаться прямо?

Снова в храме звучит молебен.

...Ты о *Нём* позаботься, мама,
там, на небе.

У разлуки черны, будго смоль, крыла

У разлуки черны, будго смоль, крыла.
Да полынный вкус...
Словно ночь, на ладони мои легла
Неземная грусть.

Развела над лесами туман и мглу.
Не сыскать путей.
Даже солнце разбрасывает золу
Уж который день.

У брусничных болот, где мертва вода,
Спит моя душа.
Не взлететь без тебя ей – печаль густа.
Тяжело дышать.

С губ срываются много беззвучных мольб.
Но нельзя назад...
У разлуки звериный оскал и боль.
Да мои глаза.

Янтарные костры

Ало-рыжий, безумный, лихой пожар
из листвы облетевшей ещё не стих,
но зима, над умолкшей землей ворожа,
прячет снежные хлопья в сухой горсти.
Саксофонно звучит морозящий дождь,
будто стонет, прощаясь в последний раз,
ранний холод бесчувственен и толстокож:
он не слышит во тьме ни дождя, ни нас –
не готовых к метельно-седым ночам
и беззвёздно-дремотной декабрьской мгле,
мы испили кленовый дурмящий чай,
мы познали медовых закатов плен,
привязались к теплу вечеров цветных,

словно пара бездомных и верных псов –
в двух шагах от космато-угрюмой зимы,
в сантиметре от гордых стальных снегов.
Мы по локоть увязли в осенних снах,
не поверив ершистым сквозным ветрам.
Посмотри: журавлиный косяк в небесах –
это осень уходит в далёкий край –
за моря, за леса, словно в мир иной,
так похожий на тот, где ютится смерть.
Ты не плачь...потому, что вдвоём суждено
нам в последних янтарных кострах
сгореть.

ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ



Родилась на Украине в городе Донецке. В 1974 году – первая публикация в газете «Литературная Россия». В 1991 – иммиграция в Израиль и первый сборник эссе под общим названием «Израиль, глазами близорукого».

В 2002 году – иммиграция в Новую Зеландию, где были написаны романы « В поисках Родины» и «Сор из избы». Изданный в 2011 году, сборник повестей и рассказов также, включает в себя тексты песен и романсов, положенных на музыку. В настоящее

время готовится к публикации еще одна книга автора.

Бреду по краю собственной судьбы –
Работа – дом, работа-дом, работа.
Вдоль всех моих дорог стоят столбы,
Как вехи до другого поворота.

Вот первый – он изучен мной давно,
От улицы с названием милым «Детство».
Здесь все, как бы в замедленном кино:
Успеешь поиграть и осмотреться.

За этим поворотом шум дорог,
И выбрать нужно самому, вслепую.
Ты полон сил, к себе пока не строг,
И веришь – что не выйдет – дорисую.

За третьим поворотом шквал тревог,
И суетливо прожитые годы,
И, кажется, как будто не сберег,
А раздарил себя другим в угоду.

Четвертый поворот, он предрешен.
В конце пути усталость ломит ноги,
От мелких дел и мыслей отрешен,
Встречаешь стойко старость на пороге.

Последний пятый нам не увидеть.
И сколько до него не скажет встречный.
Вот если б время повернулось вспять
И с опытом, и с молодостью вечной.

Как жаль, что жизнь переписать нельзя
На чистовик – без клякс и без ошибок.
Как ластиком по линиям, скользя,
Исправить все: от ссор и до улыбок.

Договорить, додумать, долюбить,
Простить самой и выпросить прощенье,
Связать судьбой оборванную нить,
И к близким проявить, чуть-чуть, терпенье.

Как жаль, мы понимаем лишь теперь,
Что надо бы чуть больше сострадания,
И прежде, чем захлопнуть с шумом дверь
Неплохо оглянуться на прощанье,

Что правда субъективна, как и ложь,
Что есть полутона и есть изгибы,
Что без обмана жизнь не проживешь,
Что путь земной недолговечен, зыбок.

Как жаль, что жизнь переписать нельзя,
Предугадав последствия решений,
Как ластиком по линиям, скользя...
Как жаль, что человек несовершенен.

У него было тело барса,
Ей – неполных семьдесят лет.
Он по-доброму ей улыбался,
И она, несмело, в ответ.

Понимал парень, в чем причина –
Мышц гора и красив загар..

Для нее же он был мужчина,
Так сказать, последний гусар.

Дверь открыл ей и подал руку.
Как учтивость его горька!
Подражая взрослому внуку,
Поддержал локоток слегка.

А потом, сокрыта умело,
Много дней, боль в груди глуша,
Бунтовала в оковах тела
Молодая ее душа.

Научи меня, мамочка, жить,
Научи, пока есть еще время,
Как мне боль от других утаить?
Как нести, не ропща, свое бремя?

Научи меня, мама, любить!
Не терзаться тревогой, сомнением,
И обиды в душе не копить,
И поверить в грехов отпущенье.

Научи меня, мама, прощать
Ложь, предательство, подлость, измены,
Научи меня верить и ждать,
Что судьба отмеряет, смиренно.

Научи, как себя сохранить,
Если с жизнью проиграна схватка,
Если с прошлым оборвана нить,
Если выжжено все без остатка.

Таяли иллюзии с годами,
Принцы унеслись в чужие сны,
Не сбылось задуманное нами,
Идеалы все искажены.

Мы сценарий жизни не писали,
Все за нас написано давно.
Не вникая в мелкие детали,
Просто подыграли, как в кино.

Кто талантлив был – сыграл отлично,
Кто-то полный бездарь, а лихач.
Он на сцене жизни символично,
Но виновник наших неудач.

Задаем вопрос: – А так ли жили?
Кто-то фаталист, а кто-то нет.
Сколько ни прикладывай усилий,
Не найти нам правильный ответ.

Твою, судьбой оборванную, нить
Подхватит поколение другое –
Без предрассудков, новое, живое,
Дай Бог им лучше нашего прожить!

Дай Бог пройти им этот долгий путь
Дорогою без боли, унижений,
И не работать до изнеможенья,
Дай Бог с дороги ровной не свернуть!

Дай Бог не разувериться в друзьях,
Дай Бог не разувериться в любимых,
Пусть берегут их жены и мужья
От бед, и от потерь невозполнимых.

Пусть жизнь их беззаботная кипит,
И дарит каждый день крупицу счастья!
А об ушедших память, как софит,
Осветит путь, согреет в дни ненастья!

Как мало нам отпущено минут,
Которые запомнятся надолго!
Воспоминаниями жить, что в этом толку –
Воспоминания когда-нибудь уйдут.

Как мало нам отпущено любви!
Любимые приходят и уходят –
Они, подобно солнечной погоде,
Раскрашивают пасмурные дни.

Как труден выбор «быть, или не быть»,
И нет границ предела совершенству,
Единственная истина, блаженство –
Себя в своих потомках повторить.

ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА



Победитель международного конкурса переводчиков поэзии «Пушкин в Британии»-2010, , победитель международного поэтического конкурса «Пушкин в Британии»2017г., автор книги переводов австралийского поэта А.Д. Хоупа «Вечность подождет» (2011, Рудомино).

Лингвист, переводчик, участница интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и

«Своя игра», выпускница МГУ им. Ломоносова.

Конкурсное задание фестиваля «Пушкин в Британии» Ностальгия. Приступ.

Всё те же мы – нам целый мир чужбина.

Соблазнами сверкая напоказ,
он возбуждает ум и тешит глаз,
закаты красит кровью голубиной,
алмазы рассыпает и рубины
по небоскрёбам, острым, как ножи –

Ведь ты приедешь, милая, скажи?

*

Увезу я девицу,
никуда не денется,
искупаем в здешней росе –
будет как все.

*

Я бы тебе рассказала про свет водяной,
сонный, больной, невечерний, неяркий, нерезкий,
запах тяжёлый, осенний, предсмертный, грибной,
тёмные омуты, мхи, камыши, перелески,
Я бы тебе рассказала...ты слышишь, родной?

Darling, what's that word you just said?

*

Это без пули – смерть,
это без прутьев – клеть,
волны – сонной нирваной,
небо – лазурной аркой,
на пляже душно и жарко,
температура который год постоянна –
451 градус по Фаренгейту...

Как я ждала тебя, лето, ах лето,
как ворожила, как вызывала,
только я столько лета – не заслужила:
лета должно быть мало.

*

Ты знаешь: я когда-нибудь уйду
по внутреннему звончатому льду
к пустому разорённому гнезду,
Остоженке, Пречистенке и Пресне,
и запоют в ночи колокола,
и за плечами встанут два крыла,
и девочка – душа моя – воскреснет.

Хоть сто железных посохов сточи,
хоть сто сапог чугунных истопчи,
хоть обкричись от горечи и боли –
тебе нельзя идти туда со мной,
покуда не скажу тебе – родной,
и не услышу верного пароля.

Городу С

Город – не при параде. Город на кухне грязной
курит табак английский в старом халате рваном.
Чайка на парапете смотрит стеклянным глазом –
стойкий живой солдатик в зыбком плену тумана.

Дождь размывает память, дождь растворяет нервы,
дождь барабанит в плитку каменных крыл театра,

тонкой и тусклой леской с морем сшивает небо
и набивает полость влажной уютной ватой.

Как ты теперь – без блеска? что ты теперь – без синей
бездны над синей бездной, парусной, белопенной?
Сходу твой козырь главный бьют дождевые клинья
и обнажают остов: ломкий, непрочный, бранный.

Вот ты какой, однако – честной твоей печалью
раненная навывлет, сяду, прижмусь к ограде...
Город, налей мне чаю; город, пришли мне чайку
вестницей перемирья – думаю, мы поладим.

Migraine

На приеме сегодня полно людей,
Механизм запущен и быть беде,
Не хочу – ни с кем, никогда, нигде,
Но меня никто не спросил.
Madame, enchanté и comment ça va,
Скрипят, вращаются жернова:
Не боли, моя голова,
Гордо себя неси.

Так плывёт по речке утица-мать,
Утюжком наводит на водах гладь,
Потом невзначай обернётся – глядь,
Ни селезня, ни утят.
Крылом успеет всплеснуть едва –
И про неё споёт тетива,
Не боли, моя голова,
А то ведь укоротят.

У пирожных странный солёный вкус,
В позвонках навязчивый тихий хруст,
Лицедейство – высшее из искусств:
Давай уже, выходи.
Белый плат, ни шитья, ни шва,
Толпа, не помнящая родства –

Не боли, моя голова,
Минуточку погоди!

Вот оно, движение в штопор, вниз,
Небосвод погас, горизонт провис,
И стальной, шальной, окосевший свист
Обрёл смертоносный вес...
Боли, боли, моя голова,
Моргай, покуда ещё жива,
Покуда не поползла трава
Горлу наперерез.

Кружатся карусели в садах цифрового Тиволи,
Клювиком щёлк да щёлк механический соловей.
Я не могу. Я слишком опрIMITивела.
Мне бы чего попроще, да поживей.

Но отсюда уже никуда – если только в небо, а в небе
Облака, словно белые полосы по судьбе...
Витька, ты говорил, у тебя есть краюшка хлеба –
Дай откусить: молоко заberi себе.

Нам с тобой хватит: скоро уже обитель,
Там и колодец, и кочет с плетня кричит,
А на пороге боженька: милые, заходите:
У меня молока залейся, и хлеб в золотой печи.

ОЛЬГА ЛЕВСКАЯ



Родилась в городе Ужуре Красноярского края. Закончила Красноярский государственный педагогический институт. Преподавала английский язык. В 2003 году получила второе высшее экономическое образование. В настоящий момент преподает английский язык в Сибирском Федеральном Университете, является автором и ведущей передачи «Культурная Среда» на красноярском медиаканале «РадиоVK».

В 2014 году в Новосибирске вышла «книга-тетрадь» стихов «Ибонадо». Стихи и рассказы публиковались в альманахе сибирской актуальной поэзии «Между» (Новосибирск), сборнике «Увидеть слово» (Санкт-Петербург, серия Петраэдр), сборнике «Парадигма» (Красноярск).

Тысяча девятьсот пятнадцатый, Камышлов,
семья прапрадеда смотрит внимательно сквозь пенку на кофейной пластине.

Выпекается светописный пирог, корочка времени стынет.

Прапрадед стоит очень прямо, взгляд мягок, а рот суров.

Сестра прабабки, беременная, с опушкой воротника,
муж сестры, с усами изящно лежащими над красивым ртом,
нежно склонился к жене. Она умрет в пятьдесят девятом, потом.

Прапрабабки крупнофаланговая рука
подпирает под локоть младшую, Клавдию Дорофеевну -
в светлом платье, с прямым и спокойным взглядом.

Я помню это взгляд, я в детстве бывала с ней рядом -
с прабабкой, которую в дымке фотографии старой кофейной
так трудно расшифровать. Я читаю ткани, черты,
вглядываюсь в фасоны, измеряю углы скул и глаз,
мне так важно в цветном насыщенном жизнью сейчас
найти что-то в придачу к датам, навести если не мосты,
то - резкость на скрытое.

И добавить немного цвета.

Я уверена, платье прапрабабки синее.

Крупнофаланговая линия
пятерни, ожидание лета,

для парадного портрета
младшая наряжена и умыта.

Художники не имеют пола
Художники не занимаются сексом
У Художников вместо мозгов радиолы
У Художников в жопе играет детство
И когда Художник идет, качаясь
На ветру от вчерашнего боя с миром
И с сегодняшним миром взасос обнимаясь –
То над ним реют музы верхом на лирах
Художники не играют в прятки
Извлекают суть за пальцы и яйца
Художники в полном поряпорядке
По ночам на полках в холстах хранятся
А их души, беременны, длинноноги,
Пробегают раем, проходят адом
Выбирают позу, в которой смогут
Пережить рождение.
Ибо надо.

Стираешь брови, нежно, смываешь тон,
вытираешь губы.
Остаешься голой, как груздь, очищенный от травы.
Смотришь на подкожные залежи синева
венка, на сетку морщин, на родинку слева, грубо
намекающую на недоступность сравнения
с вечноюноймонро, отрицаешь ресницы, скрываешь зевоту,
убираешь цвета – кость слонобая, беж, позолота.
Убираешь тени – какие тут были тени...
Отшелушиваешь чешуйки шагренева кожи,
убираешь девичью круглость подкожного жира,
расплетаешь мышцы, снимаешь с креплений жилы,
Удивляешься мимоходом – а так моложе.
Здравствуй, честность последнего облика.
Пепел – от дуновения – облаком.

В нем опять проступает, лепится
Щек и век и улыбки нелепица.

А по белу грязну свету
Ходит шкурка от поэта.
Изошел на свет поэт,
И теперь поэта нет.

Есть слова, и есть дыханье,
причитания, оправданья,
есть природы колыханье,
Есть движение планет,
Строчки есть и междустрочья,
Голос есть, и даже ночью
Можно убедить всех прочих,
Что вот это – сам поэт.

Но когда приходит ливень
И пронзает мир как бивень,
И секут пространства мили
сотни струй, как сотни шпаг –
Все строения умыли,
Всё пробрили, оживили,
Но не видно тлена, пыли.
С шкуркой от поэта так.

Как шагреновая кожа,
чей клочок всего дороже,
С нарисованной не рожей –
он печальным ликом чист –
Существует тень поэта,
Все простят его за это,
Всем почти и незаметно.
Лишь крутой таксидермист
Распознает, что начинка –
Света божия личинка
Убежала, половинку
Перекинув в створки книг,

И поэта оболочка
Снова ищет в междустрочках,
Запятых, пробелах, точках –
Вдруг опять наступит миг,
Вдруг от искры, вдруг из праха,
Из подмышки или паха
Птица-феникс, злая птаха
И вспорхнет, и воспоет,
И развеется химера.
И пока такая вера
существует в шкурке серой –
Жив поэт. Поэт живет.

~

Мы покалечены вечностью. Точит вода песчаник,
море стопой гольши разминает в песчаный порох
вечность стоит в карманах струится между
пальцами вечность гибка, пластична, и детство
ближе к улыбке моря как липкий пряник –
в сумке усталой мамы залипнет в долах
памяти и случайно стократно нежно
выпадет – ближе к вечности. Чем согреться
нам, перебитым дробью секунд? Затворы
шелкают – в пыль песок и в труху дерева
море стопой разминает усталый камень
статую краеугольный валун колонну
тени камней качаются рябью моря
вечность калечит нежно с улыбкой древней
только тот липкий пряник, тот мамин пряник
крепче базальта и мягче стопы бездонной.

БЕРТА МИХАЙЛИЧ



Родилась и выросла на Украине, в городе Киеве. Там же 40 лет проработала врачом - реаниматологом на станции скорой медицинской помощи, где лечила, учила, руководила. Первое желание писать стихи появилось с рождением внука. О нем и для него первая подборка детских стихов. Не писалось почти 20 лет. И только в Мельбурне меня вновь посетило вдохновение. И теперь я пишу много и обо всем.

Как в доме грустно и темно,
А за окном тепло и ясно.
Я три недели жду его,
Но ожидания напрасны.

Все думаю – как поступить,
Когда ко мне придет он снова.
Решила твердо – не простить,
Себе самой дала я слово.

А вечером звонок – бегу,
Хватаю трубку вся сияя.
Конечно, я его прошу,
Ведь он сказал мне: “Дорогая!”.

Двое суток дожди,
Солнце скрылось,
Ветер с грохотом в окна бьет,
Ночью солнце яркое мне приснилось,
Утром – дождь еще льет.

Ах, какое нынче дождливое лето,
С нетерпением ждали солнца, тепла,
Скоро осень, а мы еще не согреты,
Были планы – погода их сорвала.

И опять ошибся он,
Глуп – как Африканский слон.

Я люблю тепло и солнце
Летом, осенью, весной.
Замерзаю, замерзаю
Летом так же, как зимой.

Если летом на прогулке
Встретите меня в пальто,
Я прошу не удивляться –
Холодно мне все равно.

Но когда жара ударит
Так, что все обожжено,
Меня это не пугает –
Наконец-то мне тепло.

О грустном больше не пишу,
Мне надоело.
Пусто дождь бежит, пусть ветер бьет –
Переболела

Вчера ко мне ты не пришел,
Сегодня тоже.
Я не пишу, я не звоню,
Тоска не гложет.

Сегодня стих я напишу
Веселый, яркий.
Печали нету в нем теперь,
И все в порядке.

Сестре

Как разбросала нас судьба,
Как далеки мы друг от друга.

Когда болеешь где-то там,
Я тут немею от испуга.

Но кажется мне иногда:
Ты где-то здесь, вот тут, за дверью.
Сейчас открою я ее – и встретимся.
Я в это верю.

У нас стоит еще зима
И до весны недели,
Но небо стало голубей
И солнце стало чуть теплей,
И вечера светлее.

К нам приближается весна –
Она в дороге где-то,
И каждый с нетерпеньем ждет,
Что нам с весной любовь придет
Кроме тепла и света.

С нетерпением ждала твоего звонка,
Думала, умру, если не случится это.
Не позвонил – а я жива.
Значит, это не конец света.

С нетерпением ждала твоего звонка.
Думала, ты самый лучший на свете.
Не позвонил – я другого нашла,
Того, кто был давно на примете.

ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ



Родом из Белоруссии. Студенческие годы провел в Ижевске, лучшие – в Новосибирском Академгородке. Более 20 лет живет в Окленде, Новая Зеландия, где работа в области информационных технологий сочетается с любовью к поэзии и путешествиям. Автор 2-х поэтических книг – «Время собирать...» и «Время стихов», многочисленных публикаций в сетевых и бумажных изданиях. Финалист 7-го Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская

Лиры» в Бельгии, 2015г.

Вот и стали мы на год мудрей
Вдалеке от родимых корней.
И на новой земле прижились,
И уверенно тянемся ввысь...
Тянем шеи до хруста в спине
И летаем... летаем во сне.
За туманный летим горизонт,
Где нас нет... но ведь кто-то живет!
Налегке возвратимся домой,
Где искрится костер молодой.
Где любимый немеркнувший взгляд
Освещает дорогу назад...
И умывшись скупую слезой,
Обернемся другою судьбой...
И опять эти годы прожить...
Но вот как? У кого бы спросить?!

В нашу гавань заходили корабли,
Швартовались, грелись у причала.
Вдалеке от не улыбочивой земли
Им хотелось жизнь начать сначала.
Чтоб высоким был морской прибой,
И океанические волны
Борт не накрывали с головой,

А касались с легкостью проворной.
Чтоб покой и мир венчал пейзаж...
В праздник – фонари похутукавы,
Украшая местный антураж,
Радовали лакомой приправой.
Чтобы устремленное вперёд
Время нас щадило и прощало.
И с годами каждый новый год
Означал, действительно, начало.

Память - полноводная река,
Возвращает к дальнему истоку,
Где осталась детская страна,
Мамина усталая забота.
Где по лужам мелким – корабли,
Будто настоящие фрегаты,
Уплывали с крошечной мели
В мир огромный, взрослый, необъятный!
И вернувшись на круги своя,
Обретая мудрость и терпенье,
Поклонились вечным островам
И судьбе, что вынесла теченьем...

Белое облако

Зеландия кудрявым белым облаком
Привольно возлежала на волнах.
И дух морской, семью ветрами сдобренный,
Резвился на песчаных берегах.
Здесь вечный спрос, но мало предложений.
Здесь островной прибрежный антураж.
И море оглушает на мгновенье,
Пока себя ты морю не отдашь...
И ты плывешь, дорог не разбирая –
По капельке выдавливая страх.
И прошлое тебя не догоняет,
И будущее видится впотьмах.
И ты плывешь наперекор стихии,
Пересекая времени фарватер...

Обними меня, милый, покрепче за хрупкие плечи,
И в обнимку замрём, и поверим, что явь – не обман.

Кто придумал разлуки и тысячи миль расстояний?
Наш заброшенный дом одиноко грустит в тишине.
А когда-то он был непременно свидетелем тайным
Нашей жадной любви – в такт рокочущей пенной волне...

И морская стихия себя выносила на берег,
Накрывала песок, увлекала его за собой...
Я – морская волна, что постель на утёсе расстелет
И в тебя упадёт золотистой своей головой...

Где тебя отыскать, мой далёкий единственный остров?
Там высокие волны мой замок равняют с песком...
А в тумане плывут миражом корабельные сосны
И ночной почтальон – с покаянным последним письмом.

А по небу летят одинокие карие звёзды...
И ночной почтальон –
с долгожданным... прощальным письмом.

АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН



Родился в Казани в 1962г.. Образование: Филфак Казанского ГУ, высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького. Публиковался с 1978 года в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Сетевая поэзия», «Смена», «Студенческий меридиан», «ШО», «Сетевая поэзия», «Урал», «Сибирские огни», альманахах «День и ночь», «Истоки», «День поэзии»,

газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия», «Труд» и т. п. Выпустил восемь книг стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы и Казани. Неоднократно принимал участие в международных литературных фестивалях (имени Максимилиана Волошина, Коктебель и др.), участвовал в поэтической программе «Биеннале искусств» в Венеции. Организатор трёх Форумов современной поэзии (2004, 2005, 2008) в Казани.

Инфлюэнсер

Мой тонкий юмор, как пинцет гомеопата,
едва заметен, ну и действует не сразу,
когда красotka не достаточно поддата,
кина не будет, пива нет, ушла на базу –

такая, значит, незадача – тейк ит изи –
хотя, смеялась и была полураздета.

Стоит дождливая погода на карнизе
и целый день стучит в окно, как кастаньеты.

Зато, в знакомой наливайке примешь лишку –
идёшь пошатываясь, будто ищешь ровню,
в груди гуляет пустота, как будто книжку
забрал товарищ почитать, а кто – не вспомню,

так, наблюдая ежедневно, как в улыбку
слились распатанные зубы книжных полок –
каким-то чудом умудрился сесть на рыбку,
а остальное в поговорке – съел нарколог.

В кругу друзей, входя в одну и ту же Мекку,
где бёдра девушек и теплится ламбада,
пытался вспомнить всю свою библиотеку,
но это войско не собрать в границах МКАДа.

Миттельшпиль

Синицы за окном сосут ириски,
торчит на ёлке дятел-истукан.
А ты себе плеснул ирландский виски,
по-русски – в оглушительный стакан.

Но, выпивая несколько поспешно,
как шахматист, за временем следи,
и если, невзначай, коснулся пешки,
есть правило, дотронулся – ходи.

Одoleвает комплекс браконьера,
пусть даже не твоя фигура та –
коснулся, отвечай теперь, холера,
скачи конём хотя бы, гопота.

Устроишься в углу, такой нестарый,
в компании поэтов и актрис,
где сонную артерию гитары
зажал и держит пьяный гитарист.

Прозрачный, как дымок при разговоре,
глазеешь на мажоров и лепил,
тебя манила эта щель в заборе,
как будто там столица Филиппин,

и не впервой зарубкам на прикладе
доказывать, что ты не просто лось –
грудь незнакомой девушки погладил
случайно, и без мата обошлось.

Пора на Марс

Мороз, сорвавшийся с домкрата,
летающая в пургу страна –

ничё, что ночью темновато,
вдруг солнце – бац, и – *обана!*

Спиртовый воздух режет дёсны,
коптят далёкие миры,
и острозубые, как блёсны,
в квартирах ёлки до поры.

История заходит с тыла,
кипит её густая взвесь –
а ты забил на всё, что было,
поэтому сейчас и здесь,

но, как шахтёры из забоя,
наощупь тянутся на свет
газеты из прорех в обоях,
которых не было и нет –

как нет земли большой и плоской,
вестей со строек и полей,
пусть эти жёлтые полоски
почти разъел столярный клей,

гудят встревоженные дали
и ледяные провода.
А может это я в подвале,
где хлеб и горькая вода,

и, в новом оперенье фарса,
шагаю к свету по хвостам,
пока рукой подать до Марса,
и запускает Казахстан.

Сила привычки

Из модема выгнали Адама – торрент Евы скачивал взасос.
Месяц, словно ручка чемодана, к туче на колёсиках прирос.
Посыпают звёзды из солонки Эйфелеву башню без корней –
как у непослушного телёнка ноги разъезжаются у ней.

Сена под мостом синей Сенеки, у химеры иней на хвосте.
Видеть сквозь опущенные веки мне удобней даже в темноте,
здесь любая статуя носата, то ли дело – в солнечном раю,
где не спят Роскосмос и Росатом, обнимая родину свою,

ласточки с весною в чьи-то сени прилетели брызгами с весла,
будто и не гложет червь сомнений этот мир, испорченный весьма,
будто не ослабла нить накала у всего, что двигает людьми –
ни старалась как, ни намекала на пустые хлопоты любви.

Милая, ты тоже заскучала над последним яблоком в меню.
Дочитаю Библию сначала, а потом, ей Богу, позвоню.

Сомнение

Из глубины веков скажи-ка, няня,
уютная, как девушка с веслом –
коней на переправе не меняют,
но как мне поступить с моим ослом,

как показать клыки свои и норы,
пока враги грызут земную ось?
Открыл намедни ящик помидоров,
лишь чудом без Пандоры обошлось.

Мне вырасти до звёзд не светит, да ведь?
Ну сколько можно в замети сплошной,
чтоб огоньку словам своим добавить,
по снегу чиркать палочкой ушной.

Возникнув, еле держится в секрете
желание уйти не нагрубя,
одно из двух осталось на планете –
ходить под Богом или под себя,

но вдруг удачу выследишь и – *хоба*,
петляешь кулаками, аки тать,
чтоб завести шарманку, или чтобы
на телефон наушники смотреть,

объятый пьяным зудом новоселья,
тянуть белиберды зубную нить,
и в морозилке кепку от похмелья
до будущего праздника хранить.

Поколение

Даже дворники смотрят влюблённо –
не чатланин, зачётный пацак,
нахватавшийся звёзд из бульона,
выхожу, сукин сын – весь WhatsApp,

путь кремнистый блестит, как бетонка,
только миг, за него и держись,
нос похож на зародыш цыплёнка
из журнала «Наука и жизнь».

Ко всему, что возможно исправить,
сам давно оборвал провода,
обновить бы короткую память –
надоело сгорать со стыда.

Иногда пробивает на жалость
к тем, кого оболгал WikiLeaks,
мы попкорном, как кони, заржались,
кокаколой под нимб упились.

Пусть светило, и больше не блещет –
не спешим уходить на покой,
хоть ломаемся чаще, чем вещи,
и гарантии нет никакой.

МАРИЯ ПАСИКА



Родилась в Харькове в 1969 г. Закончила ХГУ, Мехмат. Затем вышла замуж и углубилась в семейную жизнь, плюнув на карьеру, (не модно, зато приятно). Любимая семья – неистощимая почва для радостей, стрессов, надежд, философских измышлений. Удирая от домашнего быта, я всё, что накопилось, перекладываю в эдакий продукт, замешанный на хорошем и плохом. Я не знаю точно, стихи ли это, может быть стоит ограничиться кулинарными исканиями, тем более, что на поварском поприще успешно завоёван, да только ведь «не хлебом единым...». Так или эдак ли, приятного вам аппетита!

ПАМЯТЬ

Побыть бы денёк – запелёнутой, слабой –
Всю ночь слушать сказку! – А легче, не станет.
В одном королевстве – жил дед, жила баба. –
Росла у них внучка – любимица, Маня.

Малышке – всё-всё старики отдавали!
А что ещё нужно – для полного счастья? –
Свернуться калачиком, в кресле со львами –
Поглаживать ручки – две сломанных пасти.

Кормили дитё, как Бурёнку на ферме! –
С рассветом, бабуля (ходить – бедной, тяжело)
Бидончик – несёт, ковыляет к цестерне
(Дитю – на поправку – молочная кашка.)

В соседний квартал – отпускать малолетку,
Считали мои – неоправданным риском,
И Деда – за хлебом – и Деда – котлетки
(Потёк – серпантин, бело-розовый – в миску!)

Ох, Деда! – Ну, борщик! – Я рада стараться –
На первое – да на второе и третье!

Мы с бабушкой – всех Братьев Гримм – как пять пальцев,
И Мальчика-с-пальчик – и Ганса-и-Гретель!

Болела – бесилась! Не спали ночами –
У школьной калитки торчат – вот досада!
Они – отдавали! – А что получали?
Не будем – о грустном, не надо! – Нет, надо!

У памяти – столько опасных воронок! –
Провалишься, с треском – пути не измерить!
Всё слышу и слышу (наш, добрый – ребёнок!)
А добрые дети – жестокие звери!

Зловредная, совесть – нельзя ли потише! –
Ступай-ка в архив – к допотопным предметам!
На лапках у прошлого – цепкий когтище!
Простите меня! Отпустите! – Да где там...

ПРОГУЛКА

Мы тотчас же – рассорились,
Едва – взглянули – пристальной...
Пью чай, и вдруг – припомнилось! –
Свидание на пристани!

Вниз, по реке – вприпрыжечку –
Ой, Лодка, непослушная!
Подсолнушками рыжими –
Цвёл – паренёк – веснушками!

Горланил – «Из-За – Острова!» –
За Борт? Бросает! – Здорово!
Секретничали сосенки –
Княжна, деваха – с норовом!

Поднаторел – матросик мой,
Махал веслом – умеючи.
Молчком – старушки-сосенки!
А вот – причал! Скамеечки.

Чей садик? – Вишня – сочная! –
Заборчики – по пояс, там.
Поели, на песочке мы –
И пригородным поездом –

Чух-чух – домой! (Чайку бы, мне –
Денёк! – Едва не падали.)
Чмок, в щёчку! – Но не в губы, нет...
Припомнилось! – А надо ли?..

Плесну, ещё – из чайника –
Вот, память! – Хитрый ящичек –
Накидано – случайного,
А выймешь – настоящее!

Рассорились мы – в точности! –
Сор – мелочёвка – лишнее?
А почему-то, косточки –
Идут, в нагрузку – с вишнями!...

НА ЭЛВ-У-У-У-ДСКОМ ПЛЯЖЕ

На пляжике – на Элвудском – купаешься – в нирване!
Детишки, лепят пасочки. «Б-о-орь – гуще – спинку – мажь!»
Куняю – на махровочке, с рисунком пеликана.
Песок – возня – жара (короче – пляж!)
Нарисовался юноша – блондинистый, с комплектом –
И бицепсы, и трицепсы – хоть на металлолом!
Чё, подобрать? – Валяется! – Мань! Сколько тебе лет-то?!
Ага, почти трёхзначное число!
И что? – Труха, не сыпется! (Причипурить немного!)
Втяну живот, на выдохе – имеем гибкий стан!
Не обольщайся, Манечка! Вписалась? – Слава Богу!
(Мала – подстилка! – Бедный – пеликан!)
Ух, ты! – Деваха сочная! – Бикини, на смех курам!
И все задатки снайпера – прицел – орлиный глаз.
Тряхнёт (поближе к бицепсам) оранжевым велюром –
Матрас – придвинут – сиськи – на матрас!
Землячка – ноет! – Муженёк (носатый дятел Борька)
Уткнул в айфон, симитский клюв – и будто, ни при чём!

Буруз, в томатном соусе – при нём, чернавка в бёрке –
Поодадь, на скамейке – старичок.
Эй, шарики-за-ролики! Не лень, в жару – кататься?
(Шныряют – оголтелые, а шар – зело печёт!)
Зырк! – Исподлобья пелятся – приезжие китайцы!
Под казырьком – кимарит старичок.
Присядь – мамаша, с выводком – местечка всем хватает,
И красненьких ведёрочек – рюкзак, через плечо! –
Люби – купай! (Их, пятеро – утятюк.) Кто – считает? –
Плюгавенький, безвредный старичок!
А мне – так, стало весело, и так тепло! – Могла бы
Дарить улыбкой, каждого – и всех, наперечёт.
Дай Бог, удачи сильному – храни невинных слабых!
(Кому мешает – хлипкий старичок?!)
Без драк, без злого умысла, кривляний, кривотолков!
(Удобно! – Душ работает, из краника – течёт!)
Все – туточки разместимся! – В кипах, чалмах, наколках! –
И сухонький, вздремнувший – старичок!

ГРАФА (или крокодила ухмылка капитализма!)

Костюм, надел – пару раз в жизни: не граф – с графюю!
Ахиллесовой (пятой) пятОй – ударяй, где приспичит.
Мечтал – о классном бобинном магнитофоне –
Хрен! – Сто лет копи, эконошь на спичках!
Мечтал, о загранке – студентам дают путёвки –
Хрен! – Графа! А лучший – на их потоке. Не цирк?
Даже пять – по военно строевой подготовке! –
Военруку «с Москвы вёз» – дай Бог памяти – дефицит!

Пришлось уехать – и ничего, прижился.
Костюмчик – носит! Не шибко этим доволен –
Просто, на работу не пустят – в джинсах.
(В тех, дранных? Пустят! И сей же момент – уволят!)
Супруга – в курсе! – Чокнуться! Та же, Маня!...
(Ты «Кодак»! – Военруку из Москвы! – Точно!)
Во была жизнь! – Ветер гулял в кармане –
Какое счастье – пюре со свиным биточком!..

Фотоальбом? – Где-где! – По углам – старьё, всё.
А дом, большущий – долг взяли – какого беса! –
Магнитоф-о-о-н? Генка, ты чё! Смеёшься?!
Остались: наша дочка (целуй – довесок!);
Зубы (да неужели! Ещё – варенья?!
Миску, целую вылизал! Всё тебе мало!)
За дом – долги. – Гасим – торопим время.
По вечерам – ох и нудные сериалы!
И графа...

А если – подумать?

Любимый! – Плов! Ух ты! С чесночком – бараний!;
Любимые! – Фильмы! (русские мелодрамы.);
Любимая! (Это – кто?) – Ты! Ты – Маня...
(Ладно – ешь, давай! – С «любимой», не стыдно – в драных?!)
И ГРАФА!!

ВЛАД ПЕНЬКОВ



Владислав Александрович Пеньков. Родился в 1969 году. Член Союза российских писателей. Автор двух поэтических книг и ряда публикаций в российской и заграничной периодике. В настоящее время живёт в Таллине. Своей главной работой считает работу над стихами.

Мальчик-с пальчик и такая же девочка

Н. П.

-1-

Написал одно, другое, третье.
Мог бы ограничиться одним:
"Мы с тобою брошенные дети.
Ничего мы больше не щадим.

И пощады никакой не просим.
Вместе замерзаем на ветру.
Но в своих карманах гордо носим
безотцовства чёрную дыру.

Требуется нужная сноровка –
просыпать в неё, чтоб уцелеть,
серебро певучее рифмовки,
музыки окисленную медь."

-2-

Стихи без паспортного сходства
с их автором – со мной самим.
И только заповедь сиротства
из всевозможных – сохраним.

Его печальные напевы,
его дубравы и поля.

Что делать, раз пошла налево
многострадальная земля.

И до Отца - совсем не близко.
И есть ли вообще Отец.
А может, только степень риска
самозаведшихся сердец?

Феодосия

Ник. Гл.

Что даётся мне, даётся даром.
Только этой силы не отломится:
разгорелась на снегу пожаром
чёрная боярыня-раскольница.

Отскакал, откланялся вприпрыжку
воробей юродивый с веригами.
Рвётся снег старопечатной книгою
под ногами каждого мальчишки.

И вот-вот сорвутся сдуру сани.
Вдаль умчится полыханье чёрное,
в даль того, что было-будет с нами –
разными, любимы, обречёнными.

Возвращение

И что мне Испания эта?
Имбирный и мускусный город?
Течёт дождевая Лега
апрелю в распахнутый ворот.

И пахнет она тем, чем может –
сырым и холодным ночлегом,
и тем, что уже не поможет
любая попытка побега –

вернуться в прекрасные дали,
где радость в обнимку с бедою,

где мускусом пахнут печали,
а слёзы – морскою водою.

А может быть, на пепелище,
где серой лохматой вороной
торчит убежавший Поприщин,
блестя самопальной короной.

Когда б мороз

Опять в тумане улицы. Опять,
как рыбы, проплывают пешеходы.
И на словах моих стоит печать
безжалостной опаловой погоды.

Когда б мороз ударил сгоряча,
когда б с клубами пара вырывалось
"в степи глухой", коснулась бы плеча
славянская особенная жалость.

А так... Ты просто смотришь из окна –
ни жалости, ни этого задора –
предсмертного. Лишь русская вина,
лишённая российского простора.

... Когда б ударил сгоряча мороз,
когда бы степь, кибитка и лошадка,
и ничего не видно из-за слёз,
и горестно, и радостно, и сладко.

Без пальто

Н. П. и Р. Г., беспальтовым

А боль вгрызается винтом...
Но мне приятна мука эта.
Как будто вышел без пальто
весною ранней до рассвета,

а мимо пьяницы ползут,
кого-то на такси увозят.
Блаженство этих вот минут
на репчатом, как лук, морозе

мне говорит: "Иди, владей
тем, чем о н и владеть не смеют,
пока такси везут бл*дей
и мармеладовы трезвеют.

Слезую, выступившей от
мороза, неотступной боли,
от заменимости свобод
на нестерпимый холод воли".

КАТОРГА

Ах, январь ты, прачечный январь,
пахнешь паром, дышишь утюгами,
и дрожит Раскольников, как тварь,
под твоими бабьими ногами.

Вышли переростки погрузить –
вот белееет «Примою» берёзка,
и кричат: «Печальная, прости!» –
на берёзку пьяные подростки,

не каким-то пьяные бухлом –
лебединой песнею извёстки,
что покрыла изнутри их дом
русским – и казённым, и неброским.

Об извёстке лебедей и стен
пишется дыханьем безвозвратным.
И рычат в подростков хрипоте
серые, идущие по тракту.

СЕРГЕЙ ПЛЫШЕВСКИЙ



Родился в в Свердловске. Окончил УПИ. Химик. Работал в НИИ. Доктор технических наук. С 1996 г. живет в канадском городе Оттаве. Стихи пишет с 1985 года. В Канаде опубликованы книги стихов «Ядовитый апельсин» (2001), «Чайки-лошади» (2006) и «Страдательный залог» (2008).

Книга стихов «Гусиная лоция» издана в 2011 году в Украине. Книга стихов «На кристаллическом щите» опубликована в России в 2014 году. Книга стихов «Импрессионизм дождя» – в Германии в 2016 году. Публикуется в газетах, журналах, поэтических альманахах и антологиях. Лауреат поэтических конкурсов в ряде стран. Вице-король поэтов («Пушкин в Британии 2006 год»). Награжден большой золотой медалью Франца Кафки в 2011 году. Сопредседатель конкурсов творческого объединения «45 параллель».

ТУПИК ТЕРПИМОСТИ

Никто не знает, последний ли это снег.
Давно сожгли снегоуборочный керосин.
И мэр под утро от глупых бумажек слеп,
Ещё настольную лампу не погасил.

Остывший кофе к губам подносит его рука,
Рассвет крадётся к земным орбитам дневных светил.
Сейчас бы здорово дёрнуть виргинского табака,
Но он вчера курение в городе запретил.

Позвать собаку и кратко бросить: «Сидеть. К ноге!»
Грохочут губы, а в коридоре шаги скользят.
Бесшумно дверь приоткрывает прислужник-гей,
Ведь кроме геев брать на работу людей нельзя.

В подвальной кухне огонь разводит седой араб,
На вахте дремлет в плетёном кресле охранник-негр;
По телевизору лесбиянки кричат «ура»,
И мэр встаёт, чтоб успокоить занывший нерв.

Безногий драйвер на лимузине под шелест шин
Его везет до резиденции «Конопля».
Под обелиском свободы действия всех меньшинств –
Последний белый такой реликтовый экземпляр.

ВОЛК

Если позволишь, он станет тебе служить,
Гвозди вбивать, за метлой волочить совок,
Чистить картошку, прилежно точить ножи,
Даже не скажешь, что он – настоящий волк.

Если прогонишь, он станет тебе писать,
Морду закинет, научится выть в ночи,
Будет вострить золотого клыка тесак,
Не замечая рядом иных волчиц.

Если полюбишь, заставит смотреть в глаза.
Трогать позволит тяжёлый нательный крест.
Если достанет решимости отказать –
Он тебя ночью на брачной постели съест.

Пивали вприглядку,
желали вприкуску,
слагали колядки
по памяти русской;
бежали вприпрыжку.
платили в рассрочку,
девчонки мальчишек
рождали в сорочках –
на счастье.
На долю.
На терпкую участь.
На троечку в школе
и хватку паучью.
Летучую рыбу.
Плавучую птицу.
Которых могли бы
держат в рукавицах

от раннего горя –
до позднего счастья,
карабкаться в гору
и с небом встречаться.

Зимы расселись по полюсам.
В будочке щели, дрожит курсант.
Снег, только снег, только ветер вширь.
Ветер твой друг,
Этим ветром сшит –
Испуг.

Змейкой дорожной крутит метель.
Дома дождись дорогих гостей.
Снег, только снег, только ветер влёт.
Ветер твой враг,
Этим ветром рвёт –
Флаг.

Вымпел пощады – твой белый щит.
Малое чадо гранитных плит,
Сломанных крыльев, сердец, хребтов.
Ветер пустых
Искажённых ртов –
Стих.

Белым молчанием в пиках пихт
Движет Луна ущерблённый блик.
Нехотя крутятся жернова
Млечных галактик
Земного шва –

Треск.
Разрываются узы снов.
Крест –
Средостение тьмы земной.
Жизнь –
Единенье древесных пут.

Крест. И на нём астронома
Жгут.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Ночью сгущается время, не только тьма,
Ночью ползут по земле пауки огней,
Окон проёмы уныло несут дома –
Тёмные впадины втоптаных в глину дней.

Днём по-другому идут по земле года –
Хлипкие грудью и тонкие на просвет,
Но всё равно им последние дни отдай,
Только останутся фантики от конфет.

Полночь и полдень вмещаются в циферблат,
Делят ревниво одну на двоих цифирь,
И растворяет полуночный шоколад
Белого дня однородный густой кефир.

Этим раствором измазан небесный свод –
Не различить направлений небесных струй.
Если в будильнике вышел ночной завод,
Кончилась темень и гаснет звезда к утру.

Что нам, вечерним, слепой оптимизм с утра,
Что нам, дневным, ваш полуночный пессимизм?
Мы изымаем последний процент добра
Из окуляров стерильных прицельных призм.

КОНСТАНТИН РЫБАКОВ

Гатчина



Родился в Ленинграде.. По образованию типичный физик, причём дважды: технолог по обработке металлов и судовой механик. За спиной три океана, четыре континента, семь морей и гроздь островов на разных широтах. Впереди, надеюсь, ещё будут неизведанные мной земли, но... как говорится, если хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах.

К государственными тайнам не допускался, из

мест заключения не выпускался, к антироссийским санкциям не причастен. Политические взгляды – "ай, бросьте морочить мне голову".

Пишу нерегулярно, девиз "ни дня без строчки" явно не про меня.

Печатался во многих бумажных и интернет-изданиях, но без фанатизма: приглашают – хорошо, не зовут – тоже нормально.

Морское "ша"

Как много моря в букве "ша": Кронштадт, бушлаты и клеша; раскурит трубку не спеша усталый шкипер. В закат вонзается бушприт, шпангоут вдумчиво скрипит, и пахнет местный колорит парфюмом "Шипр". На шхуне шваброй дряют ют; швартов на шканцах отдают, и в душном сумраке кают шныряют крысы; со штормом шутит кашалот; клешнями краб крушит фальшборт; по шельфу шквал за горизонт уходит быстрый. В норвежских шхерах тишина. Шатается в тиши сосна. С ш-ш-шипением ползёт волна на берег древний. С шестидесятой широты циклон швыряет под винты шершаво-пористые льды, ш-ш-шурша о штевни. Шифруется рассвет в луне; на вахте штурман в полусне; туман шифоновым кашне слизал оттенки. За шепелявым ветерком барашки пенные – пешком, и шепчет что-то на ушко матрос шатенке. Как много моря в букве «ша»... Тельняшкой греется душа; шпигаты судно осушат водоворотом – и выйдет море из бортов! Приняв планету на бакштов, плывём в созвездии Китов под запах шпиров.

Дорога, выбравшая нас

Тихо отчалит от корпуса пристань, солнечный зайчик коснётся волны; в дымке сиреневой тает, как призрак, порт с ощущением вечной вины. Вышли, как водится, точно по сроку; карты надёжны, и верен компАс: это не мы выбирали дорогу – это дорога выбрала нас! Краны

портальные, вывернув шеи, смотрят нам вслед. Прямо над головой рывкнет тифон. От свободы хмелея, чайку отшлёпает флаг кормовой. Льдами приветствует бухта Авача, шквалом накроет Бискайский залив; в старой тельняшке – вся сущность удачи: чёрное с белым, прилив и отлив. Нас океан обнимает, как братьев, ластится кошкой и лижет борта; только порою смертельны объятья, многих вода забрала навсегда. Запах солёных смолёных канатов, тёплый пассат у чужих берегов; в память впечатаны намертво даты жизни и смерти друзей-моряков. В море открытом мечтаем о суше, на берегу просят шторма сердца; не проклинайте пропащие души, мы свою чашу допьём до конца! Девушки, милые, бросьте, не плачьте – слёзы зальют огоньки ваших глаз! Море не жалуется трусов. Иначе вряд ли бы море выбрало нас.

Время абсента

Время – к полночи. Время абсента и растрёпанной розы ветров. Ложи тонут в аплодисментах, а с галёрки – утробный рёв. Жизнь – театр, конечно. Но сцена не прощает фиглярства и лжи; декораций слепая замена разрушает души этажи. И не надо ломать постаменты: замечая истории след, разменяв память предков на центы – мы в себе выключаем свет. Черно-белой шурша кинолентой, режиссёр, закрутивший процесс, раскадрировал лето в Лету, на эпохе поставив крест. Ну, какие, к Богам, аргументы? В наших судьбах простая вязь. Было – било. Но крепче цемента с обесточенным временем связь. И, отринув десяток вето, на крови строим новый кров... Время – за полночь. Время абсента, время горьких полынных снов.

Ожидание

Время тянется резиной, время капает из крана; запирая магазины, "Время" тикает с экрана. Посекундно, поминутно вытекает время долго водопадом с кручи круто, разбиваясь на осколки. Время тащится за стрелкой по кружочку циферблата. Время мечется, как белка, у любви воруя даты. Время электронной почты то сердечно, то беспечно. Я всё жду, когда придёшь ты – ежечасно. Ежевечно...

После дождя

Кляксы островов, проспектов линии к небу цвета жемчуга прищиплены; летним ливнем выполоскан, вымыт город, продуваемый навывлет. Не сходя с гранита постамента, сохнут жеребец и всадник медный, медленно с копыт стекают капли. Выплывает солнце дирижаблем;

сохнут в переулочках трамваи. Эх, сейчас сорваться б на Гавайи – только на кого оставить город, что в слезах дождя, до спазма в горле дорог каждым краешком гранита? Город, что победами пропитан, город у подножья океана, город – не просторней чемодана, где сплелись в канат смолёный туго каторжане, царедворцы... Трудно, невозможно летней ночью белой взять – и бросить город корабелов, выдуманный, строенный в азарте, вырубленный форточкой на карте... И влезает снова плотник-Питер в китель, что давно на сгибах вытерт.

ВАЛЕРИЙ СИКОРСКИЙ



Родился 4.10.52 в городе Находка, Приморский край.

Образование – среднетехническое.

Специализация – ремонт производственного оборудования.

Техник – механик.

СВЯТЫЕ ЗАПОВЕДИ ПОД ПРИЗМОЙ БЫТИЯ

Да возлюбит пусть ближний ближнего,
Да подарит ему часы,
А взамен, из бельишка нижнего,
Пусть возьмёт для себя трусы.

Не водись со чужою девою.
Не ходи, где хмельное пьют.
Если двинули в щёку левую,
И по правой пусть тоже бьют!

Вот какие странные дела -
Подставляй, брат, два svojных уха:
"Марья Иисуса родила!
Говорят, что от Святыя Духа!"

Иисус ходил по небесам
И по водам тож яко по суху.
Он однажды (я свидетель сам!)
Излечил от блуда потаскуху.

Так отколь теперь их развелось
Столько на земле? Хоть удавился!
Всё в один клубок переплелось.
О, Иисус Христос, опять явился!

Пять хлебов и рыбьих два хвоста
Накормили всласть пять тысяч люду.
А мне дай кусок кило в полста,
Скоро все равно голодным буду.

Где же брал он то, чем угощал,
Милуя одних, других карая?
Рай, в загробной жизни, обещал,
А вот на Земле не создал рая.

Иисус всех разуму учил,
Изгонял из бесноватых бесов.
Только зря. Как только он почил...
Ещё больше развелось балбесов.

Иисус ходил по городам –
В дом любой стучал своей клюкою.
Что ж тут удивляться, если "Сам" –
Протеже с лохматою рукою.

Знал Иисус, идя в Иерусалим,
Что живым оттуда не вернуться.
Так и каждый б помер, чтобы с ним
Через три денька в раю проснуться.

Иисус внушал ученикам:
"Кто со мной, тот обретёт спасение!" –
И не знали те, что лишь богам
Полис страховой на воскресение.

Иисус из рыбьей требухи
Брал стирь. Народ лишь удивлялся!
Если б жил сейчас, за те грехи,
Им давно б ОБХСС занялся.

С лёгкой Иисусовой руки
Если б член соблазна отсекали...
Изрубили б все на пятаки
И рождаться б дети перестали.

Будьте люди, яко дети!
В Царствие войдёте,

А на этом грешном свете
Счастья не найдёте.

Иисус был непреклонен
В воздаяньях оных,
Потому и переполнен
Дом умалишённых.

Рёк Иисус: "Долги прошайте!
Да простятся вам долги.
Разум свой не возмущайте
Лёгкой поступью ноги!"

"Не желай жену чужую!
На неё не соблазись!"
То-то, что-то, всё гляжу я,
Все кругом переплелись!

"Не бранися брат на брата" –
Есть основа из основ.
Почему же я без мата
Не могу связать трёх слов?

"Кто богат на этом свете –
Не войдёт в небесный край"
Только знают даже дети:
"Будут деньги – будет рай!"

Жизни всей
Одна основа –
Сила духа!
Сила слова!

Библейская мудрость
Гласит во языцех:
"Будь сдержан до кротости
В спорных амбициях".
А как же теперь
Усмирить свои страсти,

Когда норовит каждый
Врезать "по пасти!"

Фарисеи у Христа
Поспросили про развод:
"Как от женского вопроса
Мужеской избавить род?"
И сказал он: "Человеки! –
По вопросу, по тому –
Прикреплён к жене навеки
Муж, и будет посему!
А тому, кто разведётся
И уйдёт к другой – такой –
Там, в аду, ему зачтётся!"
Так что помни, дорогой!
Свою проповедь о браке
Иисус неверно рёк.
Сам пожил бы с ней в бараке!...
То бы пел "ёк-макарёк!"

Шофёрская судьба.

У нас не бывает спокойных дорог.
Мы рано седеем от вечных тревог.
К обочинам жизни не жмёмся, пока
Остры наши взоры, надёжна рука.
Мы слушаем вечную песню колёс,
Встречаем рассвет с переливами рос.
Нас новые трассы ведут за собой,
И сердце довольно шофёрской судьбой!
Пусть дождь или снег в ветровое стекло,
Но рядом товарищ – считай, повезло.
А если товарищ собьётся с пути,
Поможем ему свою трассу найти.

Щупленький, маленький, весь измазученный,
горькая зависть в глазах,
недугом скрученный, вечно измученный,
жёлтый налёт на зубах.

Ходит задумчивый, не улыбается,
выпьет чуть-чуть и поёт.
Ну, а не пьян, так всё мается, мается,
курит. Вот так и живёт.
Горек удел в ожидании лучшего.
Долгие годы в слезах.
Ходит и ходит он, злой и измученный,
с завистью горькой в глазах.

СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН

Екатеринбург



Поэт и художник. Автор нескольких книг стихов. Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя», «Арион» и многих других. Редактор литературного альманаха «Белый ворон», удостоенного 1-й премии в международном конкурсе «Лучшая книга года», Берлин 2012.

Подслеповатый демиург
и безобидный идиот,
пуржа глаза снегами пург,
наощупь движется, бредёт,
шагает с жизнью налегке –
ему легко идти дано –
бормочет смерть на языке,
блаженно вымершем давно...

И с каждым шагом смерть длинней,
но я не ведаю, дурак,
подземное змеенье дней,
ночей, отпущенных во мрак.
Беспечные – и ты, и я –
безумье держим взаперти
на тонкой кромке бытия,
на еле видимом пути.

И я кричу: «Открой! Открой!»,
так что меня туда влечёт –
в библейский беспощадный зной,
где все круги наперечёт,
деревья голы, воздух сжат,
морозный ветер сест свет,
где наши двойники лежат,
а наших душ в помине нет?

ИЗ РИЧАРДА РОРТИ

о.Томашу Достатному

*«His glassy essence, like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven »*

Shakespeare

А ты опять о зеркале природы
твердишь, бормочешь, зараженный зудом!
Декарт и Кант, и Лейбниц, и Спиноза –
шарманка заунывная твоя.

Могу себе представить любомудров,
их нудные протесты против Бога
и преклоненье перед Человеком,
чей жизни смысл им *удалось прозреть!*

А между тем, метафора *познанья*
обычным глазом кажется мне мутным
убогим суррогатом постной веры,
ленивым оживленьем средь теней.

Наш ум зеркален, сделанный из стекол
субстанции возвышенной и тонкой,
он светится, не затененный телом,
и с ангелами горними роднит.

Но человеку при его гордыне,
в его житышке глупом, скоротечном,
о даре сущности зеркальной неизвестно –
кривляется мартышкой в трюме.

И плачут ангелы над трюкачом злобливым,
они бы, бедные, до колик досмеялись,
будь на минуту смертными, как люди,
не сознающими невежество свое.

Пыхтит маневровый,
споткнулось молчание – звук,
Зачехлены тени, зажмурены
льdistые лужи,
В застегнутом наглухо сквере
брожу, близорук,
Душа для видений ослепла
внутри и снаружи.
Раскроен по меркам ненастья
осенний разброд,
Отклеилось время
от вмерзшего в холод пространства,
Афишей кружится
в дыре почерневших ворот,
А мне – недород,
неустройство и непостоянство.
Вторичные признаки жизни –
сомненье и страх,
И слышится темное слово,
как злая обида:
Вглядись в этот лист, через осень,
и морок и прах
На дряблой ладони проявится
карта Аида.

Однажды я жил в стороне от дороги,
Где холод, и ночь, и темно.
Сосед забредал, доходяга убогий,
Весь вечер мы пили вино.

Он в грудь барабанил и бил что есть мочи,
Кричал: «Ты не любишь меня!
А я с каждым днем становлюсь все короче,
Я в дым ухожу из огня!

Меня в этом чаде не видно, быть может,
И листья, сгорая, шуршат!

А ты все долдонишь: "О, боже! О, боже!"
Но боги твои не спешат!»

Он плакал, и поезд на станции дальней
Сбривал оголившийся лес,
И жизнь нам казалась дробинкой случайной,
Мишени пристрелянной без.

Бодали рассвет деревянными лбами,
Сидели с братком до зари.
Мы мертвыми с ним целовались губами,
И в дым выгорали внутри.

«Мы умерли. Зато могли дышать...»
Пауль Целан

Ну, вот и все. Мы умерли – дыши!
Карминовый закат над головою,
Омытые любовью гольши,
Взаимному подвластные прибою.

Свободе безымянности ура!
Дай имя мне надежное, простое.
Мы были живы, кажется, вчера,
И задыхались в комнатном настое.

Там гибли розы желтые в глазах,
Нагие вещи мучили ночами,
Мы гнали страсть визжать на тормозах
И прогорать холодными свечами.

Мы подгрызали корни у небес,
Мы читали ересь – циники, zeloty.
Теперь мы умерли, и я в тебе воскрес,
А ты – во мне. Но я не знаю, кто ты.

Саше Петрушкину

Под градом небесным незримых частиц –
Ландрин, монпансье, леденцы –
Шеренга солдат марширует без лиц,
Сосушие свет мертвецы.

Дрожит стеклотара зеленой слезой,
Солдаты спешат за вином,
Их лупит по темечку дождик косой,
И ближний закрыт гастроном.

Застыли в пейзаже и лошадь, и грач,
Луна в эпоксидной слюде,
Контуженный ветер, простуженный плач,
Круги по свинцовой воде.

Сгущается воздух в корунд и топаз,
И ты к нему ухом приник,
Все ждешь, будто смерть рассекретит твой час,
Наивный младенец-старик.

АНАСТАСИЯ СОЙФЕР



Родилась в Одессе; филолог; преподавала литературу и эстетику. Стихи писала с ранней юности, печаталась в периодике, но, в основном, писала "в стол". Щепка 3-й волны эмиграции – с 1979-го жила в Канаде. Первые годы переводила, редактировала и писала для единственной тогда в стране русскоязычной газеты "Вестник".

Получив новую специальность, 30 лет проработала в области компьютеров. После долгих лет молчания вернулись стихи. Финалист и призёр нескольких международных поэтических конкурсов; автор поэтического сборника "Чернобеловики". Последние публикации – в газете "Интеллигент", в поэтическом интернет-альманахе "45-я параллель", журналах "Крещатик", "Новый Свет", "Австралийская Мозаика". Полтора года назад переехала в Австралию, где живут мои сын и внуки – вот и ещё одна страна на карте моей жизни!

Прогулка

Сумерки ловят краски, глотают улов,
и разбегаются улицы от углов.
Льёт с океана воздух, долой духота.
Мне до пустого дома ещё квартал.

Свет, настоявшийся в окнах, как чай душист,
он разговорчив, дружелювен и смешлив.
Первые звёзды и четверть луны взошли,
небо в разводах, и тьма упасть не спешит.

Птицы утихли – пора летучих мышей;
низко, натужно летят они на прокорм.
... Камень изъеден, и низкий портал замшел,
колокол в старой церкви звонит – по ком?

Медлю, вдыхаю вечернюю благодать.
Дом уже – вот он, осталось рукой подать.
Верные стены там, сдвинувшись, стерегут
мой тишины стакан и пустоты лоскут.

Подходит к концу игра.
Летучие дни темней.
Остра и блестит игла,
а я – экземпляр на ней,
что ёрзает, верещит
и лапками бьёт, пока
иглу в деревянный щит
вонзает Его рука –
творца, хитреца, ловца,
начальника всех начал,
что зренье дал – но не дал
увидеть его лица.
Зачем ты открыл глаза
минутной твари ночной?
Лаская, таясь, грозя –
зачем ты играл со мной?
Стучалась в стекло крылом,
дрожа от ветров, погонь,
и век манил за стеклом
твой свет и живой огонь...
Но скрыт источник огня –
посверкивает как антрацит.
А старость не бой: резня
без промаха – геноцид.

Были я и ты, ты и я:
в дымке райский сад, яблоко надкушено после...
Спят рыбы, птицы, люди, сны храня и тая –
мне же сон и короткий опять не послан.

Залетает ветер – вздул занавески подол.
Залетает ночная бабочка – кайф стоваттный обрящет.
Облака в чёрном небе регатой белых гондол,
ускоряясь, плывут вслед моим кораблям горящим.

Ни души во плоти – разве что в сети
временных поясов перекличка, зудят цикады...

Что же мне найти – ночь перейти, с ума не сойти? –
в паутине реклама, сенсации, лица, кадры...

Были ты и я, я и ты.

Смерть в яйце, яйцо в утке, утка – на небесах.

Небеса над облаками безоблачны и пусты –
ни Зевса, ни Яхве, и сердец не взвешивают на весах.

“Не умрёшь” – говорил – “но твои распахнутся глаза
на твою наготу, нищету, красоту,
через кущи, и реки, и звёздные заводы – за
слепоты и смиренья, неведенья, страха черту.

Ты увидишь процессию жизней на скорбной земле,
свою женскую суть познавая, как силу и боль.
Племена и народы волнами пойдут за тобой.

Так решайся, праматерь!
Вкушай же смелей!”

Кто он был, соблазнивший на грех первородный жену –
гид, знаток, толкователь всерайских широт,
знавший лучше Творца перевозданную эту страну,
угадавший грядущее, ведавший тайны сферот?

Как прекрасен он был и силён, во весь рост, во всю статью,
как жестоко наказан, растоптан, но не побеждён –
антипод и двойник, пересмешник Творца, дерзкий тать –
дьявол, ангел мятежный?

Вторгается в сон,
век мерещится грешным её дочерям,
о несбыточном счастье пророчит, ввергает в беду...
Древо знания зачахло в безлюдном эдемском саду.
На земле райским яблокам счёт садовод утерял.

Оркестр звучал нестройно, и одна
труба досадно издавала всхлипы...
В толпе мелькали лиц любимых клипы.
Потом остались только имена.

Чем дальше в лес, тем больше было дров,
и холодней, и продувнее ветры,
и – на парсеки, не на километры
не ожидался ни привал, ни кров.

Чем глубже в лес, тем в памяти темней
она была – цветущая долина,
которая их жизнью одарила,
и то, и те, что оставались в ней.

Вначале цель влекла, кровь будоража,
риск подгонял, надежда на успех.
Потом все смолкли. Первым умер смех.
Давила каждого его поклажа.

Стволы и корни их вели сквозь строй
и тут же за спиной смыкали своды.
Шли год? сто лет? сквозь световые годы...
Лес перешёл в дремучий сухостой.

Теперь они не помнили ни цели,
ни направленья, ни пути назад...
Приборы лгали, хоть и были целы,
и вводили в чашу наугад.

И в каждом теле съёжилась душа
и тело за себя решать просила –
поэтому им оставался шаг,
ещё один, ещё другой сверх сил, и –
та музыка, застрявшая в ушах.

Ты! – как странно – не верится – столько лет
без тебя! Неприметный сырой рассвет,
вдруг с поличным пойманный странный сон –
как другие сны, не забылся он...

Вещи, стены, цветы на обоях – миг
отошедшего, окоченев как миф,
Атлантидой утраченной спал на дне –
и воскрес, всплыл, ворвался ко мне во сне.

Не в нетопленный памяти кинозал,
где истёртая рвётся лента, меня зазвал –
жгуче, молодо, больно всё было там –
всё нетленно во мне вопреки годам...

И объятия распахнуты, как восток
на заре... Та же нежность волной, восторг,
тот же обморок крови, нервов и жил,
каждой клетки – как было, когда ты жил.

Если он святотатство, мой сон – прости...
Если весть мне принёс, раз уж навестил –
как, любимый, понять мне её? – темна...
Если завтра проснусь – то одна, без сна.

ОЛЬГА СУХАНОВА



В 1998 г. окончила Литературный институт им. Горького (семинар прозы Л. Бежина), потом очень долго вообще ничего не писала. Автор двух сборников стихов ("Невозвратный тариф" и "Двойная сплошная"), публиковалась (стихи и рассказы) в приложении к "Литературной газете", журналах "Кольцо А", "Работница", "Москва", "День и ночь", в разных поэтических альманахах и сборниках.

Хотела щедрый стол и теплый дом,
да детям на ночь песенку простую.
А выпало – навывлет, на излом,
запрет на письма и на поцелуи...
А выпало – дороги, поезда
и дым мостов, горящих за спиною,
вагонных окон мутная слюда,
остывший чай и сердце ледяное.
Что выпало – то выпало. Мое.
Запутана клубков небесных пряжа,
и бесполезно расплетать витье.
Мне знать – чужое, и мечтать о краже,
и дальше с этим жить, как все живут –
улыбки втайне да украдкой взгляды,
да встречи лишь по несколько минут.
И не скулить, и не просить пощады.

Лапландия

В небе сиянье горит огнем.
В шубке потрепанной, белокура, –
кто эта девочка за окном?
Кликнул бы стражу, да жалко дуру.

Бьюсь над задачей, идут года,
снова решаю – и вновь неверно:

из серебристых кусочков льда,
как ни крути, – а выходит «Герда».

Странное слово – река, страна,
кличка собачья, цветка ли имя?
Образ ли дальний – из сна, со дна, –
или заклятие, что не снимешь?

Выдумал же – самому смешно.
Все это сказки, пустая небьль.
...Холмик заснеженный за окном,
сопки вдали да сиянье в небе.

Говорит, не заметил и сам,
как накрыло волною, –
и с тех пор по следам, по пятам
так и ходит за мною.

Не клянется в любви неземной,
не робеет нелепо –
только ходит и бродит за мной,
дарит звездочки с неба.

Не окликнет и не позовет,
не нарушит покоя –
просто следом за мною идет,
словно я за тобою.

Путь начертан, да нам неведом.
Я не вместе – я рядом, следом.

В зной безводный, в метель лихую
стерегу, берегу, страхую.

Зубы стиснула и не ною.
Я не об руку – за спиною.

Сырники

Мамин рецепт – с изюмом,
Медом и курагой.
Как о тебе ни думай -
Ты все равно другой.
В окна порыв норд-веста –
Бешено, по-мужски.
Липнет к ладоням тесто,
Надо еще муки.
Краем стекольным, бритвой
Строчки в письме. Прочти.
Есть за тебя молитва,
Нет за тобой пути.
Ни в кандалах к острогу,
Ни босиком в пургу...
Сырников на дорогу –
Что я еще могу?
Ехать тебе неблизко.
Поезд, вокзал, огни.
С горкою вышла миска.
Боже тебя храни.

Просить

А один говорил – никогда ничего не просить.
А другой уверял – мол, просите, дано будет вам.
Я у кромки стою: сверху небо, внизу котлован,
Мне упавшей звездой подмигнула высокая синь.

Что вверху, что внизу – темнота и не видно ни зги,
Только искры на небе и дождь по лицу проливной.
Все, о чем промолчала, - мое и осталось со мной.
Все, о чем попросила, - немедля досталось другим.

Осколок

Разобьешь меня – подбери осколок.
Будет острым край, словно сто иголок.
Осторожно – пальцы бы не поранить –
положи в карман и припрячь на память.
Положи в карман да носи с собою.
От чего смогу – от того укрою.

Пересуды, сплетни и кривотолки
разлетятся в пыль от краев осколка.
Сберегу в степи и в долине горной.
Покажи, кому, – перережу горло.
Но извилист путь, и непрост, и долог, –
потеряешь ты оберег-осколок.
Удивишься, как все переменялось:
было ясным небо, и вдруг – немилость,
и к другим ушла от тебя удача.
А в траве осколок лежит и плачет.

ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ



Родилась во Львове. Закончила Университет, факультет романо-германской филологии. В Австралии с 1998 года. В университете в Канберре защитила диплом по курсу “Психология”. Работает психологом-диагностом в центре нетрадиционной медицины. Стихи пишет с 16 лет. В Украине печаталась в периодических и студенческих изданиях. Публиковалась в Мельбурне в местной русскоязычной периодической печати и в

сборниках, а также в Германии, в том числе в альманахе «Крещатик», в России – в газете «День литературы». Пишет на трех языках.

У КОХАННІ ВІНЧАНІ

Ми злилися ‘очками,
Кварцем із топазами.
Весняними лозами,
Лозами крем’язними.
Пальцями жадобними –
В єдності оселені.
Наче небо сивее
З молодою зеленню.
А із слів доріжкою –
Мережа нескінчена.
Ми злилися навіки,
У коханні вінчані!

Я ПОДЗВОНЮ ТОБІ

– Я подзвоню тобі?
– Ні, не сьогодні.
Ляє той дощ, ніби прірва в безодні.
Небо затягнуто кольором сірим.
Настрій підведено подихом сілим.

А перехожий собі поспішає,
Думка осідлості видко втішає.
День попрощався химерою тіні.
Вогник зайнявся тремтінням весіннім.

В’ється доріжка, блищить колією.
Нема поєднань би бути твоєю.

Дощ не стає, видко прірва в безодні.

– Я подзвоню тобі?

– Ні, не сьогодні!

ГРІШНИЦЯ-ПАМ'ЯТЬ

Чом тая згадка очі воложить,

Грішницю-пам'ять будить, тривожить?

Порохом вкрита тім'ян-крапива,

На роздоріжжі вітрова грива.

Видко на віях тіні по краю,

Знову воскресла нипа, блукає...

Звела до купи камінь-долоні.

Серце пульсує жилкою в скроні.

– Гей зупинися, чуєш, благаю...

Губи воложить шепіт молитви.

– Я ж пред тобою зовсім нагая,

Хоч на колінах – виграна битва!

Згадка майнула грішниця сива,

На роздоріжжі тім'ян-крапива.

СОНЦЕ ВИСОКО

Сонце вис'око зовсім не гріє,

В косах берези вітер шаліє.

І павутиння на підвіконні.

Синьково-сині квіти кортонні.

День позіхає, вечір далеко.

Мить затремтіла над прірвою деки.

Я виправляю свій обрій сьогодні,

Відігріваю серця безодні.

Очі вологі в свіtilі прижмурю,

Свою веселку в кольорах пожурю.

Вітер най зірве оте павутиння,

Викину квіти синьково-сині.

СОЛНЫШКО СОНЕЧКА

Солнышко, Сонечка,
Сонечка-душка.
Высветлил лучик
Прозрачное ушко.
Глазки фонарики –
Цвет васильковый.
Судьбу-судьбинушку
Дарит подкова.
Губочки бантиком важно сложила.
Вся в обрамленьи кудряшек,
Как мило!
Богом обласкана, а не ветрами.
Сонечка счастье –
Папе да маме.

ПРИГРЕЛСЯ ГОЛУБОК

Пригрелся голубок на стыке двух перил.
День сумрачный, он выбился из сил.
Сидел, нахохлившись
Меланжевым сим боком,
И на людей глядел крапленным оком,
Как будто им сказать хотел,
Что не навеки здесь присел –
Так, задержался ненароком...

МОНОЛОГ ЧЕРЕМУХИ

– Я невеста, слышишь, твоя невеста...
Под окном с утра щебетали птицы.
И сырой туман исчезал из сада.
– Может, все мне это сегодня снится?
Озарило утро весенним светом,
Будто кто-то мне подарил улыбку.
– Я сегодня в белом, твоя невеста...
Шепчет цвет черемухи где-то зыбко.
Сад согретый солнцем внезапно ожил,
И роса сверкнула алмазом с листьев.
– Мы с тобой сегодня, мой друг, похожи.
Так шептал дурман, опуская кисти.

А в ответ – Ты знай, я твоя невеста!
Непотребный сад молодой, цветущий...
Белый цвет черемухи вязко сладок,
Поцелуй смертелен.

ПРИСВЯЧЕННЯ ІВАНУ МИКОЛАЙЧУКУ

Вітер віє косяками,
Дощ сміється потіками,
А троїсті ті музики
Відбивають обцасами.
А по шляху тим широкім
Файний гуцул, чорноокий –
Водить кола з гуцулкою
Заквітчаною стрункою.

Там де кришталеві роси,
Золотавії покоси,
Де гуцули щастя зичать –
Монастир стоїть Анничин.
У квітучих Чорторіях,
Народився юнак в мріях.

Очі мав небесно-сині,
І талан він мав, і вдачу.
І не міг пройти без жалю,
Там де доля чиясь плаче.
А в житті то правда своя.
І ніхто не знав, що згодом
Край свій рідний він прославить,
З буковинським всім народом!
І як пишеться в поетів,
Час, як пізній птах пролетів.
І юнак той світлоокий,
Яснозореньково злетів.
День народження подія –
Від самої Чорторії
Виплекана рушниками
Миколайчукова мрія.

Вітер віє косяками.
Дощ сміється потіками.
А троїсті ті музики
Відбивають обцасами.
А по шляху тим широкім,
Файний гуцул, черноокий –
Водить кола з гуцулкою
Заквітчаною стрункою.

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН



Закончил Львовский Политех. В Австралии с 1996 года. Печатался в различных российских и русскоязычных изданиях. Публикации: «День литературы», «Дон», «Лауреат», «Интеллигент», «Новая Немига литературная», «Альбион», «Острова», «Витражи», «Арфа Давида», «Австралийская мозаика», «45-я параллель», «Крещатик», «Белый ворон», «Золотое руно» и др. В 2012 году вышла книга

стихов и прозы «На костре своих строчек...» В 2015 вышел поэтический сборник «Нам выбор дан...». Финалист конкурса «Пушкин в Британии» 2007, 2012 гг., «Серебряное перо Руси» 2014 г., Лауреат премии «Герой нашего времени» 2015; Литературная премия им. Вениамина Блаженного 2014 г.

Медаль журнала «Крещатик» 2015 г.

Ни слова фальши – как же это сложно.
Так хочется хвалить и величать:
То ножку женскую, то Чистый День морозный,
И червоточин в них не замечать.

Не замечать, что ножка кривовата
И поступь по-крестьянски тяжела.
Что облака легчайшие из ваты
Намокнут к полдню и нависнут как скала.

Не замечать, как все идет по кругу,
Как почва ускользает из-под ног,
Не замечать, когда теряешь друга
И остаешься страшно одинок.

Закрывать глаза и петь одну осанну,
Как соловей, задравши к небу клюв.
Жизнь тут же подкрадется кошкой драной
И вырвет горло, замыкая круг.

Когда отчаянье хватает за кадык,
Когда ты близок, чтоб с собою – как Файзуллин...
Когда и рядом с той, с которой век на ты,
Не избежать веревки или пули –

Вот он, тот миг – бумагу, карандаш,
Огрызок мела на клочке асфальта –
Валяй – из самых благородных краж
Стянуть строфу у крошева базальтов.

Она шибает посильней вина,
Взбодрит покруче флирта глаз голодных –
Та самая соломинка одна,
Чтоб удержаться в семибалльных волнах.

Такая странная до колики нужда
Услышать чрево: «Ты венец таланта!»
Ты сам-то веришь? – Больше «нет», чем «да»,
Когда строфа – поверх рванья заплата.

Грамматик

Овидию изгнание – катастрофа,
А наш, напротив, в удалении зрел,
Как скарпелём обтесывая строфы,
Над словом чах, над рифмою корпел.

Он и себя поставил вне закона,
Стеною отчужденья окружил,
Чтоб год за годом грубо, исступленно
Тиранить музу, павшую без сил.

Он выжимал пронзительные строки
Из капель прошлогоднего дождя.
В них зелень томно исходила соком
И шмель летал, назойливо гудя.

В них землю черную, сверкнув на солнце, лемех
Расчетливо изрезал на ломти,

Рука размашисто разбрасывала семя,
Зимой несла к губам аперитив...

В них женщина платочек нервно мяла
И пальцем крестики чертила и нули,
Луна взбиралась в небеса устало
И в темном парке лилии цвели.

А за стеной шла жизнь своим манером,
Просачиваясь в каждую дыру,
По праздникам бесчинствуя в тавернах,
И вытесняя в дебри кенгуру.

А здесь декабрь – в разгаре лета.
Иду по улицам пустым
В час пик, но будто предрассветным.
Здесь не Одесса и не Крым.
Я в шкуре беглеца – поэта
В стране, которой я не сын.

И жарким летом недоволен,
Мой друг трусит на поводке.
Он по-животному устроен,
Но прикипел к моей руке.
(Мы с ним одно, хотя нас двое,
А тень уже невдалеке).

Пуста проспекта перспектива.
Сегодня праздник – Рождество.
Вино – рекой, фонтаном – пиво.
Прикинь, афею какво!
Но я, поскольку не строптивый,
Хоть и не верую в Него,
Киваю встречным: «Мэри Кристмас!»
И пьян, не знаю отчего!

(По мотивам австралийского фольклора)

Простой холщовый вещмешок
Прислужник мне и друг.
Тот вещмешок да пара ног –
Весь список моих слуг.

Я с ними в гору не пойду,
Мой путь лежит в обход,
Играя с ветром в чехарду,
Вдыхая дикий мед.

Найду местечко на пруду,
И там без лишних слов
Костер веселый разведу
С дымком от комаров.

Сорвется в огненный заряд
Глупышка-мотылек
И, может быть, бродяга-брат
Придет на огонек.

Ягненок – я его украл –
Сегодня ужин мой.
Он утром весело скакал,
Теперь в котле с водой.

И участь горькая его -
Подобная моей.
Нагрывают копы – ого-го!
Ловить плохих парней.

Моя свобода на кону,
Но им меня не взять.
Я с головою в пруд нырну,
Чтоб век на дне лежать.

АДАЛЬ ХОЛЬМ



Поэт, писатель, драматург. Родился в Москве в 1974 г. Автор книги стихотворений «Альба», фантазмагории «Пир Гамаила» и «Сказки цветов», а также многочисленных рассказов и пьес в жанре абсурда. Публиковался в литературных журналах «Новая Юность», «Южная звезда», «Сура», «Крещатик», «Edita Gelsen» (Гельзенкирхен), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф), «Лампа и дымоход», «Иные берега Vieraat rannat» (Хельсинки). С 2001 года живёт в Праге.

Кракелюры

вековые кракелюры
очертили гибкий стан,
как обветренные губы
прикасаются к устам
лихорадочный румянец,
алебастр белых плеч
сохранила взору память
но не может уберечь
в сеть загадочную кружев
погрузив туманный взор,
отступила, обнаружив
повелительный узор...
прихотливое искусство
умирающих веков
отыграло и потускло
на штыках большевиков

Аэростат

фантазия по гравюре
Геркулеса Сегерса
аэростат летит в долине
к уступам вырезанных линий
отвесных гор, подобно солнцу
в необозримой вышине –
и замирает в тишине
скользя по горному откосу

достиг вершины белоснежной
и поднимаясь в облака
паря возвышенной надеждой
горит и светится пока...

Апология Птолемея

заря погасла –
солнечный восход
закат луны
и звёздные лекала
не победил земных законов свод,
пока его судьба оберегала...

как прежде
на скрещении дорог
поднимет ветер
хороводы листьев:
взошла на трон и умерла любовь
как полотно, покрашенное кистью

не поражайся
сонной глубиной –
вселенная
не гелиоцентрична
она восходит вечно
под луной
и обгорает на огне
как спичка...

Lingua morta

слова не отражают суть
явлений жизни запредельной
сжигают, как пожар в лесу
следы обманчивых видений

блаженство подчинив стихии
волнуют дух, смущают ум
как завсегдатаи в трактире
между властителями дум

как ветер, их глупец подхватит
как сонный лист, туда несёт
где мухи, уподобясь знати
глядят с насиженных высот

на изваянии гробницы
их высекают как устав –
чтоб мы читали небылицы
про клад, запрятанный в кустах...

так Герострат над Артемидой
не потешался сгоряча
как эти груды кирпича
над нашей брошенной хламидой

Эсквилин (Мгновения жизни)

могила заросла –
над ней не властно время:
травы и лепестка
изменчивое бремя
прожилки листьев,
как тепло в ланитах,
хранят покой
на погребальных плитах...

весна, зима
по ним едва заметна
душа во сне
затворена как клетка
послушная
незримым голосам
над ней
восходит солнце к небесам
родня с живыми
отзвуки надежд –
так остаётся
бездыханно-свеж
румянец на щеках

и влажный пламень
открытых губ
пока на сердце камень
не упадёт как тень
к закату дня
блеснув минутным
заревом огня...

причуда
на гранитном изваянье —
угасла жизнь
насмешкой в полусне
и замерла, себя не узнавая,
как след аборигена
на песке...

Поцелуй феи

дует ветер осенний
налетающий с неба —
отголосок последний
бесприютного снега

в алый отзвук зари
как в кровавую гущу
поднимает с земли
невесомую душу

тело ищет предлог
опуститься на землю
как бескрылый цветок
не готовый к падению

он дрожит на ладонях
протянутых рук
отрываясь без крови
с обветренных губ

АЛЕКСАНДР ЮРОВЕЦКИЙ



*Родился в Риге. Окончил физмат
Латвийского университета. Живёт в
Мельбурне.*

Заочное пожелание

Я желаю Вам успеха
В постиженьи Ваших снов,
Еле слышимого смеха
От познания основ.

Поборите все сомненья
На нехоженных тропáх,
Настоящих откровений
Вам в немислимых мирах.

Чтоб мерцанье сфер заочных
Третьим глазом уловить
И плодом фантазий сочных
Жажду на́ день утолить.

Спор с сыном

Тяжко с сыном мне бодаться —
Любит в игры он играть.
Упираться заниматься
Сил ему не занимать.

С ним легко договориться
Через пять минут начать,
Но приходится смириться
И раз пять пересчитать.

Знаю все его повадки,
Да исход-то предрешён:

Чистый взгляд струится сладкий,
И мой гнев опять смешон.

Вера

Верят все: мудрецы и невежды,
Атеисты, рабы и цари.
Вера – крайняя форма надежды,
Боготворная степень любви.

Укрепляет её испытанье,
А пройдёшь – получи потрудней.
Чередой то мытьё, то катанье...
Станет лучше! Пардон, веселей.

Будет зло без конца всех мурыжить,
Книга Жизни – один переплёт.
Только вера поможет нам выжить
Среди тех, кто за веру убьёт.

МИХАИЛ ЯРОВОЙ



В Австралии с 1998 г. Родился в Москве в 1969 году, образование – высшее медицинское. Как автор и исполнитель песен неоднократно выступал в России (в "Гнезде Глухаря", "Библио-Глобусе", ДК "Рублево", "Форпосте в Лужниках", в программе "Авторская песня" на радио "Эхо Москвы" и др.) и в Австралии (в концертных залах, по австралийскому радио СБС, по мельбурнскому телеканалу "Спутник"). Автор публикаций в ряде русскоязычных изданий, включая журналы "Австралийская мозаика" и "Интеллект", литературные сборники "Уроки русского", "Встречи", "Под небом Австралии", "Со мною вот что происходит", мельбурнский альманах "Витражи", российский альманах "Поэт года 2011" и др. Творчество Михаила Ярового также представлено на портале "Русская литература Австралии", о нём неоднократно писала старейшая русскоязычная газета Австралии "Единение" и другие газеты и журналы. Лауреат и дипломант различных литературных и бардовских конкурсов, среди которых – Грушинский международный интернет-конкурс (2014 г.).

БЫТЬ БОГОМ

Быть богом невыносимо
И разве что богу под силу.
И бог с ним со всем, и чудно.
Раз это не наше дело,
Не стоит тужить о доле,
В которой любви и боли,
Действительно, нет предела.

И сколько ни хорохорься,
Какой ни бравируй силой –
Быть богом невыносимо –
Поверь мне и успокойся.

То раб, то воин, то царь, то пахарь –
Привычной стала Земли дорога.
И с каждым разом всё меньше страха,
Всё больше крылья, всё ближе к богу.

На гребне своей удачи
Я тоже вращал планеты,
Играя в князей тьмы и света,
Как в числа свои Фибоначчи.
Костры разжигал без спичек,
Рукой разгонял болезни,
Гитарой гремел в подъезде
И в тамбурах электричек.
Под боком у звезд горящих
Сдувал со вселенной плесень,
Миры городил из песен,
Надеждой лечил пропащих.

И край за краем, и век за веком
Мир открывался мне понемногу,
И я всё больше был человеком,
И я всё меньше хотел быть богом.

Быть богом отнюдь не значит
Быть чище, мудрей, красивей.
Всё это – азы для мессии,
Для бога же всё иначе.
Жить в каждом больном поэте,
Любить всех, кого не любят,
Судить тех, кого не судят,
За всё пребывать в ответе.

И глядя на то, как дети
Жгут сад и едят друг друга,
Лечить их от их недуга,
Учить, как учил Муруган,
Прощая им всё на свете.

Да разве можно так жить веками,
Как в чудо, верить в нас бесконечно?
Ведь сердце бога, поди, не камень,
Оно живое... Оно не вечно!..

ЮРИЙ ЯКОБСОН

Россия



Год рождения 1972. Стихи пишу с детства, но публиковаться начал недавно. Участник Иркутских поэтических слэмов и 15-16-го международных Фестивалей поэзии на Байкале им. А.И.Кобенкова; лауреат конкурса «Король Поэтов» в 2016 г.

полустих

Полумудрец, полупоэт,
Полухалтурщик, полубабник,
Пишу уже немало лет,
Бывая нежным и похабным...
Гулять под флейту – зашибись,
Но Драма – не весёлый мультик,
И вдруг хватаю полугипс,
Лепя Её, как полускульптор...
Но будешь ты полужива –
Надолго гипса не хватило!
Текут рекой полуслова,
В тебя вдыхая полусилу...
Оргазм творческой идеи –
Полукувшин полувина.
Зачем мне полу-Галатея,
Когда есть целая Она?

Разговор с подругой (триптих)

1.
А губы грызть, наверное, не надо!
Не лучше ли поярче взять помаду,
В приветливой улыбке растянуть,
И поцелуя ждать... Когда-нибудь...
Когда уйдут и копыя, и досада,
Забудешь про изгнание из Сада,

И сменятся горошиной бобы –
Подарком Человека-не Судьбы.
Когда любви неискренней не рада –
Не отвергай, но поиграй! Так надо.

2.

Порой чего-то ждать – себе дороже...
А ты дождись – разбег всегда возможен!
Когда-нибудь? А если нет разбега...
А ты забудь! Жизнь пёстрая, как "лего"!
Дождешься милости, как летом снега...
Учи, что шаг порой быстрее бега!
Нет, я не жду...наврное...быть может...
Всё может быть – но лишь с весёлой рожей!

3.

А может, для кого-то будет лучше,
Что снова жгут морским узлом закручен?
А может быть, не жгут, а прочный гипс,
Что застывает – только берегись...
Но гипс – отнюдь не бронза и не мрамор,
В отливке кажется он крепким самым,
Но стоит лишь его встряхнуть, и вот
Наш гипс прекрасно трещину даёт...
Так будем жить! Окаменеют морды –
На всякие узлы найдётся Гордый.

Мотылёк

И вот звонок. И открываю дверь,
И сумка резко брошена у входа.
Сам пригласил – ну что ж, терпи теперь...
Поговорим? Ну, как она, погода?
А в общем – дрянь. Сибирская жара
Ничем не лучше например, турецкой,
Когда снаружи тридцать, и с утра –
Забудешь, как зимой хотел погреться...
А, стол? Стараюсь, что ни говори.
Форшмак. Свининка. Рюмочка к обеду?
Да, это бэйлиз – прямо с дьюти-фри!
Подсвечник? Анитквариат, от деда...
Библиотека? Можешь посмотреть.

Шекспир, Толстой... Стругацкие, Довлатов...
И это ты читала? Обалдеть!
Я всё люблю – знать, предки виноваты...
Да, это сын. Ему здесь года два.
Очередную разломал машину...
Пейзажи? Да, знакомый рисовал.
А маме нравилась вон та картина...
Что, музыка? Вот барды, есть шансон.
Нет, диско не держу, сейчас скачаем...
А впрочем – есть ли танцевать резон?
Мы всё и так прекрасно понимаем...
Мы мягкие, а этот мир жесток.
И можно ли и нужно ль так встречаться?
А ночь темна. Залётный мотылёк.
Кусочек маленький чужого счастья...

Географическая шиза

Может, кто-то и не поверит
Мне с фантазией буйно-радостной,
Но давайте любить Кинерет
Так, как будто он под Хабаровском!
Пусть представить пока невозможно
Титикаку – в горах Урала,
Только в жизни моей суматошной
Всё же Днепр течёт из Байкала!
Среди льдов и морозов кошмара
Соловей распевает звонко,
Прорезает пески Сахары
Полноводная Амазонка.
Может как-то я, как Незнайка,
Снова путаю время и место,
Только медной горы – не хозяйка,
А хозяйка всего Эвереста.
Пусть смешались моря-океаны,
И физические законы,
Вышли ёжики из тумана,
И уходят в сумрак драконы,
И уносят с собой надолго
Ту звезду, что никак не греет,

И играет паяц на домре,
Под густое сопрано геев,
Получается странный опус –
Но придёт и его эпоха...
Это просто – мне скоро в отпуск,
Это значит – не так всё плохо!

Аквапарк

На лошади не катались
И лошадю не ходили
А просто на льдине плыли
И просто в мечтах купались
В пещере сидели духи
И чёрными были трубы
Но что-то шептали губы
И ржали над чем-то турки
Дорога была опасной,
Но только – не очень длинной
Вдруг завизжала Марина
И осень стала прекрасной

Издали

Наверное, можно и нужно
Уметь целоваться глазами...
Полдня собирали ракушки,
Чтоб строить воздушные замки...
Погода немного в миноре,
Но все же вхожу я несмело
В то наше семейное море,
Что здесь называется Белым...
И правда – как будто свиданье,
И время назад возвращает,
Но это уже не Аланья,
И очень тебя не хватает...
...Стихают уставшие волны,
И весело прыгает мальчик,
И нимфа в зеленой бейсболке
Уходит все дальше и дальше...

Пост-праздники

Пост-праздники... Бестрепетно и гордо
Сижу весь в мыслях, но с помятой мордой.
И смысл жизненный не в осознание,
А в бесполезности того свиданья...
Века проходят Тигром, Крысой, Зайцем,
Но сколько можно ждать, вот так терзаясь?
Ну что ж... Я впечатленьями не беден,
Но не ответит мраморная леди,
Салюты мимолётных тех пирушек
Захочется упрягать под беруши,
И те, кто называемы друзьями,
По веткам расползлись, как обезьяны...
Кротоми спрятались в тупые блоги,
Наверно, хватит этих зоологий!
Врагов не видно, а друзей не жалко...
...Не прыгнет на колени верный Сталкер...

Беглец

Есть драйв... Но только драйв – ориентир туманный.
Плыть весело, но как? В какие океаны?
Немного ласты жмут, но кислорода хватит.
На берегу семья – а можно ли предать их?
Надолго ли меня опять уносит в море?
И повод ли уплыть – пять слов в случайной ссоре?
Есть остров где-то там – девчонки и гитары,
А может, для него я безнадёжно старый?
А может, всё друзья беззлобно набрехали,
И вовсе тундра там, а не песок и пальмы...
Друзья – им хорошо. У них – комфорт, корабль,
А я – почти один, уверенный, но слабый.
Они подержат шланг, и бросят круг надутый,
И выстрелят в акул... Но – страшно почему-то...
А впрочем, всё к чертям, и ни фига не жалко,
Пока плыву вперёд – встречай меня, русалка!

ПЕРЕВОДЫ – PEREVODY



Редактор – Галина Лазарева

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

Из шотландской гэльской поэзии

Роб Донн (Роб Маккей) (1714–1778)

Принято считать, что родился трагик и сатирик Роб Донн («Роб с коричневыми волосами») в 1714 году в Стратморе, Сазерленд. Принадлежал к клану Маккеев, хотя вариантов его полного имени предлагается много. Он не только не выучил английского языка, но не научился даже читать по-гэльски. Еще в детстве он был замечен состоятельным скотопромышленником по имени Йан Маккей, писавшим стихи; тот, распознав талант мальчика, взял его на воспитание. Роб Донн служил в армии, но не в качестве простого солдата. Его период военной службы пришелся на 1740-е, когда он, по всей вероятности, находился на положении полкового барда.

Вся его жизнь была ограничена границами Сазерленда, говорившего тогда почти исключительно на гэльском языке, притом на диалекте, ныне полностью отмершем. Чаще всего, как это принято не только в Шотландии, он использовал в качестве ритма мелодию, притом нередко собственного сочинения. Если мелодия известна, это во многом упрощает задачи переводчика, ибо мелодия превращает силлабический гэльский стих в русский силлабо-тонический. Согласно биографу Донна, Иану Гримблу, Донн оставил больше мелодий, чем любой другой поэт восемнадцатого столетия, кстати – больше, чем Бернс, который записывал бытующие мелодии, но сам почти не был сочинителем их.

Записей его поэтических произведений, сделанных под диктовку, сохранились единицы. Прочие были записаны современниками со слуха или на память. Их аутентичности повредило не только изъятие при записи всего того, от чего в те времена вспыхивали лица и бумага, но и намеренное упрощение умирающего диалекта. Однако поэт был настолько популярен в родном краю, что до самого конца XIX века продолжали отыскиваться ранее неизвестные его стихи и песни. Это были в прямом смысле устные стихи; сохранности их способствовала многовековая кельтская традиция слагать не столько стихи, сколько песни.

Первое отдельное издание стихотворений Роба Донна вышло через полвека после его смерти, в 1829 году. Второе воспоследовало

лишь в 1899 году, и содержало ноты к многим его песням. Буквально сразу появилось еще одно, где количество стихотворений превысило 200, что делает Роба Донна едва ли не самым плодовитым гэльским поэтом XVIII века. К сожалению, за этим почти ничего не воспоследовало. С тех пор больше книг не издавалось ни в оригинале, ни в переводе. Переведены по сей день на английский только 3-4 хрестоматийных вещи, прочее же остается толком не изучено. На основе содержания стихотворений отчасти реконструируется его биография, на основании же документированных событий того времени, преимущественно имевших место на землях кланов Маккей и Сазерленд, где жил Роб Донн, реконструируется и сама эпоха патриархального быта гэльской Шотландии, стремительно отмирававшего к концу XVIII века. Научное издание произведений Донна пока что остается лишь мечтой его многочисленных поклонников.

Гимн Йану Маккею

Приемный отец Роба Донна, Джон Маккей из Мусала (или Страт), как его часто называли, был ипотекодержателем части Стралмора и жил в Мусале, недалеко от места рождения поэта. Он сам был поэтом, и рано оценил гений барда. Роб Донн был нанят Маккеем и состоял при нем скорее как компаньон, чем как слуга. В 1729 году Йан Маккей собирал деньги с арендаторов по закладным земельной собственности в Классяхе.

Уже не нужно звать врачей,
Ты путь окончил, Йан, сын Йана,
Благорассудный казначей,
Нас опекавший постоянно;
И тем, что ты – в земле сырой,
Мы опечалены до гроба,
А что придет такой второй,
Так в это верю не особо.

Вовек не требовал похвал,
На повод к оным невзирая,
Ты многим деньги раздавал,
Со многих деньги собирая.
Добравшись до порога тьмы,

И оглянувшись у предела,
О многих не промолвим мы:
«Земля без них осиротела».

Они друг другу не враги,
И не замечены в пороке,
У них записаны долги,
Они проценты платят в сроки;
Но крохоборственна рука
У оных бережливых скарעד,
И в кошельке для бедняка
Она монету не нашарит.

Их перечислить не могу,
Но в мире их большой излишек;
Для них отрадней быть в долгу
У Бога, а не у людишек.
Воззрясь на тех, кто нищ и наг,
Ворчат и сетуют сурово:
«Зачем лишаешь Ты бедняг
Еды, питья, одежды, крова?»

Когда б умел я встать на путь
Веденья ваших дел и хроник,
Как много мог бы почерпнуть
Из них ваш будущий сторонник;
Узнал бы он в грядущий час,
Как ждали вас питомцы хижин,
И как надеялись на вас
Те, кто оболган и унижен.

Юнцы, не ждите, чтоб пришла
Немая просьба о защите;
Все ваши добрые дела
Заблаговременно творите¹;
Прислушайтесь к моим словам,

¹ «...делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 51:38.

Несложна доброты наука;
Жалеть не доведется вам,
И в этом вам моя порука.

Решить легко, что я чудак,
Что обречен на неудачи,
Но я умею только так,
И не хочу уметь иначе;
Не поворотишь время вспять,
Так надо ли по доброй воле
Однажды вечность обменять
На шесть десятков лет в юдоли?

Но к вам прислушивались мы,
На мудрость вашу уповая.
И наши скудные умы
Питала истина живая;
Здесь неуместна похвала:
Должны не забывать потомки,
Что ваша мудрость провела
Нас через бури и потемки.

Был горек вам кусок любой,
При мысли о любом голодном,
Тот, кто тянулся к вам с мольбой,
О вопле не жалел бесплодном,
Другой копить бы деньги рад,
А вы делились год за годом,
И да воздастся вам стократ
За хлеб, опущенный по водам².

Я вижу тех, кого нужда
Как червь, не усыпая, гложет,³
Тех, кто сгорает со стыда,
Но ужина купить не может;

² «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» Екклесиаст 11:1

³ «...червем неусыпающим и огнем неугасающим» (Мк.9:44)

Я вижу страждущий народ,
Вдовиц в опорках и обносках;
Я вижу нищих и сирот,
Простых бродяг на перекрестках;

Я вижу смолкших скрипачей,
Забывших танцы вкруговую,
Я вижу бывших богачей,
Попавших в яму долговую,
Сей мироздания изъян
Являющий душу постоянно,
Исправить мог бы только Йан,
Да только нет на свете Йана.

Пусть в горле застревают ком,
Но вас оплакивают ныне
Не только те, с кем я знаком,
Но чуть не все в моей долине;
Мы потрясенно познаем,
Что в небо звезды запустило,
Сойдя за темный окоем,
Вчера сиявшее светило.

Как много песен в мире есть,
Порой звучащих в час печальный,
В них дурно пахнущая лесть,
В них нет отрады поминальной;
Пусть не похвалит судия
Мой гимн в назначенные сроки,
Но лишь о том поведал я,
Что уместилось в эти строки.

Портки Макрори ⁴

⁴ Случай имел место в 1747 на свадьбе Изабелы, дочери Йана Маккея и Йана, сына Кеннета Сазерленда. Поэта не пригласили на свадьбу, он не был с ними особо близок. За ним все же послали. Разговаривая с посыльным, он узнал, что Хью Макрори потерял свои штаны. Когда его пригласили петь, он спел эту песню. Килт в то время был запрещен, и штаны сужили предметом шуток и жалоб.

Рефрен

Всюду слезы, всюду горе:
Кто-то спер портки Макрори;
Накануне были танцы,
Ночь прошла, – пропали штанцы.

Все ходить бы Хью на свадьбы:
Пить бы там, да танцевать бы,
А потом на сеновал
Звать девчурок;
У такого парня, братцы,
Как порткам не потеряться?
Больно весел он бывал,
Больно юрок.

Тут больные бы заржали:
Он надрался, как в кружале,
Он в утробу влил свою
Жбан винища.
Вот уж горе у бедняжки!
Задирает парень ляжки.
Вон из кожи лезет Хью,
Всюду рыща.

Йан-папаша, вы страдали,
Унесли портки подале,
Вам, видать, не по нутру
Малый этот;
Но ни в чаще, ни в болоте
Вы их сами не найдете;
Уж, поверьте, не к добру –
Этот метод.

Катриона, ставши тещей,
Поступите много проще:
Перед вами все равны,
Тут забота:
Поищите домочадца,
Чтоб не думал от молчаться

Если он забрал штаны
Для чего-то.

На штанах на тех разлзатых
Только дыры на заплатах,
И сплошная канитель –
Слезы, просьбы;
Йан Макдональд⁵, хрен богатый,
Не хранил бы в них дукаты:
Лоскута бы на кошель
Не нашлось бы.

Йан Макдональд, стыд отринув,
В них не спрятал бы цехинов;
Том за этот маскарад
Не в ответе;
Ни со страха, ни со злобы
Не налезли на него бы,
На его огромный зад
Штанцы эти.

Йан из Мойна взял бы вряд ли;
Ведь на что бы этой падле
Силы тратить на штаны,
Рвать здоровье;
Да и вовсе в селах наших
Не подаришь, не продашь их,
Лишь на вервия годны
На коровьи.

Не пускайте парня в плавни:
Хоть и способ это давний
Убежать от мошкары
В самом деле;
Но положено мужчинам,

⁵ Йан Макдональд присвоил часть золота, которое люди принца Чарли бросили во время бегства близ Лох-Хакона. Когда лорд Рэй узнал об этом, тот деньги вернул.

Чтоб на месте на причинном
Пчелы, мухи, комары
Не сидели.

Голый зад среди куманики
Для хорька соблазн великий,
Коршунью и воронью
Заморочка;
Мало, что с умом не ладит.
Так еще и наземь сядет,
А к чему дразнить змею
Пятой точкой?

Не придется дырка к дырке:
Этой тряпке не до стирки:
Парень жизнь провел в бою
С долей жалкой;
Штопай тут или не штопай,
Просидел тяжелой жопой,
Всю протер ширинку Хью
Буйной палкой.

При своих, при посторонних
Вам желаю, Йан Макконих,
Счастья в дочках и в сынах
В доме отчем;
Жить легко и на свободе, –
Словом, при любой погоде
Оставаться при штанах
И при прочем.

Городская и деревенская жизнь

Майри:

В деревне жить – и стыд и срам,
Там жизнь – одна волынка.
Непросто лазить по горам,
Непросто жить без рынка.
К чему скучать мне по селу,

К чему терять здоровье?
Там лишь солома на полу
И царство там коровье.

Изабель:

Укромен и хорош камин
У короля в камере,
Но воздух чист среди долин,
Любых расцветок море;
Сюда, в раздольные края,
Ручей стремится горный,
И сладкозучней песнь ручья
Всей музыки придворной.

Майри:

Мне гадок эдакий досуг,
Долины грусть растравят, –
К девице разве что барсук
Там интерес проявит;
К чему мне лес, к чему река,
К чему раздол хваленый?
Одна зеленая тоска
От той травы зеленой.

Изабель:

Ты красоту земли не трожь;
Лишь радоваться надо,
Смотря на то, как молодежь
Перегоняет стадо;
Поди, и парень будет рад
С тобой присевши рядом,
Не на один лишь водопад
Глядеть влюбленным взглядом.

Майри:

На прелести земли взирай,
Да только холодина
Навалится на горный край
С приходом Халлоуина;

Пожухнув, облетят листья;
 Черед дурной погоде;
И ни малейшей красоты,
 Не сыщется в природе.

К доктору Мунро

О чуде доктора Мунро
 Трезвонят все соседи.
Великое творя добро,
 Он спас здоровье леди.
Не подвело его чутье,
 А то ведь вправду горе,
Что ни единый врач ее
 Не излечил от хвори.

Искусство дивное врача
 Явилось в деле данном:
Он применил, ее леча,
 Целебный лауданум.
Не нужно фунтов и гиней
 Чтоб сгнула хвороба.
На свете средствий нет сильней,
 Чем те, что есть у Роба.

Об этих средствиях из книг
 Не вызнать, тем не мене
Здоровье возвратилось вмиг,
 А не платить – ни пенни.
Теперь открыт ему кредит:
 Он дал отпор недугу;
Его судьба вознаградит,
 За оную услугу.

Здесь указанья вовсе нет
 На блажь и мягкотелость;
Со всею страстью юных лет
 Лечиться ей хотелось.
Попробуй, истину оспорь

Сей песни немудрящей:
Сколь горше и тоскливей хворь,
Тем исцеленье слаще.

Владимир Севриновский



Путешественник, писатель, журналист, продюсер документального кино. Родился в Москве. Пока не надоело, делал карьеру. В последние 7 лет пытается понять свою страну, для чего ездит по ее регионам. Эксперт по этнографии Северного Кавказа.. Лауреат литературных премий "Неизвестная Россия", "Север - страна без границ", "Голос Севера", "Искра Юга" (троекратно) и т.д. Лауреат премии "Пушкин в Британии" за лучший

поэтический перевод.

Эдвард Томас (1878–1917)

Филип Эдвард Томас – английский поэт и писатель. Сегодня Томаса считают одним из наиболее ярких представителей английской поэзии рубежа 19-20 веков, однако сам он не считал свои поэтические опыты достойными внимания, и при его жизни был издан лишь один небольшой сборник – и то под псевдонимом. В 1915 году поэт ушел на фронт добровольцем и погиб два года спустя в битве при Аррасе.

Свет погас

Я – на границе сна.
Бездонна глубина,
Деревья в тишине.
Каков бы ни был путь,
Когда с него свернуть,
Решать не мне.

Не счесть путей-дорог
В полуночный чертог,
В тот лес, незримый днем.
Но все они – обман:
Был камень – стал туман,
И тонешь в нем.

Любви здесь больше нет,
Надежд, страстей и бед.
У них – один удел:
Все сгинет в этой чаше,
И сон спокойный слаще
Достойных дел.

Не нужен мне сейчас
Ни взгляд родимых глаз,
Ни друг, ни отчий кров.
Ты вечно одинок,
Вступая на порог
Иных миров.

Лес темен и велик,
Как полки древних книг,
Листы летят в ночи.
Я им уже послушен,
Теряю путь и душу.
Веди. Молчи.

Мервин Пик (1911 – 1968)

Мервин Пик — английский писатель, поэт, драматург и художник, писал рассказы для детей и взрослых, театральные пьесы и радиопостановки, а также стихи в стиле «чушь и чепуха», блестящий иллюстратор.

* * *

Сказать я не сумею,
Могу я лишь напеть:
Сгоревшие апрели,
Луны безумной медь.

Все поученья вздорны,
Таюсь в полутонах –
Огромно и озорно,
И облако в штанах.

Глотущий и клокощий,
Текущий на рожон,
Мой голос полон мощи,
Которой я лишен.

Его краса любого
Вгоняет в блажь и дрожь.
Но если думать много,
Меня ты не поймешь.

Я по горам туманным
Бреду, увязший вдрызг
Меж сепийных фонтанов,
В плену зеленых брызг.

* * *

О, как могуч гренландский кит,
Как полон сил и воли,
Когда у камелька сидит
В пижаме тети Молли.

Чем плыть среди ледовых глыб,
И вы бы тоже, знаю,
Свой хвост усталый предпочли б
Согреть, и выпить чаю.

А тетя Молли крепко спит,
И лишь пожмет плечами,
Скажи вы ей, что хитрый кит
Приходит в дом ночами.

* * *

Нет, я сквозь пальцы не взгляну,
Когда иной кретин
Прилюдно потрошит жену,
Как будто он один.

Я отберу ужасный нож
И, брызгая слюной,

Скажу ему: "Ну ты даешь!
Зачем же так с женой?"

И девять раз из десяти
Раздастся скорбный стон,
И может так произойти,
Что зарыдает он,

Завоет волком на луну,
Одежды разодрал,
И я бедняге нож верну:
"Ступай, мой друг. Добей жену.
Я понял, что ты прав".

Чарльз Косли (1917 – 2003)

Поэт из Корнуолла, которого почему-то часто относят к детским поэтам – но разве возможно однозначно определить эту грань? Уж точно не в случае Косли, одного из наиболее многоплановых британских поэтов XX века.

Ангел

Я видел: ангел раненый упал
В холодный сумрак парковых аллей.
Рассветный небосвод был ярко-ал,
И кровь струилась, мрамора белей.

Я слышал шелест рассеченных крыл –
Он силился взлететь в последний раз.
Во лбу его алмаз Царей светил,
Небес взыскупя, как голодный глаз.

Простер я плащ – укрыть его в тени,
Сорвал рубаху – утереть лицо,
Принес воды – омыть его ступни,
Поднял свой щит – спасти от мертвецов.

Но опалил мой ангел руки мне,
Вернул мое сочувствие плевком,

Уполз в крови и золоте к стене,
Где мог страдать и умереть тайком.

Один ушел я в стужу и снега.
Я видел, слышал, но не мог помочь.
Взмыл с виселицы ворон в облака,
Закаркал хрипло и умчался прочь.

Песенка невинности и опыта

У меня был медный грош,
Ветка абрикоса.
На причале в мелкий дождь
Я сказал матросу:

“Эй, моряк! Ты привезешь
(А не то – заплачу!),
Если дам тебе я грош
С веточкой в придачу,

Через море-океан,
Что гремит, пугая,
Меч, турецкий барабан
Или попугая?”

Рассмеялся зычно он,
Обнял – вот так хватка! –
Словно смерть, моряк силен,
А дыханье – сладко:

“Экий ты смешной чудак,
Балабол беспечный!
Все, что хочешь, просто так
Привезу, конечно”.

Утонул во тьме фрегат,
Крохотный, как блюдце.

Словно листья, дни летят,
Годы вдаль несутся...

Сталью засверкал рассвет,
Вижу – с ветром споря,
Серый грузный силуэт
Показался в море.

Как во сне, он плыл и плыл,
Медленно и странно.
Паруса, белее крыл,
В грязных рваных ранах.

Чайки вились на ветру
С криком бесноватым
И летали сквозь дыру
В корпусе фрегата.

Как во сне, за ним с земли
Наблюдали люди,
И услышал я вдали
Выстрелы орудий.

Ловко спрыгнул на причал
Незнакомый воин,
Подбежал и закричал
Через шум прибоя:

“Вижу, держишь медный грош,
Ветку абрикоса.
Ты ведь здесь подарки ждешь
Рыжего матроса?”

Вот тебе – бери, играй! –
Барабан упругий,
Меч и хриплый попугай
Прямиком с Тортуги”.

“Что за выстрелы подряд
Гулко прозвучали?”

Почему других ребят
Нет на причале?

Где улыбчивый матрос –
Рыжие веснушки,
И зачем ты мне привез
Детские игрушки?”

Исцеление безумного мальчика

Говорили со мной дубы,
Улыбалась тьма,
Вместе с реками пели львы,
И цвели дома.

Как порхали на языке,
Захлестнув мой ум,
Словно искорки в очаге,
Птичий смех и шум!

В чреслах пламя, утратив злость,
И туман с реки
Целовались, лаская кость
У моей руки.

Трав полуночных силуэт,
Колдовскую вязь
В грозном воздухе громкий свет
Рисовал, дразнясь.

Вечным утром Луна пуста,
Город правил бал.
В океан, распахнув уста,
Я рекой впадал.

Сыт и пьян я был ни за грош,
Мягкий камень грыз.
Сладко море, когда поймешь,
В чем же соль и смысл.

Но целитель пришел сюда,
Опален дотла.
Его волосы – как вода,
Руки – из стекла.

Рвали клювом его язык
Стаи белых слов,
В гнезда глаз улетаая вмиг,
Унося улов.

Ныне дуб – это просто дуб,
Гром – всего лишь гром.
Как замерзший ручей в саду,
Мой недвижим дом.

Обратил он молитвой в гладь
Моих притч прибой,
Целый мир завернул в тетрадь
И унес с собой.

В море волны опять горчат,
Не достать Луны.
Не укажут цветы на клад,
Родники скудны.

Тщетно лето, живьем горя,
Льнет к мои устам.
Просит пищи, но просит зря.
Только камень там.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

Родился в 1969 году в Ленинграде, закончил Физфак СПбГУ и отделение литературоведения Французского университетского колледжа в Петербурге. Постепенно превратился из физика в переводчика с английского и французского языков. Живет во Франции.

Две баллады, впавшие в детство

Во Франции очень популярны детские песенки. Их разучивают и поют в детских садах и начальной школе, по ним делают мультфильмы (особенно много их стало сейчас, в эпоху YouTube и общедоступных программ flash-анимации), их выпускают на компакт-дисках. В обиходе все они вместе обычно называются словом *comptines* (от глагола *compter* – считать), но собственно к считалкам можно отнести далеко не все из них. Тут есть песни и игровые, и обучающие (счету, азбуке или, скажем, дням недели), и такие, которые, казалось бы, касаются тем совершенно не детских.

Представьте себе, что вместе с «В лесу родилась елочка» в разряд детских песенок попали бы, например, «Степь да степь кругом» и «Раскинулось море широко» или «Варяг». Приблизительно такие – причем многочисленные и разнообразные – песни можно найти во французском детском репертуаре. В числе детских песенок оказываются романсы (сколь угодно «жестокие») и баллады (в нестрогом смысле этого слова) – героические, любовные, военные, застольные, морские, даже тюремные – в общем, какие угодно. Многие из них известны не одну сотню лет, и в них встречаются и кровь, и смерть, и любовь, и война, и религия (а также насмешки над нею), и пьянство, и исторические деятели (часто в весьма комическом виде), и всевозможные непристойности, завуалированные и не очень. И тем не менее, сейчас они превратились именно в детские песенки – во многих случаях сохранив всю свою изначальную откровенность.

Русские переводы таких песен существуют (из сравнительно недавних работ этого рода можно назвать, например, прекрасный альбом «На лестнице дворца» Псоя Короленко), но нельзя сказать, чтобы они были на слуху. Французскому детскому фольклору в этом смысле вообще повезло меньше, чем, например, английскому – для него не нашлось ни Маршака, ни Чуковского. Может быть, следующие два перевода смогут стать иллюстрацией хотя бы некоторых особенностей этого

многообразного и беспорядочного – и потому особенно интересного — жанра.

И еще пара предварительных замечаний. Тексты эти – именно песни, и их лучше не читать, а петь. В сносках к названиям даны ссылки на соответствующие ноты. Разумеется, в каждой песне во всех куплетах повторяется ритмическая структура первого, со всеми его повторами и вставками.

Кораблик⁶

Когда появилась эта матросская песня (так называемая «шанти»), мы точно не знаем: известно только, что в середине XIX века она попала в один парижский водевиль и так разошлась в публике, а уже в XX веке прочно вошла в число детских песенок, среди которых остается и поныне, не теряя популярности. Ее, конечно, далеко не всегда исполняют до конца – возможно, не столько из-за мрачного сюжета, сколько из-за ее длины.

Жил-был в порту один кораблик

(bis)

Что не был в мо- мо- море никогда,

(bis)

Оэй, оэй!

Прпев:

Оэй, матросы, оэй!

Бродят по волнам
больших морей.

(bis)

Он вышел в плаванье однажды

По морю Сре- Сре-

Средиземному,

Оэй, оэй!

Но через две иль три недели

На судне ко- ко- кончилась еда,

Оэй, оэй!

⁶ https://www.partitionsdechansons.com/telechargement_pdf.php?id=110

Тянуть команда стала жребий,
Чтобы решить -шить -шить, кого
им съесть,
Оэй, оэй!

И вытянул тот жребий юнга,
Матросик са- са- самый молодой,
Оэй, оэй!
Тут стали выбирать рецепты,
Чтоб пригото- то- товить
паренька,
Оэй, оэй!

Кто предлагал его зажарить,
Кто – в винном со- со- соусе
тушить,
Оэй, оэй!

Пока они так рассуждали,
Он вверх на ма- ма- мачту быстро
влез,
Оэй, оэй!

И там, меж небом и волнами,
Он стал огля- гля- глядывать
простор,
Оэй, оэй!

Но не увидел он спасенья —
Со всех сторон -рон -рон одна
вода,
Оэй, оэй!

«О, Богородица, помилуй, —
Взмолился бе- бе- бедный
мальчуган,
Оэй, оэй!

– Прости мои мне прегрешенья,
Не то сейчас -час -час меня
съедят!»
Оэй, оэй!

И в тот же миг случилось чудо,
О коем ю- ю- юнга умолял,
Оэй, оэй!

Из моря тысячи рыбешек,
Взлетели на- на- на́ борт корабля,
Оэй, оэй!

Их стали собирать и жарить,
И так мальчо- чо- чонка был
спасен,
Оэй, оэй!

Коль эта песня вам по нраву,
Ее мы за- за- заново начнем,
Оэй, оэй!

*Мальбрук в поход собрался, или
Смерть и погребение непобедимого Мальбрука⁷*

История этой песни известна гораздо лучше – а дата события, которое вызвало ее появление, и вовсе не вызывает сомнений. После битвы при Мальплаке 11 сентября 1709 года, крупнейшего сражения XVIII века, пошли слухи о том, что в ней погиб прославленный английский главнокомандующий Джон Черчилль, первый герцог Мальборо. Слухи оказались ложными – Черчилль был только ранен, – но они настолько воодушевили французов, что были увековечены в этой балладе. К середине XVIII века она стала безумно популярной: Бомарше использовал ее мелодию в «Женитьбе Фигаро», Мария-Антуанетта играла ее на клавишине, а в Англии этот же мотив превратился в традиционную заздравную песню «For He's a Jolly Good Fellow» – несмотря на такую антианглийскую историю оригинала.

⁷ https://www.partitionsdechansons.com/telechargement_pdf.php?id=124

Разумеется, русский читатель тоже знает об этой песне. Вспомнить хотя бы сцену из «Преступления и наказания», в которой Катерина Ивановна пытается петь ее со своими детьми (и, кстати, говорит: «...это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей»). Были и русские переводы, но их, кажется, мало кто помнит – если не считать школярских переделок вроде «Мальбрук в поход собрался // Наевшись кислых щей...». Так что напоминание о том, что на самом деле (не) произошло с несчастным Мальбруком, может быть нелишним.

Мальбрук в поход собрался
– *миронто́н, миронто́н, миронтэ́но*
Мальбрук в поход собрался,
Бог весть, когда назад.

Назад он будет к Пасхе
Иль к Троицыну дню.

Вот Троица проходит –
Мальбрука нет как нет.

Идет его супруга
На башенку дворца

И видит – издалека
Весь в черном едет паж

– Мой паж, какие вести
Доставили Вы мне?

– Мадам, мои известья
Заставят Вас рыдать!

Уж не носить Вам боле
Шелка и кружева!

Увы, Мальбрук скончался
И предан был земле.

Четыре офицера
В гробу его несли,

И первый нес доспехи,
Второй – тяжелый щит.

Нес третий его саблю,
Четвертый – ничего.

Вокруг его могилы
Посажен розмарин,

На самой верхней ветке
Пел песни соловей.

И вдруг душа взлетела
Сквозь лавры к небесам.

Тут пали все на землю,
Но после поднялись

И спели песнь во славу
Мальбруковых побед.

Как кончились поминки,
Все сразу спать пошли,

Кто со своей женою,
А кто – совсем один.

Не то чтоб было не с кем,
Я лично многих знал –

Брюнеток и блондинок
И рыжих без числа.

А что там было дальше,
Я вам не расскажу.

ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА

Алек Дервент Хоуп

Прощание (из "Книги ответов")

От переводчика: перевод посвящается моей собаке Тасе, ушедшей 1 января 2018 года, в первый день Года Собаки.

Стихотворение написано от имени умершей собаки английского поэта 18 века Александра Поупа, датского дога по имени Баунс (Bounce), огромной суки, которая повсюду сопровождала своего невысокого,

хрупкого хозяина и умерла за месяц до него. Короткая эпитафия, написанная поэтом для любимой собаки, стала последним стихотворным произведением Поупа – два века спустя великий австралиец Алек Дервент Хоуп, любитель собак и литературной игры, ответил на эту эпитафию.

Александр Поуп – собаке Баунс

Ах, Баунс, милый друг! что ты ушла, не верю,
Из мира, где есть все – и мясо, и Оррери!⁸

Собака Баунс – Александру Поупу

Хозяин, я клянусь берегами Леты,
Что псов страшит не меньше чем поэтов:
Мне вдоволь было мяса и любви,
Но я ушла – а ты пока живи!
Там, где струятся сумрачные воды,
Сидеть я буду, как в былые годы,
Когда, томясь, скучая и любя,
С прогулки поджидала я тебя.

Я здесь. Я жду. Я наострила уши,
Чтоб твой приход в тумане не прослушать,
Чтоб броситься, от радости дрожа...
«Стой, девочка! лежать, дружок, лежать!»
Воскликнешь ты – я ж, налившись вволю,
Пойду с тобой тропой скорбей и боли,
И ужасов злокозненную рать
Мой лай заставит в ужасе удрать,
Горгоны и химеры станут кротки,
Харон подаст без промедленья лодку,
И будет вежлив, прикусив язык.
Едва заслышит мой утробный рык.
У адских врат мы укротим бесстрашно
Трехглавого чудовищного стража,
Без лиры и без сонного питья –

⁸ Последний год из-за болезни поэта Баунс жила у друга Поупа, лорда Оррери

За Цербера тебе ручаюсь я:
Смягчит его свирепость зов природы
При виде самки родственной породы.

*

Ну вот и все – простимся у Порога.
Погладь меня, хозяин, на дорогу!
Для мертвых псов есть лишь один завет:
С бессильною тоской глядеть вослед
Родной, навеки уходящей тени...
Да сохранят тебя в стране забвенья
Слова любви сестры твоей меньшей:
"Так ростом мал, и так велик душой!"

ΠΡΟΖΑ
ΑΖΟΡΠ



ГРИГОРИЙ АМБУРГ

В семидесятые годы прошлого столетия поехал я в командировку в столицу тогдашней нашей родины – Москву.

Событие само по себе значительное, сулившее, кроме всего, приобретение различных товаров: от апельсинов и бананов до наиболее дефицитных "изделий №2". Анекдотов про эти самые изделия ходило тогда много, а достать их было

Ну, кто помнит, тот поймет! И поэтому я, обремененный заказами друзей и собственными нуждами, совершил немало пеших прогулок по столичным аптекам, пытаясь хоть на время закрыть созданный дефицит, отрицательно влияющий на удовлетворение высоких потребностей. А то когда еще в Москву попадешь?

Командировка закончилась быстро и вот я, обвешанный по всем правилам тогдашнего времени чемоданами, сумками и авоськами, на проверке в родном аэропорту Домодедово Прохожу через магнитную рамку – звенит.

Вынимаю из карманов все металлическое – звенит.

Блюстителю на меня коситься начинают. Гоняют туда-сюда – все равно звенит! А сзади очередь за посадку волноваться начинает, реплики произносит. А я огрызаюсь, потею, но звеню. И тут один сердобольный проверяющий задает наводящий вопрос: "А может у Вас в карманах что-то в фольгу завернуто? Может сигареты?" Тут меня осенило! У меня ж в пальто два пакета этих самых изделий, а в каждом пакете по 50 штук.

Это то, что в чемодан не поместилось.

В общем, повеселил я блюстителю на славу! А очередь меня сразу зауважала. даже расспрашивать начали, где. мол удалось так-то!

А я про себя думаю: "Если б вы еще в чемодан заглянули!".

Решил однажды мой товарищ – однокурсник посетить поликлинику из-за "прохудившегося" носа. И меня потащил за компанию. Поднялись мы на второй этаж в регистратуру. Товарищ – в очередь а я от скуки головой верчу, за народом наблюдаю.

Тут человек шесть недорослей из какого-то кабинета выплывают.

Нехилые такие. Один из них и сообщает компании:

– А я вот щас стакан вмажу и все пройдет.

И начинается у них обсуждение насущной проблемы с вопроса: "А на что?"

– А вон у того, в шляпе, попросим! – И указывает мощной дланью на моего товарища. Надо сказать, что были мы тогда студентами-дипломниками, одеты по тем временам прилично. Что и вызвало заслуженную негативную реакцию "люмпенов".

А они тем временем вниз спустились и стоят, сквозь стекло на нас поглядывают и строят свои агрессивные планы.

Решили мы по телефону-автомату подмогу звать. Да никого заставить не можем. Запасного выхода тоже не нашли. А те все стоят, ногами притоптывают, мышцы тренируют!

Только тут нам на глаза доска с противопожарным инвентарем попалась.

Огнетушитель был отвергнут сразу, Багор – тоже. А топор нам сразу понравился. Массивный такой, с красным топорищем.

Мы его затолкали в портфель и на выход. Борцы за правое дело – за нами и догоняют не спеша, ждут удобного момента.

Тут мы, не оборачиваясь, им топор "зарисовали". Их тут же не стало! Не интересно даже!

Аттрибут пожарный этот долго у моего товарища дома хранился. Может и сейчас.

Полезная вещь всегда под рукой быть должна!

ЛЕОНИД БОНДАРЬ



*Одессит. Учился в Санкт-Петербурге.
Потом Америка. Религиозная школа
Хадар ха Тора. Сейчас живет в Мельбурне.
Сотрудник Кошер Австралия.
Популярный исполнитель авторской песни.
Среди его любимых авторов – Игорь Иртеньев и
Наталья Крофтс.*

ДЕД

В конце 90-х я посетил родную Одессу. Остановился у дальних родственников, т.к. близкие уже все уехали. Старик со старухой, еле сводящие концы с концами, несмотря на то, что старик был когда-то ведущим инженером. А сейчас кроме маленькой пенсии старуха латает за гроши старую одежду. "Если б синагога не помогала, – говорила она – не знаю как бы справлялись"

Но разговор не об этом. Через эту старуху я услышал о своём деде, который умер до моего рождения, удивительную историю.

Я думал, что все мои предки – с Украины. Точнее, с Подолии и Бессарабии. Но по рассказу старухи у деда была родня в Белоруссии. И вот его двоюродная сестра, молодая женщина с двумя маленькими детьми оказывается среди беженцев в 1943 г. в Сталинграде. Немцы на подходе. Русские эвакуируют основные силы на левый берег Волги. Начинаются бомбежки. Транспорта нет. Еда кончается. Тут этой женщине попадает на глаза офицер, форма и знаки отличия которого, совпадают с такими же ее двоюродного брата, лейтенанта медицинской службы.

– Скажите, вы не знаете лейтенанта Петра Шлеймовича? – спросила она.

– Нет, не знаю, – ответил офицер и улыбнувшись, добавил – Знаю старшего лейтенанта с такой фамилией, Петра Самойловича. Идите туда, они как раз обедают. Она пошла.

– Пиня!!!

– Аня!!! Что ты здесь делаешь?!

– Пиня, ты должен нас спасти. У нас кончилась еда. Но главное мы не можем перебраться на тот берег. Ты можешь организовать для нас транспорт?

– С едой проблем не будет. А вот с транспортом завязка. Все машины и все катера и лодки задействованы. Немцы бомбят мосты. Да я и не имею

дела с транспортом.

– А у начальства можешь попросить?

– Единственный человек, у которого я бы мог попросить - это майор Гольдштейн.

Но он, хоть и еврей и твой земляк, но...

– Но?

– Но он принципиальный коммунист и человек с железным сердцем, ни для кого поблажек не делает.

– Как его зовут?

– Марк Давидович.

– Иди и скажи ему, что это я прошу у него помощи, я!

– ??

– Он за мной ухаживал когда-то в Минске, даже делал предложение, но я вышла за другого.

Брат, не теряя времени, удалился, а через час подъехал грузовик. Сидай, мамаша! – закричал солдат-водитель. Вот вам хлебушки, хлопцы, зараз цирк будем робити. И он поехал к единственному не до конца разбомбленному мосту. Но когда подъехали к середине моста, она увидела, что часть моста вообще отсутствует, остались только горизонтальные железобетонные балки. Смотри, мама, Стуки! – сказал старший мальчик и показал на небо, где ещё далеко из облаков с мерным гулом показалась чёрная стая. Солдат перекрестился и въехал на две параллельные балки каждая лишь чуть шире колеса.

– О Готеню! – побледнела женщина.

– Отак, молись, сестра, хуч на якої мове.

Так и переправились. И спаслись.

Закончилась война и она вернулась домой. Хоть уже вдова, но работала и растила детей. И вот в один день в дверь постучались. Она открыла. На пороге стоял человек в выдавшем виды кителе. По лысой голове и лицу, точнее тому, что осталось от лица и по рукам, державшим палочку, было видно, что он горел. Слепые глаза смотрели поверх неё. "Лётчик или танкист – подумала она, совсем не удивившись, ведь много было тогда калек-инвалидов. Она уже собралась дать ему хлеб и что-то из продуктов. Но тут вдруг она вздрогнула.

– Аня – сказал он...

– Аня... Это я, Мотл. Мотя Гольдштейн. Я выручил вас тогда в Сталинграде.

– Спасибо.

– Нет, Аня, я не об этом. Я горел в танке. Твой брат, Пиня, вытащил

меня, он спас мне жизнь.

Тут она заметила, как в слепых глазах заблестели слезы.

– Бог есть, Аня – сказал он и по-военному повернувшись, стал уходить уверенной-неуверенной походкой слепого человека...

Старуха закончила рассказ.

– Вот так вот. Твой дед Пиня. И Аня, моя сестра – вздохнула она

МИТЧЕЛЛ

Где-то в конце 90-х познакомился я у друга на свадьбе с одним молодым американцем. Звали его Митчелл и был он типичным 28ми-летним американцем, разве что, он сносно говорил по-русски, что для американца – редкость.

Он был потомком русскоязычных эмигрантов и выучил язык уже сам в колледже. А сейчас он собрался в Россию, потому что у него "есть некоторые большие бизнес-идеи".

– Скажите, Леон, у меня достаточно Русский, чтобы делать бизнес-неготиации? – спросил он.

– Языка-то достаточно, вот только...

– Что есть проблемы? – Митчелл посмотрел на меня простодушным взглядом хорошо воспитанного юноши из престижного чикагского пригорода.

– Есть, – ответил я, – ты ведь едешь не как представитель корпорации, а как частное лицо, так?

– Так.

– Значит тебе придётся там входить в доверие влиятельных лиц, так?

– Так что проблемы?

– А то проблемы, что ты водку пить не умеешь!

Митчелл смотрел ошарашено, пытаясь уловить связь.

– Материться не умеешь. Юмора русского не понимаешь. И выглядишь ты, как доверчивый лох.

– Как кто? – спросил Митчелл и заметно упал духом. – Может ты, Леон, мне поможешь, ты умеешь делать все эти вещи, плиз? А я... в долге не буду.

– В долгу не останусь. Так... до твоего отъезда осталось меньше месяца. Времени мало. Давай задаток и пошли.

– Куда?

– В ликеро-водочный.

Теперь, читатель, представьте себе нарезку кадров как в фильмах 80-х типа Роки или Каратэ Кид, где герой упорно тренируется под

присмотром тренера-гуру под интенсивный саундтрек – только в этом случае не американский, а что-то из ДДТ или Ленинград'а
Вот он учится пить, держа хрустальную рюмку с холодненькой Столичной слегка на отлёте. – Позвоночник прямее! – кричу на него, – локоть под прямым углом, так...медленно голова с рюмкой уходит назад... Ну! Он крикает: «Хорошо пошла, дай Бог не последняя!» – «Слезы, это хорошо», – говорю я, садистки улыбаясь.
Вот он пыжится и выкрикивает: «Сукаблять!»
Я смеюсь: «С таким матом тебе только в Голубом Огоньке выступать. Киркоров ебаный» – я хватаю его за грудки и кидаю на стол, все с грохотом летит на на пол. «Damn Leon, what are you.. сука, хуй!!!» – орет он.

– Вот так-то лучше.

Вот я вырезал в картонной коробке окошечко и изображаю чиновницу. Он подходит к окошку. Я – не обращаю внимания, полный игнор.

– Я ещё ничего не успел сказать! – недоумевает он.

– А как ты подходишь? Как ты подходишь?! С извиняющимся видом, как будто тебе что-то надо.

– ??!

– Запомни, не ты им должен, это они тебе должны.

– Почему, Леон?

– Потому что ты американец, хозяин жизни, супермен, Брэд Пит, Джордж Клуни...

– Остап Бендер.

(Мы с Митчеллом накануне просматривали советские комедии, чтобы понять специфику русского юмора)

– Молодец, понял.

– Хули.

Митчелл пошел проверять свои новообретенные культурные навыки утраченного было наследия на своей 90-летней прабабушке, которая когда-то была гимназисткой в Смоленске. Бедная старушка от шока чуть не очурилась.

Самым тяжелым испытанием оказалась парилка с веником. – Я понял, это такой садо-мазохизм, очень русское занятие, – сказал Митчелл, обливаясь потом, с налипшими на теле дубовыми листочками.

– Ты все правильно понял, братан! Завтра утром – в дорогу, поедешь чистым душой и телом!

За месяц мы с ним сроднились.

– Ну что, присядем на дорожку, – сказал Митчелл. Мы присели. Боже,

спаси и сохрани! – провозгласил он вдруг громогласно.

– А это откуда? – удивился я.

– От прабабушки.

Митчелл вернулся не через два месяца, как было запланировано, а через год. Он изменился, был подкачанный, с бородкой, и во взгляде – легкая бесшабашность. Казалось, она всегда у него была, только ждала возможности проявиться.

– Мне твоя наука пригодилась, ты мне очень помог, Лёня.

Он говорил уже почти свободно, только мягкие согласные все ещё не давались. Но они никому не даются.

– Вот тебе телняшки, – улыбаясь, Митчелл протянул свёрток.

– Две?

– Одна летняя, одна зимняя, с начёсом. Как обещал, капитан!

(Это потом уже, разбирая свёрток, я обнаружил в нем новенький Ролекс с корявой кириллицей на открытке: "Спасибо Леон!")

– Я смотрю, ты там накачался.

– Митчелл рассмеялся, – Ты знаешь, меня в джиме приняли за чеченца.

Так я стал включать чеченца, когда мне надо.

Я любовался им и думал: вот гармоничное соединение двух великих народов. Да, эта добродушная простота и отзывчивость с честностью, умом и предприимчивостью, просто неотразимая смесь.

Тут он, как будто читая мои мысли, вдруг посерьёзnel и сказал: Я приглашаю тебя на свадьбу... Её зовут Альона.

ФИЛ

На Шаббос я останавливался во Франкстоне, где у моего племянника, Соломончика, была Бар-Мицва. Так как приехал весь класс мальчишек, я ночевал у соседа, который принял меня очень гостеприимно. Фил, крупный мужик моего возраста, эмоциональный, но сдержанный, как все Маори. (Маори – коренное туземное население Новой Зеландии, наводившее когда-то страх на англичан-колонизаторов своей воинственностью и устрашающим видом). Было за полночь, за окном остывал жаркий австралийский вечер, мы сидели и пили и Фил говорил...

– Меня родители привезли из Н.З. в Австралию маленьким и других Маори я не встречал. Ходил в школу с белыми, но чувствовал себя одиночкой, не очень вписывался. Только потом, когда выучился на монтажника-крановщика, впервые встретил других Маори, тоже

рабочих-строителей. И на перекурах я смеялся от их шуток и понимал, что это близкие мне люди по крови, но... все равно была какая-то дистанция, которую я не мог преодолеть... может быть потому, что я уже мыслил как белый?

... Потом Фил рассказал, как он разбился на мотоцикле, как его собрали по частям, как он, желая быть полноценным, выучился на IT и теперь уже работает руководителем проекта. Рассказывал о семье, о разводе, о своей мечте вернуться в Новую Зеландию и заняться сохранением окружающей среды, используя свой опыт профсоюзного руководителя. Вдруг Фил задумался.

– А ещё я немножко еврей.

– ??

– Я узнал от мамы, что моя прабабка была еврейкой, прибывшей из Польши. Потом ее взял в жены местный Маори, из одной из важных семей на Северном Острове, у них родилась моя бабка. А та родила мою маму...

...

Теперь иногда помогаю твоему брату, когда ему нужен этот... ну... миньян! – Улыбнулся Фил.

ТАТЬЯНА БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ



Родилась в Симферополе. Изучала физику в Московском физико-техническом институте, получила степень кандидата философских наук РГГУ, степень доктора философии UNSW. Автор книг прозы, поэзии, эссе и переводов, в том числе «Идти легко» (Нью-Йорк: Stosvet Press, 2011), «Истоки истины» (Москва: Art-Haus Media, 2015), «Развилки» (Харьков: Fabula, 2017). Тексты были опубликованы в журналах: «Урал», «Новый мир», «НЛО», «Неприкосновенный запас», «Знамя», «Text-only», «Русский журнал», «Наука и жизнь», «Знание-сила: Фантастика», «Стороны Света», «ОКНО», «Черновик», «Цирк Олимп», «Каракёй и Кадикёй», «Другое полушарие», «Дети Ра», «Меценат и Мир», «Абзац», «Новая реальность», «REFLECT... КВАДУСЕШЦТ», «Новая реальность» и других. Стихотворения появлялись в ряде англоязычных изданий: Can I tell you a secret?; Across the Russian Wor(l)d; Bridges Anthologies; London Grip; The Disappearing; Journal of Humanistic Mathematics; The POEM; Rochford Street Review. Переводы русской и украинской поэзии на английский язык публиковались в журналах Rochford Street Review, Four Centuries. Russian Poetry in Translation, Poetry International journal. Татьяна принимала участие в 30 художественных выставках в России, Европе, США и Австралии, включая персональные выставки в России и Австралии.

Глициния над акведуком

– Как вы полагаете, у них есть ментоловая резинка?

Она едва помещалась в кресло. Оплывшие щеки, опухшие глазки, жесткие губы – все, что вы ненавидите в женщинах, но не можете признаться в общественном месте. К тому же от нее исходил чудовищный запах – смесь чеснока, сала и да, ментола. И улыбается, криво раздвигая губы. Мегера. Что она хочет – жвачку, презерватив? До чего нелепая баба. Хотела ж я выбрать кресло без соседей, чтобы не попасть в такую ловушку. Могла выбрать, и ее бы тут не было, ее бы отправили куда-нибудь, ее бы не было здесь вовсе.

Хотела я выбрать другой порядок. У меня был тяжелый день, устала рука, такой тяжелый мешок. Сидеть бы сейчас одной на целом ряду,

нанизывать буквы на нитки, выбирать цвет и порядок, перемешивая и собирая заново буквы в слова.

Нет никакой причины и никакого порядка в именах и событиях. Смотри в отпечатки вокруг карусели, начала не обнаружить.

Центростремительная сила целуется с центробежной, откровенный игнор движению напрямую, по диаметру светящихся дребезжащих кадров, манекенами проскальзывающих перед глазами, не забывая попросить извинения всякий раз, когда растекаются по перемазанному сажей и паутиной лицу. Где она карабкалась, по каким подвалам и чердакам пролезала? Кружевные лошадки разбегаются по раздробленным в пыль развалинам горной породы, чтобы собраться в восходящих легких потоках над волнами, скрытыми временной тьмой. Не угадать ритм, не услышать окончания такта, сколько ни веди пальцем по спиральям пустой ракушки, сколько ни прожай вздохами завитушки дыма над берегом, вдали от воды. Случайные закономерности траекторий по замкнутым многомерным улицам, ошибочно изображенным на картах, которые раздавал нищий на перекрестке. Неизвестно откуда возникшая флейта повторяет мелодию музыкальной шкатулки, вторящей заикающейся грампластинке, записанной свихнувшимся меломаном со звуков шарманки на груди старика, спящего на перекрестке и сквозь сон вращающего ручку смехотворного механизма. Ах, мой милый августин, взлетает над пыльными этажами, отвергая впечатанные в хромосомы законы неопределенности и гравитации, утащившие под отвал и тех, и других.

– Вы простите, от меня наверно ужасно пахнет.

Разумеется. Сама знаешь. И улыбка у тебя ужасная, тоже в курсе.

– Будьте добры, у вас есть болеутоляющее? Панадол, что угодно, что у вас есть, принесите, пожалуйста.

Стюардесса побежала за таблетками. Жирная, и еще наелась чеснока перед полетом. Где-то жалко, голова у человека болит, слезы на глазах, но такая жирная баба. Еще какой-то запах, секса, она действительно хотела презерватив? Эта тетка пахнет сексом или по меньшей мере мастурбацией. От нее просто разит, или это духи такие, ферромоны, тестостероны, не пытайся распылять их на мне.

А голос глубокий, сильный, вибрирует, рассылет россыпь обертонов, отряды лучников, скачущих по песку в сияющих плетеных кольчугах, умело и согласовано, как пожарники, без синкоп. Так ты певица?

Знакомое состояние, два часа после концерта, нужно выговорится в кого угодно, в подъезде, под аркой, в вагоне поезда, в самолетном кресле,

удерживаемом на весу непрерывным вращением лопастей, так и тебе сейчас необходимо болтать, чтобы определить себя, сохранить себя на лету, посредством горсти песка, брошенного на намагниченную жаровню, засыпать огонь, сжигающий неопытных ящериц и молодых черепах. Когда обнажились катакомбы колодцев, открыв сонмы глиняных статуй, то ли армия мандаринов, то ли запасы големов в пражских подвалах, только речью держится твое существо, ищущее просвет между недвижимыми истуканами. Пока в их пустых черепах не прорастут зубы драконов, пока не проявится огненная записка, пока не засыплют твои слова песчинками смертную пропасть, не останавливай речь. Не прекращай говорить, иначе остановится сердце.

– Понимаете, я давно не ем мяса, но тут пришлось. Пришла в гости, к старикам, старой супружеской паре, у меня не было иного выхода. Старуха принесла борщ. Я не могла отказаться, это невежливо. Только хвалила – как вкусно вы приготовили, а она еще добавила на тарелку. Уже знала, вечером заболит голова, помню, в дорожном наборе упаковка таблеток. Думала, лягу высоко на подушку, положу панамакс под глаза, буду ждать, когда белые кругляшки доползут до губ, до гортани, смешиваясь с соленым ликером. Мне нельзя мешать таблетки со спиртными напитками. Но нужно было вставать и лететь.

Она снова смеется. Эти откровения случайным попутчикам. Раньше в поездах доставали курицу, ломали на вертком столе, теперь в самолете, болтать без конца. Можно, конечно, надеть наушники, но я не могу так, это невежливо. Киваю, слушаю, пока ей не надоест.

– Такой, знаете, дом. За стеной заходитесь в утробном вое водопровод и столетняя канализация. Я зашла вслед за стариками в опушенные ржавчиной ворота, и в еще одни, поднялась на третий этаж. На лестнице пахло деревом, как в детстве, вы помните? У вас была тетушка, чтобы жила в старом доме, и в прихожей стоял запах дерева? Дальше, можете угадать: не снимайте туфли, малиновый узор ковра, зеркало, не глядеть в глаза никому, просторная комната, покрытый скатертью стол. Старик попроще, он болтает, не глядя в глаза. А старуха глядит. Солнце заливало мне руки, по шею, граница света перерезала горло, как перерезает его капроновая леска, подвешенная к антикварной хрустальной люстре, купленной специально для этого случая. Позерка, скажете? Просто почувствовала себя на чужом месте. А глаза в тени, очень удобно.

– Понимаете, чего я испугалась? Что они догадаются, кем я себя представила, на каком месте могла бы я быть. Уже не могла – теперь,

когда все карты сданы и разыграны. Мы бы хотели, сказала старуха, чтобы вы рассказали о нем, вы может быть знаете, чего мы не знаем. Что-то должна была говорить. В хрустале дрожала холодная водка, я закашлялась, закрывая створки воспоминаний. Нельзя же рассказывать, подняв бокал, о птицах, носившихся вдоль железной дороги.

– К тому же я повторяла в уме такты проделанного маршрута: прямо от главного входа, мимо панских и пропанских надгробий, слева под склоном аллея апостериори назначенных революционеров-героев, затем наверх, в стороне от дорожки сплетенье ветвей, березы и елки, мусорные кусты, едкий дым, старик и старуха, перевязанная в пыльной талии до хрипа, за столбом повернуть направо, стаккато капустниц над вылинявшим букетом, еще направо до подобия акведука над высохшей восьмеркой пруда, донизу, до растрескавшихся и слоющихся плит, увитого ненасытной глицинией. Взгляд по привычке ищет закономерность, последовательность, доминанты и терции, знаки и сочетания во всемогущих и жадных спиралях. Находит же на каждом шагу только знаки отличия и вычитания, гранит, плоские грани, удушливые восходящие кольца. Возвращаясь, запоминала путь от ворот до ограды, запомнила и забуду, больше никогда не пройду по этой тропе. Самолет задрожал и пошел на взлет. Засверкали редкие лампочки, складываясь в искусно начерченный иероглиф, который я не успеваю осмыслить, перелистывая страницы, проутюженные до хруста взлетной дороги, в темноте засыпаемой снежинками, изгибами дыма над звенящим песком. Если бы не болтающая без умолку тетка, заснула бы уже. Какими еще откровениями она делится, какими душными воспоминаниями?

– Я не забуду запахи, пыль бордового велюра перед кинофильмом. Что за вонь здесь, подруга моей сестры морщила нос. Она сидела в соседнем кресле в старательно изысканном кинотеатре. Такие были в центре города в выжатые поздние-советские годы, призрачная копия никогда не виденного великолепия. Я прижималась к нему плечом в самолично раскрашенной майке, молодой грудью без лифчика, бедром в джинсовых шортах, оборванных по дуге, отделяющей загорелые ноги от задницы. Показывали эротику, шокирующую уважаемых зрителей, поседевших на реальностях социализма. Под смоковницами и простынями, однако, таилась фи́га, скрывающая откровение иного рода. Вся затея московского кинотеатра дремучего почти девяностого года задумана была ради показа фильма, снятого по роману, написанному по мотивам реальных событий, через растянутый на десятилетия аналог которых нам

только предстояло пройти, мне, ему, моей сестре, подруге моей сестре, у него в тот год были билеты на всех. Подруга кривилась, какая вонь! Вылезая с кровати, я не приняла душ, а шорты, обнимающие поджарую попу, доходили до промежности лишь парой ниток и не составили преграду семени, в обилии извергнутому в тело и стекающему уже по ляжкам, на бордовое кресло, на ковер, на жадную землю, вычерчивая белые иероглифы по бордовому фону, высыхающие ручьи, привлекая ос и раненых птиц.

– Вы еще молодая женщина, сколько вам? У вас есть подруги? Я уже знаю, что нельзя ничего предвидеть, вообще ничего нельзя предсказать. Почему у меня один ребенок, у сестры, обещавшей стать старой девой, утонуть в потоке уравнений и формул – по одному ребенку от каждого из четверых мужей, закрутивших ее в центрифуге матримониального калейдоскопа, а у той воздушной подруги – ни одного ребенка и муж, тяжело наливавшийся паленой водкой все четверть века, пока высыхало ее женское естество, до тех пор, пока семейка саламандр не свила в нем гнездо, спалившее ее изнутри, но раньше в обыкновенном московском пруду утонул ее муж.

– Знаете, что я еще помню? Трех нимф, обнявшихся голышом, как богини на знаменитой картине, как все эти скульптурные группы под открытым куполом неба, под мраморной аркой, под переливами резных листьев. Я прижалась к нему, напуганная их совершенством. Мы проходили мимо по пляжу, песок скрипел под ботинками, а он засмеялся: красота, если б задницы не обгорели. У меня звенело в ушах, мы только сошли со ступеней, помятые после перелета и трехчасовой давки в троллейбусе. Я не люблю летать, плохо переношу набор, потом снижение высоты, разламывается голова, лавина крови в ушах, головокружение, обвал. Добрались, стояли дикарями, палаткой, без душа, в диком лагере, в тени скалы, под призраком колоннады, оставляющей хромающие вытянутые тени на рассветном песке. Вдвоем с ним смотрели, как крошится мрамор, как на закате стеклянные кубики ударяются о восходящие наклонные плоскости, замаскированные капканы свиданий, как стрелы дождя связываются в узел, как сплетаются пальцы, как сворачивается, сматывается в тикающую спираль настоящее, чтобы развернуться и выбросить нас наружу.

– Что мы там пили? Чем пользовались для предохранения? Везде очереди, за вином ломаются, как за билетами на Таганку, а в аптеке я не смогла сказать, что мне нужно, и ткнула в тюбик, оказавшийся то ли мазью от геморроя, то ли от ожогов. В любом случае, остались без

защиты, за восемь дней четыре привезенные резинки по счету. На пятый раз я спросила, откуда еще одна, а он успокоил – ничего, я простирнул. Отсмеявшись, мы все же ее натянули, от занятий сексом нас ничто не могло отвратить, в палатке, под небом, на пляже, в чистом виде секс он же бич.

– Еще прошлое прошлое. Сверху было отлично видно. В новогоднюю ночь мы стояли с ним на балконе, глядя вниз с двенадцатого этажа. Подруга моей сестры снимала квартиру на последнем этаже высотного здания у кольцевой дороги, в квартале от кладбища, через дорогу от рынка, над пролежнями старого города, расплзающегося по окраинам, как лопнувшая перегретая туша. Стандартная комната с кроватью и чешской стенкой, колонна хрустальных бокалов кристаллическим строем отправляется в зазеркалье. Город лежит контурной картой, расчерченной на квадраты пунктиров следов на снегу, решетчатым лабиринтом, по которому семят уверенные насекомые, заучившие рикошеты падений и отражений. За стеклом, за шорохом занавески отсвечивает красным пластиковое ведро с накренившейся в угол елкой. Он спуускался искать под снегом песочницу и заблудился на ложных изломах улиц между сходными многоэтажками, застрял, остался снежной скульптурой в ряду прочих снеговиков с ржавыми пуговицами. Мы едва разыскали его, разбили лед острым ножом, выкопали его из сугроба, напоили отвратительной польской водкой, с ложечки, иначе никто не пил эту гадость. После всполоха часовых механизмов, просиявшего отражениями над хрусталем, мы с ним снова курили снаружи, под вялыми стрелами ночи, заполняющей топь колючей махровой вязью, пока силуэты подруги с ее будущим мужем растворялись в тени на кровати. Водка, даже самая мерзкая, кончилась, мы мерзли, встречая влажный новогодний рассвет на балконе, и развлекались выдумыванием имен пролетающим мимо птицам: жабохвост красноклювый, хрусть прожорливый обыкновенный, морзянка-выскачка, гриф секретности повышенной прелести, подоконник болотный, клювохвостошип заднеплечный... Разогрелись, обнаглели, вломились внутрь, не глядя на задремавшую в упоении пару, задыхаясь от будущего, наползающего на нас сквозняком последней расплаты.

– Старики меня забросали вопросами: вы давно его знали? Когда в последний раз виделись? Еще побудете с нами? Что можно было ответить? Извините, дела, важные встречи, скоро концерт, к которому нужно готовиться? В отражении трамвайного стекла играла повторяющаяся мелодия, под электрическими дугами звякали

погремушки, собираясь в цветное узорчатое покрывало. После кладбища вместе зашли в трамвай. Конечно, сказала, еще побуду, никуда не спешу. Проехали перекресток с башней, подслушивающие часы, застывший в приапическом спазме шпиль. Я узнавала дорогу, по которой добиралась неделю назад от вокзала. И шпиль. Я видела этот шпиль из вагона поезда другой яркой и хрупкой ночью, лет тридцать назад, в потоке звезд и синих огней, обвивающих его осьминожьими щупальцами, в ключья разрывающих доверчивые рыхлые медузы туч. К тому лету мы уже разошлись, но его рассказ я вспомнила, когда поезд встал на вокзале, последняя остановка перед границей, на поезде, через Европу, еще цельный Союз. Я не выходила тогда из вагона за скользкими огурцами и курицами, которые совали в окна неряшливые жирные бабы, поясками удерживающие телеса в границах цветастого хлопкового торжества. – Остались, знаете что? Через тридцать лет остались медузы. Собрались заново в булькающие болота, расплылись поверх рельс, поверх черепичных крыш, поверх застывшего в безобразии шпиля. Трамвай ковылял по линейкам рельс, по-над имперской брусчаткой, пробирался затвержено и неторопливо до перекрестка, где параллельные колеи встречались у рыхлой канавы. Я глядела в окно, между уснувших мух, потоков и трещин, и замечала неунывающие тирады распродаж, пыльные качели в наледи имен и отпечатков влюбленных задов, отблески завядших настурций, позабытый орнамент над воротами госпиталя, увиденного издалека, в осенней суতোлке листьев, ветра и света. Серое небо между серыми зданиями, скрежет и писк, ломкая кожа, синька несбывшихся воспоминаний, стаккато ветвей, заслоняющих окна, не проходящий кашель, в нем удобно прятаться, словно в нору под снегом, пересидеть взгляд старухи, глядящей сквозь меня, словно в раскрытую дверь.

– Изнутри меня текла вязкая раздавленная земляника, высвобождая меня на середине зимы над спящими этажами. Крупный план его вдохов, его губ в моем соке, моем песке, наконец я произношу это, песчаные губы на берегу океана, там, над окраиной города, за наледью балконной решетки, за занавеской, мерцающей снулым небом, под серыми волнами, громоздятся, поднимаются, опрокидываются, обламываются у входа. Он повторял в том же беспорядочном строе прикосновения, всхлипы, стоны, выдворяя меня к разлому в моей личной копии океана, смыкавшегося вокруг его ржавых губ, приближая выдох, провал, гулкий стук из сердцевины белого сна.

– Вы считаете, я сочиняю? Подгребаю под себя воспоминания, оставшиеся лишь у меня? Но кто поймает меня на ложных присосках воспоминаний? Не вы ведь. Я могу говорить, что угодно. Он там, за акведуком, увитом глициниями, подруга сестры за другим, а я так и не спела ей, не спела о ней, а сестра вчера прислала мне дюжину фотографий младенца, просвечивающего перламутровыми щеками на ласковой простыне, почти стеклянные пальчики, ухватились за новую прочность, под блеском цифрового внимания. Еще один внук в расходящихся тропинках родства. Все забыли, никто не поймает меня, никто не поймет.

– Когда мы расставались, я плакала, разумеется. Он говорил, поедешь ко мне? Все рассыпается, падает пух, белые лепестки. Мы стояли на площади с друзьями, успевшими пожениться. Я уточнила, это предложение или вопрос? Вопрос. Тогда нет. Подруга смеялась, мол, истерию, но он понял, если не предложил, не пригласил меня, то я не поеду. Наше будущее летело с пирса в ледяную, в то крымское лето, воду, как горло, перехваченное судорогой, в перспективе слишком долго удерживаемого на педали аккорда. Пора уже отпустить, дугой приподнять кисти над клавишами, брызги с мола в лицо, как снегопад с другой стороны циферблата.

– И просто гуляли. По городу, отличной компанией, смеялись в трамвае по дороге в психушку. С нами все было в порядке, мы ездили навестить товарища, вот у него с мозгами было неровно, потом он повесился, один в пустой квартире, заставленной коробками с вещами, так и не разобранными за несколько месяцев после переезда. А тогда скорее косил от армии, а мы ехали к нему в гости звенящим утром, веселые, в трамвае, звенящем на перекрестках, и хохотали, висели на поручнях, как на гимнастических брусках, шли на руках от конца до начала вагона, без напряжения, пели что-то про стеклянные плоскости. А навстречу по тем же поручням, на руках, шли друзья, как по тонущей лодке, с обоих концов, спасаясь на середине, хохоча, вместе, обнявшись. Пассажиры трамвая негодовали, конечно, устроили безобразие в общественном транспорте, а мы хохотали, успокаивались и снова падали в смех, спасаясь на руках у друг друга. Выглядывали в окна, чтобы развеять смех, но снаружи не было ничего, гладкая слепая брусчатка, а смех отражался от стекол и возвращался к нам, запечатанным в банке текучего времени, с молчаливыми, неподвижными, ухватившимися за сиденья попутчиками с пустыми стеклами глаз. Мы уже вываливались из дверей, по-прежнему хохоча, и трамвай полз без нас, оставляя пару натертых

черных следов на камнях, пропадал между домов, и вороны галдели на крышах, следя, что еще вывалится из него. Чистая полоса, черным по серому, ни пятна алого или бордового, пока кого-то не начинало тошнить, обыкновенные дни на грани потери сознания, с ватой в ушах, в сосредоточении сухого молчания, пока не встретишься с другом, не разобьешь склянку тела под звон часов. За каменными воротами, за песчаным забором сад, где гуляют больные рассудком, на вид те же обыкновенные люди в полосатых пижамах, черным по серому, в сумерках поутру, простые речи, равнодушные взгляды, пожарные лестницы на крышу здания заколочены досками. Мы забрали приятеля погулять наружу, а потом возвратили обратно, оставив с книжками и новыми записями для кассетного магнитофона, песенками, которые все напевали в то лето.

– И кровь, кровь на пороге падения, губами в непрекращающуюся мелодию, шепчи, соприкосновение влажных губ, сквозь колючую изморозь, в солончаках рассвета, хрустящих под босыми ногами, откровение, которое длится, пока я его помню, пока вижу белый ковер в ветвящихся синих узорах, густое течение этой реки, в которую падают, уже утонули слезы, слова, расставания на перроне, поцелуи под зонтиком, дефицит папирос и закаты на крышах, закаты в лесу, закаты на пляже, отсутствие гигиены, блеск стрекочущих кадров, повторяющих двадцать четыре мгновенья в секунду похоть и страсть, почти как у нас, аметистовых кадров, обгоняющих, чтобы погаснуть, наши шаги в рассвет.

– Вы не волнуйтесь, просто болтаю, вы же не понимаете, о чем я. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, но нет уже сил. Ослабевают мысль, ослабевают слова, ослабевает, вы знаете, ночь. Нет крови над безутешным шпилем, растворилась, съеденная медузами, сожжена электричеством дней.

– А в ту новогоднюю ночь, в первый день года, когда я ускользала в сон, уткнувшись в катакомбы ткани и влажных пригорков, задыхаясь в уютной тьме, неуязвимая в замке его рук, под пересчет рельс, под вой проснувшихся электричек. На узкой тахте, в створке между рабочими днями, я теряла свой голос, проваливаясь в подземные люки, где копошились утлые ящеры, выплывая наружу одной этой комнатой, которую снимала подруга, окно сияло издалека, как в приборе ночного видения, при взгляде из электрички, согреться, проснуться, соединить секущиеся в хлам нити, набрать уже песок в то ведро, не ставить елку в обрывки газет, как посоветовала ему старуха на детской площадке по

соседству со снеговиками, и он застыл в изумлении, пока я не толкнула его, не увела наверх, к омерзительной польской водке и конечно салату. Воспоминания расплзаются вместе с распадающейся страной, бетонная заплата, ухнувшая внезапно под песчаным селом, развалившаяся утопия, рассыпавшийся наконец замок мечтателя.

– Мы лежали с ним, выгадав целый день, первый день года, когда ребята уехали, и ночь длилась над рушащимся песочным городом, доминошными рядами роняющим улицу за улицей, от центра к окраинам, начиная с монументальных кариатид, хватающихся за животы, обнаружив внутри пустоту, не может быть, там дышал в камне новый камень, не одна пустота между атомами, подпалины обгоревших лесных угодий. Каменные громады шарили по отмелям, разыскивали прутья, хребты металлических младенцев внутри, не было новых камней, песок, дым, сажа, пыль.

– Могла бы сидеть здесь лет тридцать назад и есть эту курицу. Ну не эту, какую-нибудь другую жареную с чесноком курицу. Другие знаки на стенах. Другие цифры на тяжелом граните. Выпить и снова закашляться. Поддержать разговор о соседях. Напоследок старуха спросила: вы придете еще раз? Или мы больше вас не увидим? Я ответила вежливо сомкано. Разумеется, есть дела, важные встречи, скоро концерт, к которому нужно готовиться. Разумеется, не увидимся.

Она наконец, замолчала, голосистая жирная дура. Засыпает, вздрагивая губой, наклонила голову, так что слеза затекает в ухо. Бедная девочка, нет никаких причин и никакого порядка в именах и событиях. Не гляди в зеркало, чтобы не встретиться со мной глазами, с той, кто рядом с тобой, кто нанизывает бусинки на карусель, пока она вращается с центростремительной силой вокруг пустоты. Нет никакого иного маршрута, нет любовного ритма, трамвай дребезжит на дороге, медлительные медузы сожрали уже башню и площадь, нет выбора, нет траекторий над прилизанными бульжниками. Разбежались кружевные лошадки, высохло море, утек в горловину песок до последней песчинки. Разрослась глициния над акведуком, ты думаешь, это ты приходила к нему, это я целую тебя в плечо, касаюсь губами щеки, чтобы стереть слезу, кровь на моих губах, ее шепот сквозь сон, кровь на пороге падения вытекает из раковины на колючую дорожную наволочку, блеск стрекочущих кадров, хрустящих под босыми ногами, страсть, похоть и смерть, я закрою твои глаза, девочка, бордовая круговерть в предрассветных солончаках.

ЕФИМ ГАММЕР



Поэт, прозаик, художник. Закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 20 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Печатается в журналах России, США, Израйля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины : «Литературный Иерусалим»,

«Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый ворон», «Новый журнал», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель «LiterariS – Литературное слово», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», , «Сибирские огни»,»,», «Север»,», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дальний Восток», «Белый ворон», «Русское литературное эхо», «Новый свет», «Кругозор» и т.д. «Золотое перо Руси», 2005, 2010. Живет в Иерусалиме.

□ Ефим Гаммер, 2016

ТРЕМП НАПАРУ С ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ

повесть

1

Ночь отступала в дальние углы чердака. Светало с чувством победившего капитализма. Хотелось съездить кому-то по морде и сообщить, почем оплеуха: «Пять баксов за штуку! А что? Русский бизнес!» Но поблизости никого не было. Кроме полупустой бутылки водки со свернутым в трубку и заткнутым в горлышко юмористическим журналом «Чаян». На противоположной стене, над окном, висел заляпанный мухами транспарант. На выцветшем сукне, прежде, должно быть, цвета рабочей крови, в блеклых одеяниях не однажды использованного золота красовалась партийная строчка.

Вера Инбер

ОТРУБИ ЛИХУЮ ГОЛОВУ.

Ниже шла другая, написанная коряво, от руки, химическим карандашом:

Все равно его люблю.

Васька Брыкин, не доверяя глазам, проверил на слух главную строчку, дико звучащую в ушах, если читать ее по слогам да с похмельным напрягом: «О-ТРУ-БИ-ЛИ-ХУ-Ю-ГО-ЛО-ВУ». Инстинктивно подумал: «Намек?» Заглянул в штаны. Мда, обрезан. Когда и зачем невдомек. Полез в боковой карман пиджака. Паспорт. Развернул. Уперся в графу «национальность». Русский. Вздохнул с облегчением. Имя? Василий. Фамилия? Брыкин. Все точно. Соответствует. Отчество? Ясакович? Что за чертовщина на татарский лад? Журнал татарский. Отчество татарское. Обстановка Соловьем-разбойником попахивает и напоминает Куликово поле. «Ясак» по-татарски – нечто вроде дани, что сбирала Золотая орда с Руси. А по-русски, ни дать – ни взять, вернее, как раз наоборот, и дать и взять – крутое вымогательство: в денежном исчислении, а то драгоценным предметом или натурой. Мздоимство сплошное, а не отчество. Хотя... хотя, если память не изменяет, за это прозвище чаще доставалось на орехи, чем на чай, когда в детстве обещали «Москву показать за уши» и дразнили не взяточником, не Ясаковичем на русско-татарский лад, а на еврейский – Исаковичем, по природной хитрице откупившим за чечевичную похлебку первородство у Ясава. Однако, дразнили его Ясаковичем или Исаковичем, это секрета обрезания не открывает. Обрезан, и все, хотя в графе «национальность» – русский. А на еврейский манер обрезан, на восьмой день после рождения, либо на татарский, в тринадцать лет, по внешнему виду не определишь. Главное, что за своего сойдешь и там, и тут. В Иерусалиме. И в Казани. Вот по этому поводу в журнале и стихи есть – на пьяную голову способствуют ориентировке на местности.

Ефим Гаммер

ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «ЧАЯН».

В своем еврейском огороде
Он был татарин по природе.
В Казани получил признание
После второго обрезанья.

«Обо мне, кажись, – решил Васька, – распространяется автор. – Казань-Казань, а здесь все похлеще будет. Москва, как много в этом звуке для сердца русского сплелось. Еди его мухи, русского! А какой я русский, когда поделен на три

национальности, чисто бутерброд – хлеб, масло и колбаса. Впрочем, где наше не пропадало?»

Вспомнив о бутерброде, Васька не забыл и о выпивке. «Бутыльброд так бугыльброд!» И приложился к горлышку да закусил, что Бог послал с «еврейского огорода» на поэтической странице – жирными буквами, пахнущими типографской краской, настоящей на спирту.

Теперь пора и в люди. Но не успел он и шага ступить, как попал под Матрену. Измученная бессонницей, она слепо вломилась на чердак с грудой свежевыстиранного белья. И ножкой, напоминающей любителям выпить бочонок пива, наступила – толстозадая – на Ваську Брыкина, кукарекающего на четвереньках лучезарному Завтра.

Он испуганно взвыл, придавленный к полу, в память о своем мужском достоинстве. Тетка Матрена не осталась безответной. Тоже взвыла. Не о его непутевом достоинстве. И не о своем, мужем битом. А о кипе белья, чуть было не лишенной первой постельной свежести, упали оно на неумытую рожу малознакомого постояльца. И со всей возможной стремительностью выметнулась с чердака в тартарары, куда-то в дальний низ, под лестницу, к своему буйненькому старикашке. Тот хоть и разменял седьмой десяток всего лишь на полшцу с прицепом в два пива, но при этом завсегда готов поговорить в душам и по мордасям – благо совесть весомая есть и кулачишко размером в совесть.

Васька, тоже совестливый с кулачишко, прихватил оброненный лифчик и поскакал по лестницам за теткой Матреной.

– Ай-я-яй! – визжала она. – Антихрист! – и не оглядывалась на лифчик, будто он ей не по размеру.

Дед Антип, услышав родной голос, приноровливо взялся за ухват. И приготовился к самообороне, затолкнув под лежак недопитую чекушку – на случай смерти, для опохмелки на том свете. И тут, жизни для, уловил новые нотки в воплях старухи. Он был не Моцарт, но и его бы эти нотки подняли из гроба. Заполосненно, позабыв об инфаркте, он выбежал на лестницу, навстречу быломu своему семейному счастью, ныне травленому молью. Но вместо счастья наскочил на Ваську, при ушах, галстукe и полупустой бутылке.

– В чем дело? Почему переполох? – деловито, с душевным подъемом спрашивался дед Антип на зуботычину, ибо вознамерился оставить отпечатки своих пальцев на доступной обзорению поллитрухе.

– Бабка шпиона поймала.

– Еще засылают?

– У них с советских времен перепроизводство по этой части. Вот и шлют к нам, шлют.

– Зачем? – недоумевал дед Антип, нюхом чуя: придется и собственную чекушку распечатать – слишком интересный разговор наклеивается.

– Зачем? – переспросил Васька. – Вот это у них и выясняют, когда ловят.

– И что на поверку?

- На поверку, дед-самоцвет, для нас большие барыши от этих шпионов наворачиваются.
- Ну!
- А знают они потаенные места, где у нас что-то плохо лежит.
- Еще не украдено? – проявил смекалку старик.
- Точно!
- Вот они и дают нашим органам наводку, – проявлял дед дальнейшую смекалку. – А мы и крадем.
- Я бы предпочел «на водку» в прямом смысле. Без воровства.
- Пойдем. Обмозгуем, – уважил дед Васькины предпочтения.
- Пошли. Уселись за стол. Начали мозговать. По сухому. Косо посматривая на недопитую полшу.
- Премию дадут? – поинтересовался Антип.
- За что?
- За шпиона с чердака?
- Бабке дадут.
- А мне?
- Тебе не дадут.
- Почему?
- Пропьешь.
- Я ейный муж по паспорту! А пенсия – на смех курам. Да и те нынеча не смеются, прослышав, что прививки от птичьего гриппа будут делать не им, а их надсмотрщикам – людям.
- Таким – как ты?
- Я не над курами был в охране. Бери повыше. Над звездной бригадой конструктора Королева, когда они замастырили космический корабль. Над секретными науками наблюдал в Кремлевской «Шарашке» – биологическими, химическими, парапсихологическими.
- Это те, что развивались на партийном пару?
- На пару брюки гладят, чтоб стрелка не ломалась. А мы Стрелку-Белку запускали в космос. И по секрету скажу...
- Съели?
- Сам ты – «съели!» Мы ее в «Шарашку» другую завернули на предмет охраны помещения, как проверенную на космос и радиацию.
- Какую же?
- Много будешь знать – скоро состаришься.
- Я уже не состарюсь. При своем возрасте всегда пребывать буду – 40 и ни в одном глазу. Как водка.
- Э-э, не пудри мне мозги, милоч. Это в нашей «Шарашке», в архисекретном ее подразделении и замастырили таких, чтобы не старели и готовили соответственно не стареющих солдат для будущих наших войн.
- Вот я из нее и буду.
- Врешь!

– А ты пощупай.

– Чего тебя щупать? Чай, не баба,

– Поэтому и пощупай.

Дед Антип пощупал. И убедился: прав Васька, честно говорит. А в чем прав и что честно говорит – это как-то не осознал, хотя... хотя... не баба, конечно. И более того, в боковом кармане пиджака – не обидел – пронес через проходную его «Шарашки» плоскую флягу с иностранными словами на этикетке и чем-то очень знакомым по аромату и цвету.

– Дорогая? – поинтересовался, постукивая ногтем по стеклу в матерчатой упаковке-обмотке.

– Антикварная.

– Поди, цены ей нету?

– Цены нету.

– Даришь?

– Презент.

– Мы не в пожарной охране. Снимай брезент. Открывай!

Тетка Матрена, будто услышала родовое проклятие. Набежала – накричала:

– Опять пить?!

– А что еще остается, мать, когда жизни нет?

– Я тебе покажу жизнь! – продемонстрировала увесистый кулак. И пока Васька распечатывал флягу, выдернула из недопитой бутылки пробку в виде свернутого в трубку журнала «Чаян» – и хлобысть! – все до дна.

А без выпивки, действительно, жизни нет. И дед Антип, жизни для, плеснул в рот антикварной жидкости из плоской фляги с диковинными буквами и, не очень удовлетворенный градусом опьянения, полез под кушетку за добавкой. Вытащил чекушку, поставил на стол. Порезал соленый огурец вдоль, на четыре части, положил Ваське на ломтик хлеба, Матрене на ломтик хлеба, себе, а четвертый ломтик хлеба с остатком кислого огурца установил, соблюдая равновесие, на горлышке Васькиной фляги – чтобы надышался алкогольных паров до неВИННОГО часа опохмелки.

– Наполняй до краев! – сказал Ваське. У самого рука не поднималась наливать из своей бутылки сразу всем.

– Наливаю.

И налил.

– Поговорим.

Крякнули. И поговорили.

Говорить начал дед Антип, закусив хлебом с кислым огурчиком.

– Так говоришь, шпиона поймала? Вот шельма!

– Говорю.

– А где он на предмет личности? Сбег?

– Куда ему от нашей действительности? Вот он, присутствует, – постучал себя Васька в грудь.

– Врешь, недодел! Ты же на морду наших кровей.

- Так незаметней.
- Да ну?
- Ну!
- Докажи.
- Русский я по паспорту. Титульная национальность – вездеход!
- И я.
- Отец наполовину татарин.
- Вторая после русских национальность в России.
- Их больше всех на улице, – согласился Васька.
- А по матушке как тебя кличут?
- Еврей.
- Это зачем для шпиона? Их ныне в олигархи записывают, мол, Рассею променяли на доллары. Мало?
- Еврей – на случай провала. Чтобы антисемиты не мешали поспешно выскочить в Израиль.
- Антисемиты мешать и не будут, – заметил дед Антип. – Наоборот, поспособствуют. Правда... правда, укажи спервоначалу, что тут еще плохо лежит.
- За тем и прибыл.
- Ну?
- Партийные деньги.
- Какие?

Тетка Матрена, мирно клюкающая из стаканчика водку, внезапно рассвирепела:

- Какие-такие партийные деньги? Я всю жизнь проторчала в партии, а деньги, с Лениным на обложке, со Сталиным, все едино – лишь на расход, и то не хватало до полочки.
- Потому и отправляли в расход лишних едоков, дабы больше выходило на душу живого населения, – догадался дед Антип. – Не мешай товарищу, а то унесет тайну с собой. А там деньги.
- Я его и на тот свет не отпущу! – продолжала горячиться тетка Матрена, пока не долили ее стопарю добавку – для самоуважения.
- Ну, шпион, говори, где бабки? – допытывался дед Антип, угомонив водкой вторую свою половину, некогда первую красавицу Главного научного заведения страны, именуемого «Шарашкой». Там под его охраной тянули срок изобретатели космических кораблей, вроде Королева, и прочие неприметные по тем временам гении.
- Бабки в бабке.
- То бишь?
- Есть такая баба, из мутантов – золота живородного. Именно так и именуется – Золотая баба. Наслышан, небось?
- Говаривали, водится такая.
- Даже место нам в «Шарашке» указывали. По последней ориентировке, либо в Сибири, в тайном схроне у деревни Ясное дышло. Это моя малая родина, в

случае чего, можно и наведаться. Либо, если перепрыгали, где-то здесь, под памятником Ленину.

– Памятники-то снимали.

– То-то и оно – снимали, чтобы сбить нас со следа.

– А пошто она тебе нужна?

– Золотая!

– Хучь и Золотая. Моя тоже не сахар, но женщина. Со всем пригодным к обращению – руками, доложу, и телом. А эта – железка какая.

– Не сечешь мозгой, старик! Наша «Шарашка» на полном партийном обеспечении, почитай, со Сталинского коммунизма. А партийные деньги они, кузнецы эти, которые прежде меч перековали на орало, теперь переплавили в золото. Причем, в какое-то живородное... с этим еще надо разобраться. Найдем – разберемся – выйдем на саморасчет и окупаемость. А то партийцы нам задачи еще при Хозяине поставили на весь двадцать первый век, а сами от идеологических забот в капиталисты подались, зарплаты три месяца не выплачивают.

– Без зарплаты худо, – согласился дед Антип. – И я бы подался, когда нет зарплаты, в шпионы. А много ли платят?

– Готов завербоваться, старик?

– А чо нет? Ты же, выходит на поверку, не против Рассеи шпион. Наоборот, как раз за Рассею, выходит, шпион. За Рассею Ленина-Сталина, где партия - наш рулевой.

– Выходит так, но за Рассею Ленина-Сталина с человеческим лицом.

– Социализма?

– Его самого!

– Ну, так вербуй!

– А выпьем?

– Как без этого? – выпили по одной, выпили по другой, дед Антип вспомнил о деле: – А я уже завербован?

– Ты – да!

– А старуха моя?

– Она пьет?

– Не видишь?

– Тогда тоже уже завербована.

– Но деньги вперед! – заартачилась тетка Матрена.

– Будут и деньги. Сдадим стеклотару, будут у нас и деньги. Где тут у вас приемный пункт?

Дед Антип торкнул жену локтем в бок.

– А что? Он прав! Прав человек! – и потащился под лежак, к тайничку, за второй, бабушку пригласив на третьего.

Васька знал, что зарядка удлинит жизнь, особенно по утрам, когда до вечера надо еще «пару раз сообразить». И потому, покинув деда Антипа с его стеклотарой у закрытого на переучет алкоголиков приемного пункта, он решил присоединиться к живо приседающему за ларьком памятнику Ленину, удлиняющему себе жизнь, так сказать, за счет физзарядки.

– Ты чего? – присел рядом с ним, лысенкиным, малость пузатеньким, облаченным в забронзовелое пальто, соблазнительно поскрипывающее лакомым для утильсырья цветным металлом.

– Разогреваюсь. Вчера принял на грудь. Сегодня...

– Придавило?

– Вот давление поднимаю.

– А ты пальтишко... того... скинь, и полегчает с давлением-то.

– Утащишь. А мне без него – форменный каюк. Без него и фуражки, – показал кепку, тоже забронзовелого фасона, какие носили, должно быть, 25 октября 1917 года по старому стилю календаря, когда охотились брать навалом Зимний дворец.

– Много подают?

– Не так, чтобы много. Алкоголики! – указал пальцем на томящихся у приемного пункта людей, колокольню вызванивающих, как на молебен, пустым стеклом.

– Так переместись.

– Куда?

– К Кремлю поближе.

– Там все занято.

– Будто бы возле Кремля и не сыщется ни одного постаментка?

– Нынешние постаменты не для меня.

– Это – когда ты не со мной!

– А с тобой?

– Со мной все твои мечты разом осуществляются. Пойдем – увидишь.

– Ты – что? – колдун из нашего будущего?

– Из будущего, будущего... вашего... Если и дальше зарплату платить не будут.

Васька энергично взмахнул руками, подпрыгнул, полагая, что у самого рта пролетела синяя птица счастья, аппетитная мечта каждого придурка из его «Шарашки». Но это мелькнула синюшная морда милиционера, пришедшего на «пятак» изображать из себя за червонец оборотня в погонах.

– Двинули! – сказал памятник Ленину. – А то штраф влепит за неуважение к мундиру.

И они двинули. Тишком – шажком, потом чуть быстрее, еще чуть-чуть, и во всю прыть.

– Куда? – заорал обалделый милиционер, пришедший по-хорошему, просто опохмелиться за чужой счет. – Что вам – мать твою! – пятки солью смазали?

– Солью! Солью! – разнеслось эхом.

Заволновался алкогольный люд, занервничал трезвый народ, а жены, те и вовсе ум потеряли, как вспомнили детство свое, потерянное в очередях.
«За солью бегут, сволочи! Опять дефицит – кило в одни руки! А то и война!»
Только Васька наглotalся на пару с памятником свежего воздуха, как рыгаловка приларьковая, звеня немытым товаром, бросилась за ним в погоню.
– Соль! Соль! Евреи всю соль в Израиль вывезли!
«Какие евреи?» – Васька косо посмотрел на памятник Ленину, у которого в заначке, еще с бабушкиных времен, покоится необходимая для вывоза соли национальность.
Памятник столь же косо посмотрел и на него.
«Мда! – догадался Васька, – подумал о том же».
И они прибавили ходу.
За ними увязалась собака.
За собакой поводиры, не успевший отцепиться от кожаного ремешка.
– К ноге, сучье вымя! – взбесился человек, будто его уже укусили.
А псу не понять человеческого отношения. Бежит и бежит – «к ноге, так к ноге».
Язык от удовольствия высунул, лижет Васькины пятки, будто и впрямь вкусной солью, недоступной прилавку, посыпанные.
Картина погони, заимствованная из итальянских фильмов о первой любви и потери невинности, никого не могла оставить равнодушным. Поднялся свист и гвалт на всю улицу. Самые сознательные из любопытных припустили прытче других. И в один голос:
– Стой! Стой! Соль не увози...
– От несолонохлебавших, – схохмил засланец секретной «Шарашки» и припустил пуще. Памятник за ним. Но не столь прытко: одышка, возраст, застарелый сифилис, да пальто тяжелое. Не разбежишься. Зато Васька – вот гордость волчья! – ни за что не желал, чтобы какой-то сукин сын наступал ему на пятки.
– Прибавь оборотов! – торопил он памятник.
– А куда это все?
– Не радуйся, не на штурм царевых покоев!
– Больно им теперь надо: «Свобода! Мир хижинам – война дворцам!» Но ведь бегут-бегут – давят, словно в сортир опаздывают.
– В магазин бегут, темнота! И как раз за тем, что не пахнет. За солью! За спичками! И за давней надеждой. Может, там опять что-то выбросили по случаю какой-то твоей годовщины, что завсегда по субботникам.
– Какая годовщина? Опомнись! Меня посшибали со всех пьедесталов. И даже рядом – с протянутой рукой – стоять не позволяют.
– То-то и ты бежишь.
– И я бегу. А то поймают-накостыляют, и выставят в музее Маяковского в виде плачущего большевика. Интеллигенция! – говно нации...
Зачарованные преследователи передали Ленинские слова по цепочке назад.
Издали донеслось:

- Что дают-то? Не расслышал!
- Еще не дают. А только обещают выставить!
- Что выставить? Что?
- Большевика.
- Что? Другого дефицита у них не нашлось?
- И говно нации!

Кто-то от разочарования дал кому-то по роже, а в знак ответного разочарования получил бутылкой по голове. Назревало уголовное дело. Вжарят десятку – совсем разучишься зубарики на полку складывать. Вот, чтобы не разучиться, люди и растеклись из свидетелей по своим обычным надобностям: кто на уголок, к приемному пункту стеклотары, кто на базар за картошкой и луком, кто в банк за деньгами на расход или в Думу народную за новыми указами и веяниями в политике.

На месте преступления остались лишь памятник Ленину, Васька Брыкин и прибудный пес-мордорез. Васька попытался найти с ним общий язык. Не получилось. Посему и пришлось, чтобы друг человека не брехал лишнего, свести его на живодерню.

3

Живодерня пахла исторической миссией пролетариата. Памятник сразу это почувствовал, без всякого напряжения для ноздрей.

- Режут багеньки, режут! – довольно похлопывал себя по забронзовелому пальто и отзывался звоном набатным в похмельной Васькиной черепушке.
- Режем! Режем! Как законом предписано! – рапортовал памятнику, приняв его за уполномоченного, лихой живодер: при усах, клешах, тельняшке и большом ножике, которым отдавал по-воински честь.
- И как это у вас получается? Безболезненно? – интересовался памятник, примеряющий роль самого человеческого из исторических персонажей родины.
- Безболезненно и по плану. Вжиг-вжиг, и ваших нет.
- «Вжиг-вжиг», надеюсь, не по национальному вопросу?
- А нам без разницы! У матросов нет вопросов!
- За наших еще рано, – на всякий случай поправил боевитого служаку памятник, дабы не потерять в глазах преданного делу товарища чуток предписанной вождю пролетариата гуманности. – Отстроимся, тогда...
- Как скажешь, начальник. Нам-то что! Мы – люди совсем маленькие, вот такие,
- живодер показал на пальцах со стопарь. – Псина твоя? Давай сюды, мы ей быстро райские кущи покажем во имя счастливого будущего.
- А заплатишь?
- Кому?
- Нам.

Живодер умильно посмотрел на собаку, заговорщицки подмигнул, словно счастье для нее выторговывал.

– На бутылку! И по рукам! Человек с человеком всегда найдет общий язык.
– Если он не собака, – согласился Васька, вспомнив, что совсем недавно не сподобился при всем желании найти этот самый общий язык с четвероногим другом. Спасибо памятнику, живодерня помогла!

4

Васька пересчитал деньги и смущенный нехваткой средств к существованию, с новым, эгоистического оттенка интересом посмотрел на памятник: «сработан под металл, червячка морить, наверно, ему без надобности».

Однако памятник морил уже не червячка, а людей, глазающих на зажатую в его руке кепку: будто из нее что-то выпрыгнет, четвероногое, вкусное – кролик, например, как у мага заморского.

Но памятник жаловал почему-то только духовную пищу.

– «Вывоз капитала есть паразитизм в квадрате», – чеканил он.

– Тише! – сказал сердобольный прохожий – очки, шляпа, мохнатые брови, седой мох в ушах. – Олигархи услышат. Наймут киллера.

– Все памятники не перестреляешь!

– Нужны им памятники! – отмахнулся прохожий. – Памятники они переплавили, да сбагрили за границу. А тебя обязательно шлепнут. За длинный язык. Ишь ты, «вывоз капитала – паразитизм в квадрате».

– «И не признавать того, что есть, нельзя. Оно само заставит себя признать».

– Шлепнут! Найдут и шлепнут! Дай адрес, чтобы хотя бы один честный человек на тебе подзаработал. Ты уже, видать, до гонорара не доживешь.

– Маленький домик напротив Кремля.

– Мавзолей?

– Мавзолей!

– А где же адрес?

– Внутри. В Мавзолее.

– Значит, ты под Него всерьез канаешь?

– А не видно по-тревезому?

– Пальто Его... Кепка Его...

– И слова Его – без всякого самодуя! Ленинские слова, шляпа в очках! Из доклада на восьмом съезде РКПБ. Том 24, страница 138.

– Памятник, да ты же последний из могикан! – воскликнул прохожий. – Ныныче никто Его не цитачит.

– Памятнику рот не закроешь!

– Это смотря какой закон на дворе, – воспротивился дядька, выразительно, с намеком что ли, приподнимая пальчиком шляпу.

Но куда попрешь против Ленинской логики? Льется водопадом из памятника к беспамятству народному – обнадеживает.

– «Общество основывается не на законе. Это фантазия юристов».

– Э-э, годи, друг ситный. Закон есть закон! Я милицейский чин в прошлом, знаю, что говорю.

– «Что такое закон? Выражение воли господствующих классов».

– Ну, памятник, дашь – по живому режешь! А не скажешь ли нам, кто на сегодняшний день ходит в господствующих классах?

– Батенька! И скажу! Вам непременно скажу...

Васька посмотрел на воодушевленный памятник еще раз, теперь уже не сомневаясь: ему морить червячка без надобности, пусть морит себе людей. А сам направился в ближайший ресторан, на противоположной стороне улицы. Швейцар у стеклянных дверей задобрел от Васькиных приношений и впустил его, обезналиченного, в накрахмаленный зал. Впустили – Васька и вошел, не возвращаться же назад без денег. За выход, смекнул, здесь тоже нужно платить. Не лучше ли посидеть – угоститься на шару, тем более, что клиентом приятно себя чувствовать. Стул пододвинули. Скатерку на столике салфеткой обветрили. Бутылку откупорили. Меню поднесли. Сделай одолжение, почитай, что там написано. Почитал – темно стало в глазах, и мокро в паху. В меню – вся ленинская диалектика напоказ: там есть все, чего нет у него. Антрекот – рублики, рублики, рублики. Бифштекс – рублики, рублики, рублики. Красная икра, черная, водка «Столичная», лососина, суши, пиво «Бавария», израильский шоколад «Элит», французский коньяк «Курвазь» – рублики-рублики-долларовый эквивалент. Тут желудок его не выдержал и от великого расстройтва исполнил утробным голосом, на свой лад, конечно, арию из оперы «Князь Игорь» – «О, дайте, дайте мне котлету, я свой позор сумею искупить!» – Артист? – официант подскочил к нему тут же, решив, что перед ним знаменитый маэстро-чревоушитель, прибывший на гастроли из Штатов заради заказанного по телефону столика.

– Артист! – согласился Васька Брыкин, не понимая, откуда местным пентюхам известна его «погоняла-кликуха» из личного досье засекреченной со времен Сталина «Шарашки».

– Что изволите? – умильно завилал задом официант, как недавно пес хвостом, когда увидел, что живодер отсчитывает Ваське гроши на нечто полезное для здоровья, мозговую косточку, должно быть.

– Изволю, – подумал Васька, собираясь с мыслями, так как денег в наличии уже не было. А, подумав, сказал просто, без выбриков: – Кушать!

Официант – ноги не держали! – вспорхнул и на крыльях любви ко всему чужеродному полетел на кухню сообщать браткам-поварам, что не зря отсидел академический срок на Инъязе в Московском универе для вундеркиндов-заочников: с полуслова понял маэстро, постиг все извивы иностранной души заграничника.

Радужные повара отблагодетельствовали его поднос кулинарными чудесами своего творчества и снарядили, курлыкающего от счастья, в обратный путь. Как с седьмого неба спустился он к Ваське, расшаркивается перед ним, заезжим кумиром, лопочет что-то непонятное по-английски – «Ту би о нот ту би». И сам

себе, будто суфлер, бубнит под нос по-русски, чтобы не забыть при переводе: «Быть или не быть – вот в чем вопрос».

– Вопрос ставят ребром, выломанным из грудной клетки, – веско сказал Васька, полагая, что ему принесли на обед копченые ребрышки с гороховым пюре, как это часто бывало в студенческой столовке, когда он осваивал систему Станиславского во ВГИКе.

– О, гуд-гуд! – залопотал официант. – Какой афоризм! Одна всего строка...

– И та заплочная! – бухнул автор.

– Йес-йес, одна строка, а в ней весь мир запечатлен, как в капле росы.

– Роса глаза не выест, – поддержал Васька официанта, желая скорее скovyрнуть его с поэтических высот на землю – поближе к пиршескому столу и тарелкам со всякими вкусоностями.

– Йес-йес! Кушать подано! Плиз, битте-битте!

– Кто тут битый? Рано еще, ничего не выпито.

– Намек фром вашей хумор понятен, – официанта от природной любезности уже зашкаливало, он переключился на все языки разом, даже на те, которые не изучал в универе, на русский, то бишь: – Пейте-ешьте, сейчас вам фирменное блюдо подадут – «Цимес мит фасоляс унд азу по-татарски фром мясо а-ля фарш».

– Кухня не нашенская? – полюбопытствовал Васька.

– Кухня – европейский дизайн.

– Я о другом. Ресторан какой национальности?

– Мы для всех скопом. Для ближневосточной национальности – без свинины, для кавказской – с шашлычком.

– А для русской?

– Уже несем-с!

И не обманул, подлец. Водочку льет, салатик с закордонной селедочкой Иваси подсовывает.

От такого обхождения Васька испытывал неземное блаженство. Впервые к нему относятся с непомерным, если трезво подумать, уважением. Но Васька трезво думать не привык. И в благодарность за то, что наливают и не осведомляются о платежеспособности, наяврил на желудке утробный концерт – благо напитки да закуски располагали к вдохновению.

А в антракте поднесли ему обещанное кушанье-диво, одних заграничных ароматов баксов на сто. Васька за вилку и давай ковырять это самое диво.

Только никак не допетрить, где тут «цимес мит фасоляс» вострит ему глазки, а где побрательник его интернациональных корней «азу по-татарски фром мясо а-ля фарш», но пахнет и тем и другим, и выглядит не задрипанной «котлетой по-киевски» из студенческой обжиралки, а грандиозной Вавилонской башней.

Причем, внутри, когда разворотил архитектуру до основания, сюрприз для пытливей мысли – рюмка с нектаром «Виагра».

– Премия, – подсказал официант, – у нас и девочки есть.

И куда-то поволокся. Чай, не за девочками. А то Васька еще и за мясо притарелочное не расплатился, куда ему мясо постельное.

«А впрочем, премия, – подумал он, – премия...» И вспомнил, что был среди первых, кому довелось смотреть диковатый, надо признаться, фильм «Премия», снятый по пьесе Александра Гельмана. Было это в 1975 году, при поступлении во ВГИК, на дневное отделение.

Как пробный шар, запустили на просмотр будущим светочам экрана новую, не обкатанную мнениями картину, и сказали на приемном экзамене: «Пиши рецензию, племя младое – незнакомое. Посмотрим, кто из вас потолковее будет? Кто потолковее напишет, тот и останется в нашем искусстве».

Из всех абитуриентов самым толковым оказался Васька Брыкин. И написал. И остался. И стал тем, кем стал. Драматургом, режиссером и артистом закрытого для посторонних зрителей театра, который находится там, куда не ступала нога свободного человека, в засекреченной до потери пульса даже для современных правителей страны «Шарашке». И будь хоть пяти пядей во лбу, никто не различит в тебе Тарковского, не признает дар Высоцкого, таланту, что от Бога, не поклонится, а ежели и начнет припоминать в тебе кого-то, с кем раньше встречался, то попеременно с искренним удивлением: Ты? Как это так? Совсем не постарел! Не пьешь что ли, не куришь? Печень бережешь?

– И пью! И курю! – сказал Васька вслух, опомнясь от воспоминаний, и бабахнул кулаком по столу.

– Несу! Уже несу! – послышалось от дверей на кухню.

Васька, как спросонья, огляделся по сторонам.

«Официант? Опять официант? Морда нерусская, что ему еще нужно? Платить – рано. Кушать – поздно, больше не лезет. Вот выпить – в самый раз. Выпить – никогда не рано и никогда не поздно».

Васька налил себе в фужер заграничный коньяк «Курвузье». Хлобыстнул – не поморщился – «где наше не пропадало?!» И впал в транс. А когда выпал из транса, видит: официант цветы ему с написанным на морде уважением сует в рот и умильно при этом бедрами, шалунишка этакий, вертит-вертит, будто уроки по чревоуещанию уже перенял и рекомендует себя в заграничное турне. Но бестолку все это баловство, бестолку. Никакого приличного звука, сплошное надругательство над высоким мастерством магов и чародеев.

Васька и вмазал ему.

– Не трожь искусство! Оно народное!

Официант скопытился. Обронил тарелки, бокалы. Из кармана выпал микрофончик-копеечка, который тут же и зачревоуещал: «Ай эм сорри» – извините, «плиз» – пожалуйста, «гейн индрейт!» – иди на тот свет. (Идиш. Язык евреев, похищенный у древних тевтонов на их пути в нынешние немцы.) – Эскюз ми, – героически выкрикнул официант и мигом сошел с ума от перенапряжения мозга. Сожрал от стыда микрофончик, принялся за битое стекло, остатки посуды.

Швейцар схватил его за плечи. Начал трясти.

– Уймись! Уймись, Леша! Все одно – визу не выправят!

Леша, однако, не уловил благородства охранника – сказалась привычка жрать поедом друг друга. Вот и откусил ухо, подслушивающее, да вознамерился цапнуть за язык доносительский. Но Васька бабахнул ему еще разок по затылку, но уже для убедительности букетом подаренных цветов, и привел в чувство, то есть в бессловесное состояние, когда заграничное «плиз» равнозначно заморскому «гейн индрейт!», а все люди – братья.

Официант, поднимаясь с четверенок, решил побрататься со всем миром. Но не получалось. Швейцар надел на него сверху и крепко держал под собой, не пускал в люди. А Ваське сказал:

– Беги за подмогой. Еще пять минут, а там я за него не ручаюсь. Людоед, псих недорезанный!

Васька и рванул за подмогой. Выскочил из ресторана и сразу к памятнику: глаза на лбу, а в них ужас с лошадиную морду.

– Эй, железный! Рви за каретой!

Памятник руками развел.

– Никак не могу, батенька.

– А что так? К месту прикипел?

– Не видишь? Цветами украшают.

– Какого хрена?

– Речугу толкнул. «Как организовать соревнование». Это из полного собрания сочинений, том 35, страница 200.

– Что сказал-то? Нечто толковое, или просто лясы точил?

– Видать, угораздило на что-то акутальное, насущное, так сказать.

– А именно?

– «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам... с ними надо расправляться, при малейшем нарушении... В одном месте посадить в тюрьму... В другом – поставить чистить сортиры. В третьем – снабдить их, по отбытии карцера, желтыми билетами... В четвертом – расстрелять на месте... Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт...»

– К революции призываешь?

– Я знаю? Но цветами, во всяком случае, меня украшают. Говорят, по случаю торжественного открытия.

– Чего, дура, открытия?

– Открытия, говорят. Торжественного. Меня, стало быть, опять открывают, памятник.

– Ну и дела! Одной каретой скорой помощи теперь не обойтись!

– Вызывай сразу эскадрон летучих ангелов в белых халатах.

Васька бросился к общественному телефону. Давай наворачивать диск и давить на голос обеспокоенный.

– Алло! Алло! Психолечебница? Гони сюда на скоростях! Что? Что? А через плечо! Не понять? Мне тоже – но попробуйте врубиться: Лешка-официант, мать

его, в людоеды подался. Набрасывается на клиентов, кричит: «Всех укушу и скушаю!» А недоеденные, те, кого еще не принял на зубок, вовсе ненормальные стали от этих криков. Памятник надумали открывать. Кому? Ленину! Ей бо! Не верите? Ложный вызов? Нет-нет! Но памятник брать не нужно, здоров как бык – будто из металла выкованный. Какого? Цветного? Да-да, цветного! Ах, уже едете? Спасибо на добром слове.
(Продолжение следует)

ИГОРЬ ГРОССМАН



Родился я в Одессе в 1953 году.

Закончил теплофизический факультет, и 10 лет работал в этой области.

В течении 10 лет очень активно занимался спортивным туризмом, в основном сплавам по горным рекам. За это время, как дно корабля, оброс всевозможными историями и рассказами, но никогда дальше устных “бесед

у костра” дело не шло. Когда меня спрашивают, как вы очутились в Австралии, обычно я отвечаю, просто из за упрямства, и это действительно так.

Австралия удивительная страна. Может потому, что, как принято считать она, вверх тормашками, а может просто потому, что она очень далеко от всего остального мира, но здесь очень многое по-другому. И хотя мы здесь живем уже 20 лет, я все равно постоянно сравниваю ее с нашей прошлой жизнью .

Как мы ездили на слет

Мой контракт подошел к концу и в принципе я доволен. Это было не самое приятное место.

Мы тут же решили немного попутешествовать.

Сумасшедший ритм города, а теперь еще добавившиеся обязанности бабушки и дедушки не оставляли нам много свободного времени на себя. Куда поехать?

Благо добрый дядя Гюогл даст тебе совет на все случаи жизни.

Заполнив все необходимые данные, мы буквально сразу получили хороший совет.

Центр Австралии, Алис-Спринг. Пяти-звездочный отель. Крыша в отеле открывается и ты видишь огромное звездное небо.

Весь трип занимает всего 3 дня.

Нам проведшим большую половину своей жизни в палатках и в ненаселенке – такое предложение показалось очень заманчивым.

Тут же не отходя от компьютера Гюогл посоветовал нам самые удобные билеты, и на следующее утро мы уже мчались в Аэропорт.

Все произошло точно как было описано в программе.

В фойе отеля нас встретил портье, одетый во все белое. В номере нас ждали два бокала холодного шампанского. На столике стояли свежие цветы, и все это, когда за стенами было почти под сорок.

Как и было обещано вечером, крыша раскрылась и все звездное австралийское небо было наше.

Не знаю почему, вдруг, вспомнил про это. Видно, наше подсознание живет своей собственной жизнью. Только потом, да и то – не всегда, я нахожу связь случайных мыслей и воспоминаний, неизвестно как и зачем приходящих в голову.

Получили мы приглашение съездить на слет туристской песни. В Мельбурне это событие. Это своего рода машина времени. Мы опять, как 40 лет назад, сидим у костра всю ночь напролет, опять слушаем песни нашей молодости. В этом году слет решили делать на новом для нас месте.

Еще совсем недавно путешествие готовилось заранее. Мы изучали и старались запомнить карты. В машине мы всегда держали толстую книгу всех окрестностей Мельбурна.

Поездка напоминала сплав на плоту, где успех зависит от слаженной работы всего экипажа.

Как всегда Ритка была за штурмана. Следующий поворот налево. Затем истощный крик Ритки, да не этот, а другой – налево.

Мы останавливаемся, оба склоняемся над картами, пытаемся определиться, куда же это нас занесло. И после вновь проложенного маршрута все начиналось сначала.

Все это осталось в прошлом. Работа штурмана уже никому не нужна. Умный дядя Гоогле спокойно верещит – направо, налево или пересчитываю.

Ритка спокойно раскладывает свой пасьянс, я кручу баранку и думаю о своем. Гоогле руководит.

Мы в принципе ожидали плохую дорогу, поэтому не сильно обеспокоились, когда дорога становилась все хуже и хуже. Гоогл знает, что делает. Пару раз нам пришлось вброд пересекать большие лужи в лесу. Однако одна из них оказалась такой глубокой, что мы с Риткой разом затонули.

Неожиданно мы осознали, что мы в полной ненаселенке. Гоогле обиженно замолчал, мобильники тоже не работали. Все попытки выбраться самим из болота ни к чему не приводили. До лагеря оставалось всего 3 км, и мы оставили машину в болоте, взяли собак и пошли пешком. Чтобы найти нашу просеку, мы заметили на выходе из нее большое дерево с цифрой 3, я еще прислонил к этому дереву бревно. В стороне от проезжих дорог шанс встретить кого-то в Австралии не очень то велик. Тут можно лететь на самолете 5 часов и не увидеть ни

одного огонька внизу. Довольно часто здесь сообщают об очередном туристе, пропавшем в местных лесах. Конечно мы сделали много ошибок – прежде чем оказались в такой ситуации. Выехали слишком поздно и на одной машине. Пока мы с Риткой пытались как то вытащить машину, мы даже не заметили как промокли насквозь, да и смены одежды у нас не было. Мы знали, что до слета порядка 3-х км и решили идти туда пешком. Однако ни карты, ни компаса у нас не было да и мобильники почти разрядились. Мы уже прошли почти половину расстояния – как подумали, что, идя таким образом, мы скорее всего не дойдем до слета, так как лес становился все извилистей и шанс потерять направление становился все больше. Тогда мы повернули назад и оказалось, что почти каждое второе дерево помечено цифрой 3 и мы не очень себе точно представляем, где оставили машину. Мы заблудились. Хорошо, что с нами были наши две собаки и мы как то – уже в темноте – добрались до места, где затонула наша машина.

Тогда мы с Риткой разобрали наш туристский скарб и переташили все к ближайшему пересечению дорог. Там я разжег костер и мы стали ждать.

В конце концов нам повезло. На огонь приехал какой-то местный. Узнав в чем дело, он без лишних слов поехал со мной и, зацепив цепью нашу машину, выдернул ее из болота. Как ни странно, но наш видавший виды внедорожник, залитый по-щиколотку водой, – все еще работал. Получив точную наводку, мы уже в два счета добрались до места слета – там костер горит до утра. Да и саксофон в темном лесу, освещенном только огромными звездами, звучал просто волшеббно.

Мы с Риткой улеглись в общий спальник и взяли к себе наших собак. Постепенно мы согрелись и собаки тоже успокоились.

Все кончилось хорошо.

А ведь могло быть совсем по другому.

Ну, а если бы все же все окончилось плохо – может, это и не так уж плохо – подумал я. Конечно, гораздо лучше здесь под звездами, чем на больничной койке. Конечно, глупо так закончить – это при нашем то опыте. А с дугой стороны – плохой день никогда умно не кончался.

Ритка положила мне голову на плечо.

За много лет вместе мы научились понимать друг друга без слов.

Я подумал, во что превратила нас цивилизация. Мы перестали быть существами чрезвычайно ловкими, выжившими на этой планете в

суровой конкуренции, окружили себя электронными гаджетами, сделавшими наш мозг абсолютно аморфным.

Я смотрел в огромное звездное небо, в котором песчинкой неслась наша планета. На этот раз мы были с ним наедине.

Все огромное небо было нашим.

ЕКАТЕРИНА ДАНОВА



Журналист с полувековым стажем работы в России. Четверть века работала главным редактором на телевидении. Живет в Австралии с 1996 года. Публикуется в различных печатных изданиях. Регулярно выступает в русской программе радио SBS. Проводит самые содержательные экскурсии по Мельбурну. За годы жизни в Австралии выпустила 10 книг о городе Мельбурне и стране Австралии.

СЕРЫЙ ОБЛИСК

Когда в далеком 1865 году жители Мельбурна открывали первый городской памятник, они поклялись, что он останется единственным! И, действительно, целых четверть века на углу Collins и Russell st возвышался 9-метровый монумент белым первопроходцам через центральную Австралию к заливу Карпентария – один на весь город. Но уже в 1901-м после создания Федерации, стали раздаваться призывы только в треугольнике меж Spring st и VIC Parade собирать все монументы, представляющие интерес с точки зрения истории не только Мельбурна, а и государства. По счастью, такая идея никого не вдохновила, и ныне каждая статуя или обелиск имеют собственное место в по-прежнему, меняющем свой облик столице Виктории. В том числе и совсем новый...

Этот серый обелиск в садике у станции Ripponlea на углу Morres st и Glen Eira rd был создан по инициативе VAJEX – Викторианской Ассоциации евреев, бывших военнослужащих – мужчин и женщин Австралии. И судя по документам, предложение исходило от бригадира Нила Бэвингтона – Председателя Совета Резервных Сил в Виктории, чтобы отметить в 2016 году 98 годовщину окончания Первой мировой войны.

Венчает новый монумент шестиконечная звезда Давида, а на гранях выбиты имена "Еврейских солдат, кто благородно служил и не пожалел своей жизни" в Первой мировой 1914 -18 гг и Второй мировой в 1939-45 гг. («The Jewish soldiers of VIC who nobly served and Gave their Lives») По еврейскому же календарю – 5674-79 и 5699-5705 годы соответственно.

Естественно, названы фамилии тех, кто участвовал в закладке обелиска, ребе, освятившего его, спонсоров.

Говорят, что поначалу, в 2015 году, завершали дизайн монумента красные маки на разных его гранях с надписью «Lest we forget» - "Мы не забудем!" Но сегодня на постаменте внимание привлекает мемориальная бронзовая доска со щемящими сердце словами: "Мы также помним гражданских евреев, убитых во время Холокоста – из 6 млн более миллиона были детьми и подростками. А также ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, вошедшую в историю как «Хрустальная», когда погромы возвестили начало нацистской политики «окончательного решения еврейского вопроса»!

Уже давно ни для кого не секрет, что эти самые страшные погромы были спровоцированы гестапо: Гитлеру нужно было, ускорив бегство из страны испуганных евреев, начать уничтожение оставшихся. Придумка удалась, и фашизм явил миру свой кровавый звериный лик!

Известны и число убитых и покалеченных, и счет разгромленных синагог, магазинов, жилых домов. Как, впрочем, и то, что мир промолчал, как это, увы, бывало не однажды.

Но мало кому известно сегодня, что только за морями и океанами, здесь, в Австралии, уже в декабре 1938-го 77-летний секретарь Аборигенской Лиги, сформированной Мельбурнской общиной, Вильям Купер выступил против Гитлера! Больной, начинающий глохнуть, он вывел на улицы столицы Виктории делегацию соплеменников-аборигенов! Им пришлось пройти длинный путь от его дома в Footscray до Albert rd в South Melbourne, чтобы вручить германскому консулу требование прекратить жестокое преследование еврейского народа нацистским правительством. Но, хотя на следующий же день газета «Argus» напечатала петицию удивительной делегации, та была сочтена как частная и в консульстве, конечно, не принята.

Зато в 70-ю годовщину этого единственного в мире и незаслуженно малоизвестного протеста против преследования евреев, в Парламенте Виктории посол Израиля в Австралии вручил внуку великого аборигена Альфреду Турнеру Свидетельство о том, что в честь и память Вильяма Купера в еврейском государстве посажены 70 деревьев – пять около Иерусалима и 65 в Лесу Дружбы между Австралией и Израилем. А 12 членов семьи Купера были приглашены в Яд-Вашем на открытие тамошней, памятной доски, посвященной мужеству их предка!

И потому, читая заключительные слова на доске на сером обелиске: «Мы молимся за их память», надо включить в этот скорбный список и его имя!

Ведь такие обелиски ставятся не только в честь и память погибших, а и для того, чтобы живые не забывали и часто вспоминали. Чтобы Память никогда не умирала в наших сердцах!

ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ

Отрывок из новеллы «Превратности судьбы»

(Все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны)

Он лежал один на широкой кровати, закинув руки за голову. Его красивые, карие глаза были устремлены на платяной шкаф, в котором на плечиках висел аккуратно выглаженный женский халат. Под халатом, на нижней полке стояли тапочки.

Плечи халатика обреченно обвисли в ожидании очередной претендентки на его использование, и смиренно ожидали своей участи.

Алексею не везло с женщинами. Ему вообще не везло. В свои пятьдесят с небольшим, лишь однажды, ему встретилась идеальная женщина, его жена, и он потерял ее. Потерял по глупости. Они не виделись несколько лет, но на развод Надя так и не подала. Возможно, она все еще на что-то надеется?

Алексей появился на свет по досадной неосторожности неопытных молодоженов. Славный, милый мальчик. Нет, мать, конечно же, любила сына, но он требовал к себе слишком много внимания. Родители были молоды, обожали друг друга и он стал третьим лишним в их беззаботной, не омраченной ничем жизни, поэтому, все заботы о новорожденном приняла на себя свекровь.

– Светочка! Приготовься кормить Алешу, – кричала она невестке из детской.

И молодая мать, нехотя, шла к умывальнику, сбрасывая с себя на ходу блузку, и ополаскивала под краном сосуды для кормления, емкостью в полтора литра каждый. Затем, прошлепав босиком к себе в спальню, усаживалась в старое кресло-качалку. А еще через секунду оттуда раздавался ее нежный голосок:

– Я готова! Несите!

Кто сказал, что дети рождаются только от большой любви?

Когда акушерка вынесла вердикт:

– Поздравляю, мамаша, у вас двойня! – происходящее показалось ей кошмаром. У нее уже был ребенок, и появление на свет близнецов не входило в планы родителей.

Судьба маленького Алеша определилась. Его забрала к себе все та же свекровь и воспитала, как истинно любящая бабка, то есть, баловала, насколько позволяли ей средства.

Когда внуку исполнилось шестнадцать лет, бабка торжественно внесла новую статью расходов под названием «Алешины нужды» в свой гроссбух. Это было официальное название. На самом деле, предчувствуя неприязни, сулившие ее внуку бушующие гормоны, бабка решила, что пора выдавать Алеше карманные деньги для оплаты к нему внимания со стороны не очень щепетильных женщин. Итак, поднабравшись немного опыта, семнадцатилетнему подростку захотелось чего-то настоящего, и, не встретив взаимности со стороны своей избранницы, мальчик, никогда и ни в чем не знавший отказа, очень удивился. Удивился настолько, что решил взять понравившееся ему силой. С помощью солидной суммы денег, уплаченной семье пострадавшей девочки за потерю невинности, Алеше удалось избежать колонии.

С родителями отношения не складывались. Мать всецело была поглощена близнецами, и каждый приход сына тяготил ее. К тому же, мальчик постоянно хватал со стола еду.

– Алёшенька, не ешь, оставь папе – И мальчик возвращал в вазочку шоколадную конфету.

– Алеша, детка, ты поел бы у бабушки, я на тебя не рассчитывала – И подросток безропотно вставал из-за стола.

Обижался ли он на мать? Нет, не обижался! Мать и отец для него были чужими людьми. Они действительно на него не рассчитывали.

Что такое родительская ласка он узнал, когда не стало бабушки. После похорон, все собрались на поминки в ее старом двухэтажном доме. Кому бабка оставила наследство – сомнений ни у кого не вызывало.

Мать обняла осиротевшего мальчика, и, успокаивающе приговаривала:

– Не волнуйся, деточка, мама позаботится об этом несуразном доме.

После всех манипуляций с наследством, позабыв установить памятник на могиле усопшей, родители навсегда забыли о том, что у них когда-то был сын.

Итак, перебравшись в небольшую однокомнатную квартирку, отвоеванную для него сердобольным нотариусом у любящих родителей, Алексей остался один. Нужно было решать, как распорядиться собственной жизнью. И он решил стать писателем. А почему бы и нет? Он поступил в Университет и, с горем пополам, закончил его, потратив на это несколько лет и бабкины драгоценности, припрятанные для него во вместительном сейфе все того же старенького нотариуса, давнего друга семьи.

Получив диплом, Алексей устроился репортером в местную газету.

Купив халат, трубку и письменный стол, обтянутый зеленым сукном,

решил он, что настало время заявить о себе. Недоставало только секретаря, и он поместил объявление в газете.

Когда девушка впервые переступила порог его квартиры – Алексею показалось, что даже неуютные, серого цвета стены, как-то преобразились. Застыв в дверях, она озабоченно взглянула на себя в огромное зеркало, нервным движением поправила выбившийся локон и, стараясь казаться взрослой, произнесла, неожиданно низким, хрипловатым голосом заядлого курильщика:

– Я это, ну, по объявлению, короче.

Видя, что Алексей застыл в изумлении, она снова раскрыла свой прелестный ротик и грубовато добавила:

– Ну, чё застыл, в рот воды набрал? – Резинка, которую она перекаtywала языком с места на место, мешала говорить внятно, и она ткнула пальцем в газетное объявление «Писателю на постоянную работу требуется секретарь».

– Да, я действительно, давал объявление – Алексей просто растерялся от такого несоответствия внешнего вида и содержания.

– А ты, чё, и правда, Писатель? – она хихикнула и ткнула Алексея пальцем в живот.

– Да, Писатель, – начал, было, он.

– Да ты гонишь! – ее глаза удивленно уставились на Алексея.

Он поправил очки, и произнес, стараясь казаться солидным.

– Простите, давайте, вначале, познакомимся, Вас зовут...

– Да ладно, тебе. Ну, Рита я, и что? Она прошла в столовую, на ходу сбрасывая с себя плащик.

– Рита, а Вы, простите, где учитесь? – Девушка ему понравилась, на секретаря, она, конечно, не тянула, но, возможно, он найдет ей другое предназначение.

– Ну, в ПТУ. Да не переживай ты так, я быстро печатаю...

И Алексей взял Риту на работу. Она действительно быстро печатала, да и деньги, которые он мог платить, ее вполне устраивали. Когда же Алексей попытался расширить круг ее обязанностей, предложив разделить с ним раздвижной диван, девушка, не чувствуя пиетета к Литературному Гению, в присущей ей форме отображать бродившие чувства немногословно, послала его по матушке и растворилась навсегда за обшарпанной дверью его квартиры.

Книга, или точнее сказать, машинописные листы, стопкой, лежавшие на его столе, запылелись и пожелтели. Пора было признаться самому себе: писателя из него не получилось. Но неудовлетворенные амбиции не

давали покоя и, однажды, его осенило – он заявит о себе, как критик. Да, точно! Одно дело писать, и совсем другое критиковать чужое творчество.

Работа в газете открывала для Алексея неограниченные возможности. Все чаще стали появляться его разгромные статьи, скорее напоминавшие собой фельетоны, нежели рецензионный анализ. Его не любили, ни в грош не ставили, как писателя, но ссориться с ним избегали. Как говорится: «не боится волк собак, не любит, когда лают». Таким образом, он почти добился своего

– с ним считались.

Когда Алексей впервые встретил Надю, ненависть, захлестнула его. Эта, неизвестно откуда взявшаяся выскочка, с бокалом в руке, принимала поздравления, и светилась от счастья. Нет, он просто обязан прекратить все это. И Алексей, решительно направился к молодой женщине, под удивленными взглядами окружающих.

– Жестокая правда жизни, – самоуверенно произнес он, – я бы сказал больше – очень жестокая. В драматургии, такой ход возможен, но там действуют другие законы. На сцене – это игра актеров и то, что происходит – происходит с ними, а не с теми, кто сидит в зале. В литературе, читая, каждый, все происходящее, примеряет на себя. Он не захочет для себя такой жизни. Надо всегда давать шанс читателю, а ты его не даешь. Запираешь в клетку, как зверя, и пичкаешь своим рационом, тогда, как ему хочется лежать в постели, или сидя в удобном кресле, укрывшись пледом и потягивая вермут, чувствовать себя не участником, а читателем.

И, заметив, недоуменные взгляды окружающих, произнес уже более миролюбиво:

– Тонко чувствуешь ситуацию и цепко держишь. У тебя очень чувствительные черты лица, выходит не только лицо. Видимо каждая клеточка тела, души и разума гармонируют друг с другом. Это большая редкость. Мне редко попадались, в общении, такие люди. Обычно на уровне чувств или разума, но в отдельности друг от друга, а у тебя – триединство. Спасибо!

Он вернулся к себе и более часа просидел, уставившись в одну точку. Это должна была быть его, Алексея, судьба. Это он, Алексей, должен был стоять в кругу почитателей и принимать поздравления, а наутро проснуться знаменитым. Вот оно что! Оказывается количество счастливых случаев строго ограничено. Не будь ее, этой графоманки, у него был бы шанс! Она занимала его, Алексея место! Он сел за письменный

стол. Он готов был уничтожить ее. Рецензия вышла плохая, из серии «Сам дурак!». В печать такое отдавать было нельзя. Алексей лег спать, и, проснувшись утром, решил начисто вычеркнуть из памяти вчерашний день. Это ему уда-лось. Он жил и работал, как раньше, пока однажды не встретил в магазине свою обидчицу.

Девушка явно смутилась, и Алексею это понравилось. Он пригласил ее встретиться вместе с ним Новый Год, и она тут же согласилась. Он сделал ей предложение, а почему бы и нет. Это был удачный ход с его стороны. Она – врач, психолог, она – признанный драматург. Этот брак придаст ему вес в глазах общественности. К тому же, она сможет править его, так и неоконченный роман.

И они поженились. Надя зарабатывала на жизнь, а Алексей, уволившись с работы, ринулся в погоню за славой. К выбору кандидатуры на должность секретаря, на сей раз, необходимо было подойти с полной ответственностью. Наконец, ему повезло. Однажды, раздался звонок в дверь, и на пороге возникло фарфоровое личико, обрамленное золотистыми локонами. Девушка моргала круглыми глазками и чуть приоткрывала пухлый ротик, всякий раз, когда к ней обращались.

Движение мысли на секунду отражалось в ее синем взгляде, тут же уступая место обычному выражению скуки. Она быстро печатала и первые десять-пятнадцать минут могла поддержать непринужденную беседу. Таня была студент-кой и с удовольствием согласилась помогать молодому писателю за небольшую плату и возможность сопровождать его на выставки и презентации.

Алексей, наконец-то, почувствовал себя счастливым! До признания было еще далеко, работа над книгой отошла на второй план, но эта молоденькая, восторженная девушка рядом с ним, смотрела на него, Алексея, так, как никто никогда не смотрел. Для чего он вообще женился? Мысль о разводе уже не раз посещала его. Он ненавидел жену, завидовал ей, но именно жена предоставляла ему возможность жить в свое удовольствие. Он делал выписки из первых, попавшихся под руку книг, и зачитывал ей по вечерам отрывки, под видом написанного им за день. Жена, с безразличием на лице выслушивала, молча, весь этот бред. А однажды, Алексей заметил в ее взгляде, нечто похожее на жалость.

В ту ночь он долго не мог уснуть. Извечный вопрос «Быть или не быть?» в данном случае звучал, как «Мож-но ли прожить без денег?»

Под утро его осенило. Оказывается, еще как можно! Главное, отыскать подходящую идею. За что сегодня борются? Ну, раньше, это понятно: за мир во всем мире, но это как-то слишком обще. Вот Израильтяне

молодцы. Они борются всю жизнь то «за», то «против». Иммигрировать в Израиль Алексей не мог. Кроме соседки Мани, еврейской национальности, не то, что родственников, даже знакомых евреев у него не было. Стоп. А почему за Сионизм могут бороться только евреи. Ну, конечно! Именно то, что он не еврей привлечет к нему больше внимания. Ну, выдворили его из заштатной газетенки, предложив написать заявление «по собственному желанию», подумаешь! Редактор, прочитав его рукопись, передал через секретаря совет читать, а не писать! И что, вешаться из-за этого?

Наутро, Алексей направился в ближайшую библиотеку и, основательно подковавшись, решил посетить ближайшую Синагогу. К огромному удивлению, отнеслись к нему довольно прохладно. Выслушав горячую, наполненную пафосом речь Алексея, пожали руку и предложили внести пожертвование на борьбу за возрождение, столь любимого им, еврейского народа. А затем, выпроводили восвояси, даже не предложив чашку чая.

Итак, рассчитывать на дотации местной Синагоги не приходилось. И Алексей решил с разводом пока не спешить.

Танечка была к нему очень мила, ни в чем ему не отказывала, включая интим, жена кормила и не приставала с расспросами. Можно было считать, что жизнь удалась.

Но абсолютного счастья, как говорится, не бывает и, однажды, Надя заговорила о ребенке, о том, что годы проходят, моложе они не становятся и пора бы ему, Алексею, прекратив заниматься ерундой, вернуться на работу.

Этого только не доставало! Так что же, прощай свобода? Ну, уж нет! И тогда, он решился. Написав прощальное письмо с просьбой оставить его квартиру в течение недели, он попросту сбежал. Благо Татьяна пустила к себе на время.

Следующим шагом к высокому званию борца за Сионизм, должен был стать его выход на мировую арену. Воспользовавшись бесплатным компьютером все в той же библиотеке, за несколько месяцев собрал он под свои знамена сочувствующих из Америки, Европы и Израиля. С утра и до позднего вечера, просиживал Алексей в библиотеке, собирая всевозможные публикации, затем, разбавив чужие статьи собственными комментариями, рассылал он эти письма по всему миру. Как ни странно, это работало! За несколько месяцев количество рассылок возросло до пяти тысяч. Но борцу, даже за такую великую идею, тоже нужно есть, и Алексей открыл счет в банке, в ожидании пожертвований.

Надежды его не оправдались. Письма читали все, а чеки присылали единицы, да и то, на мизерные суммы по пять-десять долларов. Время шло. Бабкины сбережения таяли.

А однажды, его пригласили в Синагогу для беседы с раввином. Алексей хотел, было, отказаться, гордо напомнив, как всего лишь пару лет назад его не воспринимали всерьез, но как раз в этот момент в животе у него заурчало и, вежливо поблагодарив новых соплеменников, соблаговолит он принять приглашение. Раввин долго говорил о том вкладе, который Алексей вносит в борьбу за возрождение еврейского народа, и, в конце концов, предложил ему посещать еженедельно бесплатные обеды по пятницам. Это было оскорбительно! Он, русский борец за Сионизм, пожертвовавший карьерой ради великой идеи, должен был кормиться из милости бесплатными обедами! Нет, не так представлял он себе благодарность великого народа.

Итак, выходит борьба за идею, какой бы величественной эта идея не была, никак не связана с материальным благополучием. С ним ассоциировалась лишь бывшая жена, Надя. Ну, и дурак же он был! Ну, допустим, согласился бы он на ребенка, и что? Жена сидела бы с малышом дома, а он писал свои фельетоны, и все были бы счастливы. И он решил вернуть Надю.

Алексей заготовил монолог в надежде, на то, что она его выслушает. Он, скажет, что на вновь избранном им пути, ему просто необходим совет психолога, он постарается убедить ее, в том, что уход из семьи был благом для них обоих.

Эпилог

Дверной звонок разбудил ее. Сегодня выходной. Кого это принесла нелегкая в такую рань? Надя наспех набросила на плечи халат, и босиком прошлепала к двери.

– Кто?

– Надя, открой, это я – голос изменился, но был вполне узнаваем.

И вот в проеме дверей появился Он. Три года не прошли для него даром. Он отрастил волосы, на переносице в тонкой оправе красовались очки, на голове величественно восседал непрменный атрибут борца за Сионизм – кипа.

– Ну, здравствуй! Мы можем поговорить, Надя?

– Проходи! Почему бы и нет? – И Надя пропустила его в комнату.

– Я понимаю, вероятно, ты все еще сердишься на меня, но, поверь, если бы мы с тобой остались вместе – ни к чему хорошему это не привело бы.

Теперь я изменился, я нашел себя и достиг многого. Сегодня, имя мое известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Мне нужен твой совет, твоя поддержка...

Надя зевнула, прикрыв рот рукой.

– Сегодня выходной.

– Поэтому я и пришел сегодня, – он улыбнулся, – Ну, подумай сама, не записываться же мне к тебе на прием, это было бы просто смешно!

Постепенно, уверенные интонации в его голосе набирали силу. Он выжидающе смотрел в глаза жене, в надежде отыскать в них искорки интереса.

– Ну, отчего же смешно? Мы давно уже не живем вместе. И, потом, я не единственный практикующий психолог, – Наде действительно было смешно, смешно и противно. Он просто набитый дурак, если думает, что по-прежнему, может манипулировать ею.

И Алексей растерялся. Впервые, Надя видела его в таком состоянии. Его, некогда красивые глаза, за стеклами очков, казались ей теперь крошечными, они бегали из стороны в сторону, пытаясь, отыскать хоть какой-нибудь, мало-мальски подходящий довод в свою пользу. И не найдя его, он произнес высокопарно:

– Да, у меня нет денег! Чужие люди помогают мне, а ты, моя жена, боишься потратить несколько часов своего драгоценного времени на некогда любимого тобой человека.

Надя смотрела на него с сожалением. Как вообще она могла когда-то даже думать о том, что это ничтожество достойно любви!

– Уходи! Ты мне не муж и не любовник, ты вообще Никто! Ты – пустое место, напоминание о глупостях, совершенных мною когда-то. – Голос ее звучал буднично, никакой аффектации, простая констатация факта.

Она подошла к окну. На улице, пожилая женщина кормила кошку, подростки спорили о чем-то. Громко хлопнула входная дверь. Надя смотрела ему вслед из окна. Он шел, сгорбившись, под порывами холодного осеннего ветра, зябко кутаясь в выдавший виды пиджак.

Очередной порыв ветра, сорвав с его головы кипу, закружил ее в воздухе, и унес прочь...

ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА



Родилась в Казахстане. Археолог. Сделала самостоятельное археологическое открытие в Хорезме. Четверо детей: сын, сноха, внук, племянница. Им и посвящала первые стихи и сказки. До приезда в Австралию работала на радио города Ташкента, как оператор и участник литературно – поэтических программ на русском и узбекском языках.

Птицы моего двора.

Утро воскресенья выдалось дождливым и пасмурным. Я привыкла вставать рано, но сегодня подушка была особенно мягкой, а пуховое одеяло – отволакивающим и сладко-теплым. Они словно нашептывали: не надо, не вставай, давай еще понежмся и я подчинилась этим уговорам.

Томно закрыв глаза, представляла свое пробуждение ближе к полудню, запах свежесваренного кофе... Но не тут- то было! За окном начался громкий птичий диалог. Один голос – настойчивый и хрипловатый, второй – мелодичный и убеждающий. Говорили о чем-то долго. Сон пропал и мне стало интересно.

Я быстро поднялась, накинула халатик, ноги по привычке юркнули в тапки и я подошла к открытому окну.

На зеленом, мокром от ночного дождя газоне, стояли две поющие австралийские сороки - магдай: мать и птенец-подросток, ростом чуть меньше матери. Он истошно кричал, бегал вокруг с открытым клювом и требовал еды еще и еще.

Мать, одного за другим, выдергивала дождевых червей из их норок и немедленно отправляла в орущий рот. Повторяя одно и то же действие, они перешли на второй газон с более сухой травой, где подземных обитателей оказалось гораздо меньше. Голодному отпрыску не доставало терпения, он кричал все громче и громче. В какой-то момент и терпению кормилицы пришел конец – она усадила птенца на траву резким толчком головы. Тот притих. Но, как только в клюве матери оказался очередной червяк, громкие требования возобновлялись.

Но, видимо, пришло время сделать паузу в кормлении и мать улетела отдохнуть на соседнюю крышу. Растерянный птенец огляделся

вокруг, понял, что больше некому приподносить подарки, попробовал сам продолжить охоту, но все, что было найдено, оказывалось несъедобным.

Любопытство привело его в огромную лужу, где он попробовал достать нечто из расщелин между бетонными плитами. Получалось плохо и тогда, молодой магпай, как шкодливых ребенок, который зашел в лужу без сапожек, уселся прямо в воду, затем встал и снова сел!

В этот момент прилетел отец, слегка взъерошенного вида и немного прихрамывающий на правую лапку. Одно перо из его длинного хвоста торчало в сторону. Видимо, он неподалеку выяснял отношения с непрошенными посетителями или решал территориальные вопросы.

Папаша кинулся выгонять ребенка из лужи, дабы не простудился. Тот неохотно подчинился и медленно побрел на берег, роняя мокрые капли на асфальт.

Вскоре вернулась мама и своим мелодичным говором успокоила дитя – неразумное и вечно голодное. А отец опять занял позиции по охране территории, устроившись на антенне самого высокого дома.

Пролетающая мимо пара магпай, неожиданно поменяла направление и приземлилась на поляне. Им был оказан радушный прием. Все мелодично голосили, выстроившись по кругу и ритмично покачивая головами.

Под огромным чайным деревом я рассыпала хлебные кусочки. Угощение радостно приняли, а птенец, возможно впервые в жизни, познал вкус хлеба. Птицы клевали и разговаривали на своем птичьем языке, передавая кусочки хлеба друг другу, словно угощая гостей.

Выглядели они очень дружелюбно, хотя известны случаи нападения магпай на людей и животных. Я стояла совсем близко и не боялась их, я чувствовала, что мне доверяют, а они и не думали нападать. "Привыкли, – подумала я, возвращаясь в теплую постель, а кто к кому привык? Я к ним или они ко мне?"

ЕЛЕНА МОРДОВИНА

Киев



Писатель, переводчик, литературный редактор. Заместитель главного редактора литературного журнала «Крестьяник» и альманаха «Новый Гильгамеш». Редактор издательства «Каяла». Рассказы издавались в журналах «Крестьяник», «Голоса Сибири», «Венский литератор», «Зинзивер» и сборниках «Странности передвижений» (Алетейя, СПб., 2007), «Антология

странного рассказа» (Фолио, Харьков, 2013). Автор трех книг: «Восковые куклы» (Алетейя, СПб, 2010), «Баланс белого» (Каяла, Киев, 2016), «Призрак с Лукьяновки» (Каяла, Киев, 2017).

Лошади породы жемайчу

*Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг,
по которому ходят женщины и кони.*

Исаак Бабель. «История одной лошади».

*Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся
зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел
зов.*

Александр Грин. «Бегущая по волнам».

Павел вышел из самолета и словно попал в парную. Жара и влажность – дикая влажность, которую он, казалось, впитывал легкими и всей кожей – таким было его первое впечатление от Австралии. Когда он вылетал, в Москве шел снег.

Вместе с влагой он жадно впитывал запахи – запах дышащей земли, бензина, эвкалиптов, стриженных газонов.

Инженер Залман Шейнин оказался очень деятельным и суетливым. Он сразу начал рассказывать ему об Австралии и тут же потянул за рукав через дорогу, не обращая внимания на движущийся транспорт. На травяном островке стояли два деревянных идола – джентльмен и дама в широкополой шляпе.

– Обратите внимание, Павел – это наши первые переселенцы. Нужно запечатлеть. Становитесь тут, – Залман направлял его с проворностью пляжного фотографа.

Павел встал возле остроносой женщины и постарался как можно непринужденнее взять ее за деревянную руку.

– Я уже взял билеты в «Коала-парк» и на балет, а вы должны мне сказать, куда бы еще хотели поехать.

Он задумался.

Австралия жила какой-то своей тайной жизнью. Он не помнил, проводились ли здесь какие-нибудь известные дерби или гладкие скачки. Сюда наверняка не завозили потомков Мэнвара и Норзерн Дансера. Что здесь было? Австралии не существовало на его внутренней карте. Карта эта вообще давно отсутствовала в памяти. И вот неожиданно проявилась.

– На ипподром, – ответил Павел и взялся за ручку автомобильной дверцы.

– Хотите вести машину? – Залман смотрел на него с хитрой усмешкой и ждал.

– Извините, я не сразу сообразил.

Он обошел машину и сел на левое переднее сиденье.

Странно было ехать по встречной и видеть водителя справа.

Залман Шейнин был талантливым инженером, еще в советское время получившим несколько патентов в той области, которая интересовала Павла. Взяв за основу запатентованную Шейниным технологию, компания, на которую он работал, могла бы сооружать насосные станции, монтируя их из насосов ведущих зарубежных компаний. Они быстро ехали по ночному Мельбурну. На фоне сияющих огнями небоскребов пламенело гигантское колесо обозрения – впечатление было такое, будто оно только что оторвалось от пролетевшей здесь Колесницы Богов.

– Невероятно! Надо будет прокатиться. Составите мне компанию?

– А, ерунда, детская забава. Ехать ради этого в Докленд? Впрочем, если желаете. Угробили кучу денег на строительство, чуть ли не сто миллионов, а одной зимой жара была страшная – пожары тогда начались, так его повело – потом два года ремонтировали.

Откуда, откуда она взялась? Расплылась пятнами – замигали вдруг звездочки и строчки географических названий.

Первыми почему-то вспомнились лошади породы жемайчу. Однажды он был в Литве – и даже мысли не промелькнуло о них. А тут вдруг в Австралии.

В двадцатых числах каждого месяца он начинал по три раза в день спускаться к почтовому ящику в надежде увидеть там журнал – свежий, пахнущий типографской краской. В книжном ждал новых альбомов и открыток, на почте – марок.

Тогда и появился этот мир. Он собирал его, как паззл. Точнее – обнаружил себя в этом мире – как перед большой картой, где ипподром в Венсенском лесу обозначал Францию, а Кентуккийское дерби стало символом одного из штатов США. Ссылный конюх в амунической читал им вслух стихи Языкова. Мир двигался, дышал, как грива его коня под дуновением ветра, разлетался, как весенняя грязь из-под копыт, казался бесконечным...

В окрасе двух собак, вертевшихся у въехавшей во двор машины, отчетливо выделялись черные седла на коричневых пополах – это были взрослые упитанные бигли.

– Теперь у нас мода пошла заводить по две собаки – мол, одной скучно, она впадает в депрессию. Вот этого я раньше взял, а ту пожалел – хозяева не могли больше держать, и я подумал, что моему будет компания.

Собак что-то отвлекло – они с лаем бросились на задний двор.

– Опоссумов гоняют. Ночью не уснешь от их лая, если не запереть. Вон, гляди – по забору поскакал, – Он явно привык к тому, что интересуется гостей с большой земли, поэтому даже не стал дожидаться просьбы.

– Завтра покажу. Правда, днем они спят, но мы разбудим.

Гостиная была обставлена в австралийском стиле – грубое дерево и кожа, маски, расчерченные пунктиром австралийских узоров, подставки для мелочей, заваленные книгами и сувенирами полки.

Залман вынул из холодильника ветчину, упаковку камамбера, оливки и бутылку вина.

– Оливки сам мариную, между прочим. Только не думай, что так похлостячки. Мы закусим, пока я плов разогрею.

Прежде чем свернуть дорожное пальто, Павел нащупал в кармане меню из самолета, которое хотел сохранить для жены, чтобы не забыть, как называлась рыба. Сейчас он еще помнил. Кус-кус и рыба дори. Но потом забудет.

Он аккуратно сложил пальто в чемодан.

Может, что-то сдвинулось в нем после длительного перелета, и только забравшись на такую высоту, он смог вдруг увидеть карту, которую когда-то потерял. Он откинулся, в кресле, поглощенный воспоминаниями.

Картинка с обложки.

Скромная прибалтийская девушка, расчесывающая гриву лохматого коня.

Он перечитывал репортажи с соревнований братских республик, составлял родословную Андорры, аккуратно рисуя ответвления от ее матери Альфы, дочери дербиста Фактотума, и отца, происходившего от Гранита II, к более далеким предкам. Веточки расплзались, как кровеносные сосуды. Делал он это торжественно, с трепетом, словно составлял родословные патриархов из Ветхого Завета.

Отслеживал с карандашом в руках развитие линии Нейтив Дансера, выяснял, как проявили себя в России потомки Галти Мора, привезенного сюда в конце прошлого века, и чем может проявить себя купленный в этом году стандартbredный Регби'с Стар. Осваивал диагностику плечевой хромоты и системы естественной вентиляции конюшен, пытался разобраться в значении инбридинга в чистокровном коннозаводстве.

Составлял списки чемпионов пород, заведя для каждой породы отдельную страницу, таблицы бегов далеких от него ипподромов, анализировал итоги скакового сезона и помнил наизусть цитаты знаменитых коннозаводчиков и тренеров. «Если от Пролива и Керамики родится жеребчик – быть ему знаменитым рысаком и производителем». Он помнил это даже сейчас, как некоторые помнят псалмы Давида: «Если от Пролива и Керамики...». «От Пролива и Керамики...» – рокотали камешки у него на языке, как в горном потоке.

– Скажи, Паша, а ты баню любишь? Я тут часто захоживаю.

Залман нависал над ним и многозначительно глядел, как будто ожидал какого-то особого ответа.

– Как тебе сказать? В общем, не увлекаюсь. А зачем здесь баня? И так жарко.

Теплый февральский вечер, напоенный влагой. Шум эвкалипта за окном, лай собак, гоняющих проснувшихся к ночи опоссумов.

– Тогда завтра я тебя в гостиницу отвезу, а сегодня посидим, угощу тебя нашим австралийским вином.

Павел постепенно хмелел. Ему вдруг показалось, будто он остановился у таможенника Руссо. Необычные узоры из веток и листьев проступали на темном южном небе.

Где-то там, над обрывами грузинских гор, цепочкой брели тушинские лошади. Англия постепенно превращалась из страны Шерлока Холмса в страну Эпсомского дерби, трассу которого он мог нарисовать даже с закрытыми глазами. Хотя, зачем ему это было нужно? Отставной кавалерийский полковник, щелкая каблуками, приветствовал его в Швеции, а Москва была уж не Кремлем с зубчатой стенкой – так они рисовали его в начальных классах – а Тимирязевской академией, ЦМИ, Битцей и Музеем коневодства, по которому его водил сам Гуревич. Спортсменка Иветта в черно-белом костюме ехала ему навстречу по берегу Даугавы на жеребце латвийской породы. Чопорная Прибалтика переставала вдруг быть чопорной, когда на его внутреннем мониторе появилась девушка с белыми ресницами, расчесывающая гриву неказистой лошади породы жемайчу. И ему очень, очень, очень хотелось именно в эту Прибалтику, там, где утро, девушка с белыми ресницами, роса на траве и лошади.

Ипподром был совсем не таким, каким он его себе представлял. Он, скорее, напоминал большой аэровокзал, с регистрационными стойками, кафе, ресторанами. Застекленные трибуны были так далеко от скаковых дорожек, что лошади на них казались далекими-далекими. Все следили

за ходом заездов, глядя на огромные мониторы, которые были здесь повсюду.

Они устроились за небольшим столиком. Залман вспоминал, как с помощью огромной микроволновой установки делал изоляцию толстого провода. Он все говорил и говорил – и Павлу казалось, что Шейнин просто провожает его в аэропорту, а лошади где-то далеко, совсем не здесь, и не имеют к этому месту никакого отношения.

– Все разбежались, осталась только одна женщина, – Павел едва улавливал отдельные фразы из его рассказа.

Он смотрел через стекло, как вдалеке скачут лошади.

Через Алтай и Карачаево-Черкессию пролегли конные маршруты, навсегда привязывая Кавказ к Азии. Он теперь хорошо отличал друг от друга республики, которые раньше путал. Туркмения была вотчиной ахалтекинцев, а в Таджикистане разводили курчавых локайских лошадей.

Европа тоже теперь находилась совсем рядом. В Чехии шумел Большой Пардубицкий стипль-чез. Дворцовые лошади Копенгагена выстраивались на плацу для парадного выезда королевской семьи. Он следил, как разыгрывали Приз Триумфальной Арки на Лоншанском ипподроме, как проходили итальянское Дерби в Риме и гладкие скачки в Ирландии.

А вот Австралия... Австралия жила своей отдельной жизнью. И он вдруг отчетливо понял, что никогда ее уже не узнает. А карта, всплывшая так неожиданно, навсегда скроется в памяти.

– А, ерунда, детская забава! Давай уже, сделаем ставку и идем отсюда.

Он, может быть, и хотел что-нибудь возразить, но у него уже не было желания спорить. В конце концов, Залман был единственным человеком, с помощью которого они могли воплотить в жизнь идею создания сверхмощных насосных станций. Насосные станции будут получаться у них, как ни у кого.

Сияющий мир покидал его, выцветал в отражении стекла. Последней исчезла девушка, расчесывающая гриву низкорослого лохматого коня с широкими копытами.

МАКС НЕВОЛОШИН



В прошлом – учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. С 2003 года живёт и работает в Сиднее. Публиковался в изданиях «Молодая Гвардия», «Мурманский Берег», «Новый Журнал», «Единение», «Топос», «Зарубежные Задворки», «Интеллигент», «Континент USA», «Новый Континент», «Наша Канада», «Обзор», «Квадрига Аполлона», «Гостиная», «Этажи», «Московский Комсомолец», «Эмигрантская Лири», «Крещатик», «Чайка» и других. В 2015 году вышла книга рассказов в чикагском издательстве «Vagry & Company». В этом же году книга попала в лонг-лист премии «НОС». Финалист «Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival 2015».

Коннор

Одного из моих учеников звали Коннор. Его привели в середине года. Папа – крупная шишка в Exxon Mobil. Мама, естественно, домохозяйка. Пацан оказался слегка тормозной. Тихий, молчаливый. Безучастный ко всему. Одноклассники иногда его дразнили. Коннор реагировал вяло. Как-то раз я объяснял ему принцип умножения с помощью так называемых бусинок Монтессори. Коннор смотрел мимо.

– Ты понимаешь, что мы делаем? – спросил я.

– Да, – ответил он.

– Что?

– Числа могут умножаться, – с трудом выговорил он.

Я подумал, что надо бы отдать его в спецкласс.

На следующий день Коннор попросил Таблицу 100. Это ему было рано. Но отказывать ребёнку в частной школе не принято. Таблица 100 – это большой квадрат, разделённый на сто маленьких. И горсть пластиковых квадратиков с числами. Задача в том, чтобы выложить из них элементарную таблицу умножения. Десять по горизонтали и вертикали. А внутри перемноженные величины.

Я медленно собрал половину таблицы. Коннор смотрел в угол чуть выше моего плеча.

– Хочешь дальше? – предложил я.

– Ага.

Он позвал меня через час. Таблица была собрана верно.

– Тебе кто-то помог?

Коннор помотал головой. Я не поверил.

– А ещё раз с начала?

Он кивнул. Я сдвинул цифры с таблицы, перемешал.

– Поехали.

Я наблюдал за ним. Коннор управился минут за сорок. Это напоминало мистификацию. Будто он знал таблицу умножения и разыгрывал меня.

Да – но не с его характером.

На следующее утро Коннор достал Таблицу 100 и сложил её за полчаса. Несколько одноклассников собрались вокруг.

– Хорошо, – сказал я, – усложним задачу.

Я сдвинул с таблицы числа, перемешал и достал наобум – 72.

– Где его место?

– Здесь, – Коннор ткнул пальцем в пересечение 9 и 8. – И ещё здесь.

За три года учительства в России я наблюдал лишь один подобный случай. Когда хочется верить, что это тебе померещилось.

– А без таблицы слабо? – я достал тетрадочку с заданиями.

Коннор нахмурился – писал он с трудом.

– Это не важно, как ты пишешь, – сказал я, – главное – что. А с красотой мы после разберёмся. Попробуй. У тебя получится.

Коннор пыхтел над заданиями остаток дня. Смотрел в пространство, шевелил губами. Забрал тетрадочку домой.

Назавтра у меня состоялся разговор с его мамой. Хельга или Хелена, что-то в этом роде. Крупная, ухоженная блондинка скандинавского типа.

Тонкий парфюм. Слегка расфокусированный взгляд.

– Как вам это удалось? – спросила Хельга. – Я Коннора таким счастливым никогда не видела. И эти задания... Он до ночи их решал.

Насилу уложили спать.

– Методики хорошие, – скромно ответил я. – И ещё... У вас очень талантливый ребёнок.

– Удивительно. А мы боялись, что... Ладно, не в этом дело. Знаете, мы скоро переезжаем. Мужа переводят в Австралию. И мы решили что-то сделать для этой школы. Для вашего класса. Может, надо что-нибудь из мебели или оргтехники?

– Есть один дидактический материал, голландский. Но стоит дорого.

Около двух тысяч.

– Деньги для нашей семьи не проблема, – улыбнулась Хельга. – Как называется материал? Я запишу.

Она достала мобильник.

«Дура! – крикнул я про себя. – Тупая богатая овца! Подари эти деньги мне! Мне!! У меня долги. Я два года не был в отпуске! Ты боялась, что твой сын debil. А я доказал, что он – гений. Ну, роди скорее, ведь это легко. Кроме того, мы признательны лично вам. Вот два билета на Гавайи с открытой датой...»

Через месяц в школу доставили большой фанерный ящик из Голландии. Благодарности от директрисы в мой адрес не последовало. Не говоря уже о премии. Впрочем, я и не ждал.

Срез

Отвратительно холодный день. Излишне много снега, чёрного леса и галдящих подростков. Соревнование восьмых классов по лыжам. Обычно мне удаётся закосить от подобных мероприятий. Увы, не всегда. К лыжам я более чем равнодушен: по-моему, это спорт для недоумков. Работают конечности, думать необязательно. Да и трудно это на холоде. Кроме того, с детства нервничаю, если ко мне что-то прицеплено, даже часы. Не говоря о спортивном инвентаре.

У меня вообще непростые отношения с физкультурой. А с чем у тебя простые отношения? – спрашивает внутренний голос, напоминающий голос моей жены. Ответить мне нечего. Я не люблю групповые игры: товарищи по команде часто и не всегда цензурно критикуют меня. Например, за то, что в футболе я избегаю ударов головой. Не могу подставить голову под тяжёлый, грязный мяч. Единоборства тоже не вдохновляют. Брезгую контактировать с посторонним вонючим телом. Особенно если в контакт вступает моя челюсть или глаз. Короче, с физкультурой у меня не сложилось. Если не считать быструю ходьбу на работу. И ещё быстрее – назад.

Итак, лыжный кросс. Среди фаворитов гонки – мои друзья Яцек и Юденич. Отличник Аркадий Яцековский и Серёга Юдин, четыре пишем – три в уме. Оба крепкие ребята и упёртые спортсмены. Стартовали с интервалом в минуту. Вскоре спина предыдущего участника исчезла за деревьями. Сзади никого. Тишина. Я, не торопясь,

скользил по трассе, отмеченной красными флажками. Мечтал о том, как закончатся эти пошлые соревнования. И я вернусь домой, где жаркие батареи. Котлеты с макаронами. Горячий сладкий чай. А ещё диван и плед. И детектив Юлиана Семёнова, взятый до послезавтра.

Но вот запыхтел кто-то сзади. Хэх-ха! Хэх-ха!.. Оборачиваюсь: Яцек ломится, как подорванный. «Лыжню! – орёт издалека, скорость терять не хочет. – Лыжню!!!» Да ради Бога. Только мысли сбил, блин. О чём я думал? Да, хорошо бы срезать как-нибудь...

Вдруг замечаю сквозь деревья просвет. Поляна – километра три в обход, не меньше. Это если по трассе. А если срезать в узком месте... Вон лыжня пошла на срез. Метров триста! Однако кто-то там стоит: похоже, наблюдатель. Присмотрелся, а это Лёха Белешов из класса «В».

Двоечник и балда, но человек хороший. Он меня тоже узнал.

– Здорово, – говорю, – Беляш. А ты что не бежишь?

Он широко улыбается, подмигивает.

– А я вчера лыжу сломал. У тебя курить есть?

ПокOLEбавшись, достаю «Мальборо». Я тогда фарцевал американскими сигаретами. Покупал у двоюродного брата оптом. А в школе торговал в розницу, иногда поштучно. Имел две пачки с блока.

Беляш прикурил, с удовольствием затянулся. В воздухе зависло ароматное облачко. Я позавидовал ему, но сдержался.

– Ты меня не видел, okay?

– Ясен пень.

На втором круге опять завернул к Беляшу. Лёха обрадовался – тоскливо стоять без дела.

– С тебя ещё «Мальборо», – говорит.

– А ты не обкуришься?

– Не боись.

Отошли с ним в кусты, перекурили. Он рассказал якобы новый анекдот про Брежнева. Я притворно усмехнулся. Затем вернулся на трассу. То есть опять срезал.

Несколько человек меня обогнали. Потом слышу: ийх-а, ийх-а! Яцек мчится – глаза выпученные, и пар от него идёт. Последние силы отдаёт, бедняга. Снова орёт: «Лыжню, ийх-а! Лыжню!!!» И не вникает, что мы это уже проходили. А ведь отличник. Вот до чего спорт доводит.

На финишной прямой меня легко обошёл Юденич. Он и занял первое место. Второе – Яцек. А третье – обалдеть! – я. Физрук долго и недоверчиво смотрел на хронометр. Потом на меня.

– Хм... Значит, можешь, Неволошин, когда захочешь. Ты не срезал?

– Нет. Вон спросите у Белешова.

– Не. Я б ему не дал, – честно говорит Лёха.

Я ловлю на себе подозрительный взгляд Аркаши Яцековского. Он пытается что-то сообразить. Но он слишком устал.

Об этом давнишнем случае мне напомнил престранный сон.

Фиджи. Plantation Island. Вода слепит, как фальшивый бриллиант. С берега веет рестораном и тропическими цветами. У пристани десяток частных яхт. На них – загорелые, худые люди без возраста. Не знающие, какой сегодня день недели, месяц, год. Единственная забота – хороший ветер. Неужели я один из них? Нет... Да! Иначе откуда здесь моя жена – в шезлонге, с бокалом в руке? Спасибо тебе, Господи.

На соседней яхте возится с парусами типичный морской волк.

Коричневый, сухой. Blondинистые волосы падают на лоб. Он пристально смотрит на меня. И вдруг я понимаю, что это Лёха Белешов. Беляш.

– Здорово, Лёша, – то ли вслух, то ли мысленно произношу я, почему-то я не смог назвать его Беляш. – Ты меня узнал?

– Конечно, узнал.

Он улыбается, протягивает руку.

– Что ж ты не спрашиваешь – откуда я, почему здесь?

– А я про тебя всё знаю. Закурим?

Он лезет в карман шорт. И я догадываюсь, какие вот-вот увижу сигареты.

И просыпаюсь.

ИРИНА (ЛЯЛЯ) НИСИНА



Родилась на Украине в городе Винница. Закончила Казанский Институт Культуры и Винницкий Педагогический институт. В 1994 году переехала на постоянное жительство в Австралию, живёт на Голд Кост в штате Квинслэнд. Главы из повести и отдельные рассказы опубликованы в многочисленных журналах, сборниках и газетах («Нева», «Новый журнал», «Стороны света», «Крещатик», «Чайка», «Австралийская мозаика» и др.).

Бабы Валин немец

Она давно уже привыкла что ее называли бабой Валею. Соседку ее кликали бабой Верой, а напротив них, на другой стороне улицы жили баба Катя и баба Анфиса. К соседкам на летнюю вольницу приезжали внуки и правнуки, шумели, бегали, лазали по деревьям. Другие соседи покрикивали на них, а то жаловались бабкам на детишек, особенно, если те рвали яблоки или крыжовник, предназначенные на продажу. А баба Валя разрешала детишкам рвать и яблоки, и смородину, потому что детей любила.

– Пускай и не свои, – говорила она, – а все – детишки, а малым надо сладкого. А мне на мой век хватит!

Бабы Верины правнуки проделали дырку в заборе и убежали к ней в сад играть в понятные только им одним детские игры. Устав от беготни, они карабкались к бабе Вале на колени, обнимали ее теплыми перемазанными землей пухлыми ручонками, требовали рассказать сказку. И баба Валя рассказывала им и сказки и истории. Она родилась в другом селе, которое потом пошло под затопление, и в этой деревне считалась чужой. В ее доме когда то жила ее подруга, она и приняла Валью к себе жить и вместе стариться. Дом был крепкий, железом крытый, слишком большой для одинокой женщины, построенный, видать, на большую семью. Но получилось так, что в доме том жили одинокие бабы, и детских голосов дом не слышал. Валина подруга давно уже переселилась к ангелам, а Валя все жила в ее доме, сажала огород, белила весной деревья, убирала зимой снег, словом, делала то же самое, что и ее одинокие бабки-соседки.

О прежней жизни бабы Вали в селе было известно с ее слов. А жизнь баба Валя прожила такую же, как почти все старухи в этой деревне, ну, может чуть получше. Выходило, по ее словам, что успела она до войны замуж выйти, и что муж ее был красавец, высокий, чернявый, а глаза – как синее небо.

– А звали его Федором, и был он и гармонистом, и плясуном, и трактористом не из последних, – рассказывала соседкам Валя. – А уж как меня любил – вся деревня завидовала. К свадьбе платье принес крепдешинное, в цвет сирени. И воду для стирки носил, и подарки покупал – то отрез на платье, то платок с васильками! А однажды из города ботики привез – блестящие как зеркало и с двумя кнопками – вот! – И торжествуя женщин оглядывала – каково, а?

– Счастливая ты, Валюха, – вздыхала баба Вера. – Мужик какой хороший был, есть что вспомнить, есть о чем жалеть! А мой со свадьбы в военкомат, а с войны пришел пораненый, пожили полтора года, а он все болел, потом в госпиталь свезли и через месяц схоронили. Хорошо, дочка осталась, а то и жить не для чего. Потом внуки пошли, теперь вот правнуки. К концу дня голова пухнет от шума, а я радуюсь – дети в доме – счастье! Да и внуки приезжают чаще, детей проводят.

– Валька-то у нас, – хихикала баба Анфиса, – как вспомнить своего-то, так и краской заливается. Ласковый, видать, был, а? Любил, небось, миловал, ты бы рассказала нам с Катюхой, мы бы про чужое счастье послушали.

Баба Валя краснела лицом, и чуть не каждый вечер пересказывала бабам подробности: как женихались, как ели, как пили, как за дровами ездили, как на покос ходили. И слушали ее бабы, и сквозь морщины проступали молодые лица, совсем как на пожелтевших фотографиях на стене. Фотографии те, отретушированные заезжим одноногим фотографом, были похожи друг на друга, и с каждой смотрела вдаль молодая бабушка в нарядной блузке и дед, которого внуки уж не застали на этом свете. Только у бабы Вали и у бабы Кати такой фотографии не было. Баба Катя перед войной еще мала была, а опосля, когда мужики вернулись, никому не приглянулась, так и осталась вековухой. А к баба Вале, будто бы, фотограф перед войной не заезжал, а после войны была она уже вдовая, так с какой радости и фотографии делать!

Жила баба Валя одиноко. Приходили ей письма в иностранных конвертах, но не часто, раза два в году. Сын ее жил в далеком городе, где то за границей, куда уехал лет тридцать назад. Там и внук вырос, и

правнук родился. Внук бабе Вале писем не слал, сын в гости ее не звал, да и сами к ней ни разу не наведались. Ну, дело обычное, тут у Егоровых сын в соседнем городе живет, ста верст не будет, а навещал родителей лет пять назад. Все занят, все времени нет, работает много, устает, опять же, семья. А у Валюхи сын аж в Германию укатил, – конечно, где ему выбрать время, чай не ближний свет! А что денег не шлет, так вот у Сажиных трое детей, и все в городе хорошо устроены, а за все годы ни копеечки не прислали родителям. А когда отец их помер, то на похороны с пустыми руками заявили, и наутро после поминок первым автобусом в город уехали. Вот такие бывают детки нынешние! – Да и не молоденький он, сын Валюхин – судачили бабы, – ежли он даже в сорок первом родился, то все одно уже за семьдесят. А мужики сейчас как один больные да хилые, не то что мы, бабы. Валюха вона, бегае все одно как молодка!

Так вот бегала баба Валя, да и упала на улице перед магазином. Мужики, кто потрезвее были, ее домой донесли. Баба Вера правнука в медпункт послала за Галей-медсестрой. Пока мальчишечка добежал, да пока Галя – медсестра до бабы Валиного дома дошла, баба Вера уже рублевые монеты Валюхе на глаза положила. Галя выписала справку для похорон, и они вместе с бабой Верой стали искать на полке под потемневшими от времени образами документы. Бумаги были аккуратнo сложены в розовый пакет с рекламой кошачьей еды. Галя, хмыкнув, вытащила стопку бумаг, перевязанную ленточкой. Сверху лежал конверт с адресом написанным не по-русски, весь обклеенный марками. Галя пообещала бросить письмо в ящик возле клуба, и, прихватив свой чемоданчик, убежала.

Бабу Валю схоронили через день. На приезд сына никто не надеялся, а других родных у покойницы не было, но бабушки-соседки расстарались приготовить хорошие поминки, упросив Гришку-магазинщика продать им продукты подешевле. Отпели Валюху, похоронили и помянули как следует. Бабы разделили меж собою ее кур, разобрали кроликов. Одежду Валюхину, какая получше, отнесли в церковь, и стали жить дальше, собираясь вечерами, как раньше бывало, на скамейке у Валюхиных ворот. Баба Вера поливала осиротевший огород, собирала дозревшие помидоры и пупырчатые огурцы, а правнуки ее обирали кусты смородины и перезревшего крыжовника.

А следующей весной, когда уж месяцев десять прошло после Валюхиной смерти, перед домом ее остановилась машина. Баба Вера засмотрелась с веранды – хорошая машина, иностранная, стекла темные. Вроде, у

Гришки-магазинщика машина похожая, или даже совсем такая. Вышел из машины седой мужчина, стал вокруг Валюхиного забора ходить, дом оглядывать. Тут баба Вера его и окликнула:

– Вы, – говорит, – мужчина, что ищете? Заблудились, что ли?

Он еще рта открыть не успел, а из машины баба вылезла. Волосы у нее синевой отдают, на шее шарфик шелковый, а кофта совсем прозрачная – срамota одна! Оба они, и мужик и баба его, в джинсах, в кроссовках разноцветных, видно, что изо всех сил молодятся. Зашли они к бабе Вере во двор, представились, оказалось, это Гена, сын Валюхин, и жена его, невестка, стало быть, Валюхина прямиком из Германии приехали, так сказать, последний долг матери отдать. Назвались они Генек и Марго, на немецкий манер, значит. Про дом спрашивали, про участок, как быстро его продать можно, наследство, все-таки, мама хотела, чтобы сыну родному память осталась.

В Валюхином доме жить приезжие не захотели, у бабы Веры остановились. Денег дали, просили подружек позвать и начальство, конечно, чтобы выпить и в дружеской обстановке дело обсудить. Так вот вечером выпили, поели, бабу Валю помянули, и дело с начальством решили. Всего неделю и промаялся Гена-Генек, пока все бумаги оформили. В конце недели, привезли они с Марго из райцентра агента по недвижимости, и дом на продажу поставили. Вечером, по случаю отъезда, опять с начальством местным у бабы Веры сидели. Генек в райцентре купил заграничного виски, к которому привык в своей Германии, хорошей колбасы, иностранной селедки и еще каких-то сладостей для бабушек. Они с Марго, не смотря на то, что жизнь в Германии прожили, немецкой бережливостью не заразились, угощали щедро. Посидели на веранде, выпили, картошечки горячей поели, поругали правительство, молодежь, погоду, и на этой почве стали с местным начальством большими друзьями. Глава администрации, Сергей Иваныч, даже попенял Гене, что тот маманю забыл, не приезжал столько лет.

– Мы с маманей перед отъездом поссорились, – каялся Генек заплетающимся языком. – Бабы в деревне нашей говорили, что маманя меня в сорок четвертом от немца родила. Мы потому с Марго и настроились в Германию уезжать, я думал, отца найти, либо родных его. А маманя уперлась и ни в какую мне его имени сказать не хотела. Поссорились, в общем. А теперь мне и повиниться не перед кем, нет мамани!

– А про отца в Германии своей так и не узнал? – поинтересовался Сергей Иванович, наливая янтарное виски в граненый стаканчик. – Будем!

– Будем! – поднял свой стаканчик Гена, а за ним и все остальные.

Бабушкам Генкина Марго купила сладкого ягодного винца, и выпили они его уже по три рюмочки, и потому сидели добрые и разомлевшие, сложив усталые руки на коленях. Бабка Анфиса улыбалась, баба Катя уже задремывала, только баба Вера по хозяйству хлопотала.

– Мы искали! – высунулась вперед Марго. – Думали, найдем родню, помогут нам, подсобят на первых порах. Тяжело жили, пособие мизерное, только на еду и хватало. Пока языку этому поганому научились, пока работу нашли!

– Ну, пошла жаловаться! – фыркнул Генек. – Вы, бабы, ее не слушайте, все хорошо у нас. Квартира муниципальная трехкомнатная, пенсия хорошая, медицина бесплатно! Сына вырастили, внук уже есть. Генек снова плеснул в стаканы.

– Вот никогда, верите, виски из граненых стакашек не пил! – рассмеялся он. – Про отца, значит, целая история. Я у матери в бумагах рылся, фотку папашину нашел, а на обороте надпись с именем и фамилией, даже город родной его указан. Но мы с Марго найти его не смогли. Потом бросили поиски, работать надо было, а не ерундой заниматься. Да немцы народ не особо щедрый, детям своим не шибко помогают, так что зря мы на родню-то надеялись. А когда сынок наш, Питер, подрос, то он уже по Интернету деда отыскал.

– Да что ты говоришь! – удивился Сергей Иванович. – И как он, признал тебя, или в отказ ушел?

– Да, – оживились бабы, – расскажи про папашу-то!

– Валюха нам все про любовь рассказывала, любо слушать было, – добавила баба Вера.

Она принесла на веранду вскипевший чайник и устроилась рядом с бабой Катей напротив Марго.

– А любовь была, бабы, – задумчиво сказал Генек. – Я когда нашел папашу своего да растолковал ему, кто я и чей сын, так он слезами плакал.

– Ага, слезами, – подтвердила Марго. – Слезы нынче дешевы! Завещание-то поменять не захотел, нам от его имущества крохи перепали!

– Да погоди ты! – прикрикнул Генек. – Не путай грешное с праведным. Что имущество делить не захотел, так это не оттого, что мать не любил. Он с войны без ног вернулся, бедствовал, болел. Потом встретил

женщину, она его выхаживала, ну и поженились они. Все его богатство от нее пришло, с ее стороны, в общем. Двух детей нажили, фабрику, дом хороший. Кстати, сын его младший нашему Питеру с работой помог. А жена его мою Марго на кассу в супермаркете пристроила, а то она на заводе, на конвейере маялась.

Генек замолчал. Они с Сергеем Ивановичем чокнулись, выпили, стали заедать картошкой с огурцами.

– А про любовь папаша что рассказывал? – не утерпела баба Анфиса. – Как у них с Валюхой было?

– Было, бабы, – вздохнул Гена. – Мамадя, небось, вам сказывала, что она из Лесного? Она туда после войны переселилась, потому что тетка у нее там жила. Тетка одна осталась, в войну и муж и сыновья сгинули, вот и приняла племяшку с дитем. В метрике у меня написано, что родился я в поселке Василевичи, это где то в Белоруссии. Мамадя все боялась, что станут доискиваться, чей ребенок. В сорок четвертом почти никто не рожал, не от кого было, все мужики на фронте, либо в лесу, в партизанах. – Ну да, – подтвердила баба Анфиса, – у меня Наташка довоенная, ей три годочка сравнялось, когда на нас бомбы посыпались. Андрей мой в сорок пятом вернулся, а Наташка уж в школу пошла. Любка в сорок шестом родилась. Да на все село наше только у Фроси Рыковой в войну ребяенок-то народился. Ейный мужик в отпуск приезжал, на побывку после госпиталя, все бабы обзавидовались. Всей деревней к ней в дом лომилась дитенка понячить, хоть на руках подержать, запаха детского вдохнуть, – двери не закрывались!

– Ну вот мамадя и опасалась, всю жизнь прожила с оглядкой. Мне ни словечка правды не сказывала покуда я из армии не вернулся. А когда рассказала, то поклясться заставила, что никому не скажу покуда она жива. Даже тетя Маня, что нас после войны приютила, об отце не знала.

– Ага, вид делала, что мамаше верила, – вставила Марго. – В сорок третьем военном либо ветром надуло, либо товарищ Сталин в конверте прислал.

– Да помолчи ты, язва! – беззлобно махнул на жену рукой Генек. – Мамадя при немцах на кухне работала. У них в поселке госпиталь был для легкораненых, немцев, конечно. Вот ее туда и взяли повару немецкому помогать. А отец лечился там. Ну, и случилось меж ними любовь. Мамадя всего шестнадцать лет было, она и не видела жизни настоящей. У них в хате пол земляной был и детей восемь штук. Да отца в тридцать девятом забрали непонятно за что! Мать их, бабка моя, значит, осталась с кучей детей, ну и рассовала их по детским домам.

Маманя после войны никого из родных не нашла, а может и не искала, опасалась. Ее, старшую, мать в няньки в городе пристроила, хлебнула она горяшка у хозяев. А тут немец – парень ласковый, культурный, да с подарками. Он рассказывал, что купил как-то для нее платье, так она слезьми изошла – первое в жизни платье. До шестнадцати лет в драных юбках ходила, бабкину одежку донашивала. И ночью пришла к нему, вроде как в благодарность. Так вот полюбились они месяца четыре или пять, – и на всю оставшуюся жизнь!

Бабы только головами качали. Потом баба Вера стала собирать тарелки. Гена с Марго провожали начальство до машины. Долго и шумно прощались, а распрощавшись сразу ушли к себе в комнату спать, выезжать назавтра хотели с рассветом.

Баба Вера грохнула на стол поднос с парадной посудой и раздала бабушкам кухонные полотенчики – вытирать. Они молча перетирали темно-синие «кобальтовые» чашки, блюдца и тарелки с широкой синей же полосой по краю.

– Выходит не все врала нам Валюха, – не выдержала баба Катя, – была любовь-то! С фашистом клятым!

– Ага, была! – поддакнула баба Анфиса. – За такую любовь ее бы при Сталине в Сибирь вместе с дитенком спроводили!

– Сердцу не прикажешь, – вздохнула баба Вера.

– Хоть какая, а все – любовь... – шмыгнула носом баба Катя. – У меня, вот...

– Да знаем! – оборвала ее баба Вера, – ты у нас самая обиженная! Потому всех мужиков и привечала по-молодости-то!

– Не ссорьтесь, бабы, – баба Анфиса бросила на стол полотенце. – Помните, как Валюха нам про платье рассказывала? Было...

Наутро Генек с Марго уехали. Договорившись они с бабой Верой, чтоб могилку Валюхину прибирала. Обещали слать ей посылки к праздникам, небось не обманут, вон как Гена щедро их угощал! Да бабы и так бы не забыли про Валюху, подружка поди!

Вечером собрались, как обычно, на лавочке у Валюхиного дома.

– Приедут теперь, когда на Валюхин дом покупатель отыщется, – рассказывала баба Вера соседкам. – Опять у меня жить будут, и подарок Марго обещалась привезти.

– Хорошо... – думая о другом, похвалила баба Анфиса.

Они сидели на скамейке у ворот. Яблони роняли цвет, засыпали белым дорожку к крыльцу, ложились дождем на и без того белые головные платки баб.

– Ведь сколько лет Валюха-то нас обманывала! – вдруг запальчиво выкрикнула баба Катя. – Я обзавидовалась: какой мужик у нее был, и ласковый, и красавец, и гармонист. А оказалось – немчура проклятый!

– Да, дурила нас Валюха своим трактористом! – поддакнула баба Анфиса.

-- Стыдно ей было, бабы, – сказала баба Вера. – Я целую ночь не спала сегодня, все про Валюху думала. Любили они друг друга, вы ж слышали что Гена рассказывал.

– А я бы немчуру не полюбила!

– А может это он моего братана застрелил!

– Или папаньку моего! – перебивали друг друга бабы.

– Вот Валюха всю жизнь и расплачивалась за любовь свою, - грустно сказала баба Вера. – Всю жизнь воспоминаниями жила, даже с людьми поговорить о том боялась. А потом и придумала мужа-гармониста.

– Фе-еденьку! – прыснула баба Анфиса.

– Так тогда выходит, что Валюхины рассказы, ну, как любилась они, правда? – спросила баба Катя.

– Выходит так, – подтвердила баба Вера.

– Да-а, – протянула баба Катя, – любовь зла, полюбишь и козла!

– Кому что судьбой и Б-гом дадено, то и будет, – сказала баба Вера сурово. – Сужден был Валюхе не Федор, а Франц, значит так на роду написано. Судьбу не обманешь.

А яблоневый цвет все падал на дорожку беззвучно летели маленькие лепестки, и на месте облетевших лепестков оставалась завязь. К осени яблоки будут...

ФЕДОР ОШЕВНЕВ



После технического вуза четверть века отдал госслужбе: начинал командиром взвода, позже был военным и милицейским журналистом, прошел "горячие" точки. Выпустил десять книг. Причислен к направлению "жесточкого" реализма. В периодике регулярно печатаюсь последние пять лет, на сегодня прошло 149 публикаций в российских и зарубежных изданиях. в том числе в Интернет-альманахе "45-я параллель.

СОБУТЫЛЬНИКИ

Глухая стена сараев и сходящийся под прямым углом забор надежно скрывали дальний пятачок двора от любопытных глаз. Здесь, в тени пустующей голубятни, вокруг импровизированного стола-ящика, кто на чурбачке, кто на сложенных в столбик старых кирпичках, мостились Иванов, Петров и Сидоров.

На застеленном газетой ящике красовались водочная бутылка, разнокалиберные стаканы, треть буханки хлеба и пара свежих огурцов. В добавление к обычным атрибутам выпивки-закуски в кулечке, слипшиеся, лежали конфеты-леденцы.

Сервировавший стол Иванов довольно обвел его глазами и заявил:

– А чё? Вроде всё кайфово получилось!

– Ну, погнали? – подпрыгивал на чурбачке нетерпеливый Сидоров. –

Погнали, а?

– Спешка нужна только при ловле блох, – авторитетно повторил Иванов где-то услышанную поговорку, важно выдержал паузу и скомандовал: – Разливай!

– По половинке или как? – проконсультировался Петров, берясь за бутылку.

– По полной! – распорядился Иванов. – Мы не слабаки!

– А пьем за что? – уточнил и опять подпрыгнул Сидоров.

Прятели задумались...

– Во! За дружбу! – наконец провозгласил стоящий тост Иванов.

– Мирово!

Прятели подняли стаканы. Чокнулись. Выпили...

Иванов схватился усиленно нюхать хлеб. Сидоров надкусил огурец, жевнул и сплюнул в сторону:

– Горький, жуть!

Огурец вернулся на газету. А Петров скромно взял конфетку и громко зачмокал.

– Как маленький! – возмутился Иванов. – До таких лет дорос, а всё сладкоежка.

Но по инерции и сам потянулся к кульку. За ним – Сидоров...

Посасывая конфетку, Иванов вдруг качнулся и прогнусавил в его сторону:

– Т-ты... Ты мне друг или н-нет?

– А тебя это сильно колышет? – удивился Сидоров.

– Сильно! – И, подумав, Иванов схватил Сидорова за рубашку. – А может, ты вообще бандит!

Петров как бы невзначай снова сунулся к кульку.

– Сбесился, что ли? – дернулся в сторону Сидоров. От его рубашки отлетели две пуговицы, одна «с мясом». – Козел! – обидчиво возмущался Сидоров, шаря по траве. – Мы так играть не договаривались! Думаешь, на год старше, так и все можно? Что я теперь ма-аме скажу?

– Ой-ой! Маменькин сынок! Из-за чего бы плакаться...

Иванову и самому было неловко за оторванные пуговицы, но смущение он пытался скрыть под маской грубости.

– Сам ты сынок маменькин! – стонал Сидоров, поднимая клочок рубашки с пуговицей. – Щас как бы дал в рыльник!

– Ты чё, обнаглел, мелкий? – уже озлился Иванов: еще бы, такой удар по авторитету!

Петров досасывал очередной леденец.

– Подумаешь, крупный нашелся! – отгрызнулся Сидоров. – Щас вот... приемчиком...

– Сопляк припухший! – подскочил к нему с угрозой Иванов. – Вчера на секцию записался?

– Шухер! – крикнул Петров, взвившись с кирпичей и поспешно закидывая в рот еще два леденца.

Перед распетушившимися мальчишками стояли трое взрослых мужчин.

У одного красноречиво оттопыривался пиджачный карман, другой держал в руках газетный сверток. Несколько секунд взрослые обозревали следы детского застолья.

– Гаденыши! Что делают, а? – вдруг взревел крупный мужик с сизым носом в фиолетовых прожилках.

– Куда учителя смотрят? Стервецы! – поддержал негодующие возгласы второй мужчина, в очках.

– Д-да... С таких лет... – негромко попенял ребятам морщинистый, с сильной проседью третий мужчина болезненного, усталого вида.

Закончил воспитательную работу, как и начал ее, сизоносый:

живительная влага под сердцем напорно просилась в глотку, и мальчишек требовалось поскорее разогнать с облюбованной территории.

– Пороть их всех надо! – потрясая сжатым кулаком, рывкнул здоровяк, и его ладони устремились к брючному ремню.

Иванов чуть ли не с разбега пронырнул сквозь дыру в заборе. Сидоров по трухлявой лестнице взлетел на голубятню, спрыгнул оттуда на сарай и помчался по разновысоким крышам, соображая, где лучше спуститься на землю. Петров же, не забыв прихватить кулек с остатками леденцов, резким виражом обогнул старшее поколение и юркнул в проход меж сараями и забором.

– Д-да... И дети же пошли... С малолетства – и нате вам... – продолжал монотонно-приглушенным голосом мужчина с сильной проседью.

– Ну, мы-то не дети! – И при этих словах мужчина в очках развернул сверток с закуской. – Имеем полное право! Выходной!

Здоровяк вдруг неуловимым движением опрокинул в рот содержимое оставленной на ящике бутылки – в ней еще виднелось немного прозрачной жидкости.

– Э-э! Куда? – возмущенно завопил мужчина в очках, но сизоносый уже сплюнул и выругался, отшвырнув бутылку в сторону.

– Вода... Бли-ин! – с болью разочарования в голосе протянул он.

– Не по-хозяйски ты... – упрекнул его мужчина в очках, радуясь, что собутыльнику не перепало лишнего глотка спиртного. – По деньгам пусть мелочь, а другой-то раз в аккурат ее и не хватает. – И бережливо поднял отброшенную стеклотару, тут же проверив: цела ли.

А морщинистый мужчина тем временем с горечью и грустью посетовал:

– Д-да... А мы-то, помнится, в детстве всю дорогу в войну играли.

ИННА РЕЗНИЧЕНКО



Родилась, выросла и водила туристов во Львове. Переехала в Австралию более 20 лет назад, любит вкусно кушать, ездить по разным местам и общаться с понравившимися людьми. Стрелец. Пишет внезапно и неожиданно для всех.

ДЭЙЗИ, СТАВШАЯ КОРРИ

У меня всю жизнь были собаки. Начиная от маленького Рыжика, и заканчивая абсолютно неуправляемым Альфом, дикой смеси питбуля и спаниеля, которого мне продали за 20 гривен и потом нагло спрашивали, когда я буду его выставлять. Собаки были у меня в доме всегда, менялось только их количество и породы, хотя мое сердце навсегда принадлежит овчаркам. Собаки делили со мной радость, я жаловался им, когда мне было плохо. Я ходил с ними на базар и они выбирали мне картошку, зимой они катали меня на санках, а летом мы ездили купаться на озеро.

Именно поэтому, как только мы приехали в Австралию, я поставил жене условие, что мы должны завести собаку непременно и немедленно. Жена не возражала, она уже тоже привыкла к мокрым носам и грязным лапам. Цены, озвученные нам на породистых овчарок или лабрадоров, показались нам заоблачными. Поэтому решили взять собаку из приюта. Жена начала просматривать каждый вечер фотографии собак в нескольких приютах. Что сразу бросилось в глаза – большое количество 2-3 летних собак агрессивных пород, типа стаффов или буль-терьеров, которые в подростковом возрасте начинают качать права в семье, и к которым нужен свой подход.

Пока мы ждали своей собаки, я ходил на ближайший стадион и смотрел, как выгуливают своих собак счастливые владельцы, как бегают, высунув язык, все эти бобики, шарики и дружки, выпрашивают у прогуливаемых людей угощения, и гоняются за мячиками и игрушками. Я им всем дико завидовал.

Наконец, после почти месяца поисков, жена увидела на фотографии маленького, миленького, хорошенького песика с мохнатыми ушками и застенчивой мордахой. Звали его Корри, и представляли его как скромного, стеснительного мальчика, нуждающегося в ласке и опеке. Это был ОН – наш пес!!!!

На следующий день мы поехали за ним. Душа пела и смеялась. Приют встретил нас громким лаем и запахом собак. К нашему удивлению, там оказалось довольно много посетителей, в приемной сидели люди с уже выбранными собаками и ждали оформления бумаг. Посетители виднелись и в глубине двора около клеток с собаками. Все выглядело буднично и по-деловому. Мы стали в очередь желающих и терпеливо ждали своего времени. Наконец-то оно подошло.

– Мы бы хотели увидеть маленького Корри, познакомиться с ним и забрать его домой, – сказала моя жена миловидной женщине за столом с компьютером.

– Корри?, – женщина видимо растерялась. – А его с час назад забрали в семью... Он у нас почти неделю прожил и никто им не интересовался, а сегодня сразу две семьи! Надо было нам позвонить перед тем, как вы ехали, мы бы его придержали до вашего приезда.

Это было большое потрясение! Весь вечер перед этим мы говорили о Корри, выбирали ему место для кровати, обсуждали, как сообщим родителям жены, с которыми мы жили двери в двери и которые были категорически против собаки, пока мы не устроимся в Австралии... А его забрали перед самым нашим приездом. Женщина посмотрела на наши расстроенные лица и предложила пройтись по клеткам и посмотреть других собак. Нехотя мы согласились, все-таки ехали довольно далеко.

В клетках, чистых и довольно просторных, сидело много собак, и больших и маленьких, многие лаяли, некоторые спали и не обращали внимания на людей. В одной клетке сидел пацан бордер колли, бело-черный красавчик с улыбающейся мордой. Я попросил дать нам возможность с ним погулять. Из клетки выскочила молния, перекрутилась в воздухе три раза, облизала меня с женой с ног до головы и начала описывать круги. Бордик был готов полюбить нас сразу и бесповоротно, он радовался жизни и радовался тому, что ему уделяют внимание. Он смотрел нам с надеждой в глаза и показывал себя со всех своих положительных сторон.

Но жена подошла к соседней клетке. Там лежала маленькая рыжая

девочка, абсолютно безучастная ко всему вокруг. Служащая объяснила, что собачку зовут Дэйзи, ее привезли два дня назад в приют, а утром сделали операцию по стерилизации и поэтому она вялая и безразличная. Жена взяла Дэйзи на руки и заплакала от жалости к этой собачонке. Я смотрел на красавца бордика, потом на жену с несчастной собакой на руках, и понимал, что уедем мы домой не с этим живчиком и непоседой, а с рыжей беспородной девицей с кривыми передними лапками. Когда мы оформляли бумаги, то имя Дэйзи нам показалось каким-то деревенским и не подходящим. Долго над именем мы не думали. – Мы приехали за Корри, – сказал я жене. Вот и запишем ее Корри. Так и стала Дэйзи Корричкой, Корицей, Корюхой и просто любимой собакой.

По возвращению домой стал вопрос, как сообщить о Корри родителям. Мы хорошо представляли себе, что они нам скажут по поводу собаки: оба без работы, только приехали, сами толком не устроены, а взяли на себя такую ответственность... Решили Корри пока спрятать, тем более, что она была еще очень слабая после операции и все время спала. Но, по закону подлости, нас встретила на крыльце теща.

– Что это такое вы несете? Собака? Ой, какая она маленькая и худенькая, сразу видно, взяли ребенка из детдома!

Теще было велено строго-настрого молчать о Корри, мы закрыли собаку в ванной, и поехали в магазин за приданным.

Когда вернулись через час, на крыльце нас ждал тесть.

Оказывается, теща так старалась сохранять секретный вид, что он сразу заподозрил что-то неладное и устроил ей допрос. Теща не выдержала и раскололась. Они оба бросились к нам в дом, было уже темно, почему-то свет они не включали и стали искать собаку по всему дому. Ванная оказалась последней. Когда тесть открыл двери, ему навстречу показалась маленькая мордашка, он даже решил, что это большая крыса. Наверное, он надеялся, что это будет овчарка, ведь, как оказалось потом, его сердце тоже принадлежало этой породе.

Тесть долго называл Корри крысой и дразнился, что она не собака. В один прекрасный день он сказал ей, что признает ее собакой, если она наконец-то загавкает. Он даже встал на четвереньки и показал ей, как это делается. Корри внимательно на него посмотрела и начала весело и заливисто лаять, после чего тесть ее признал.

Мы уже не живем дверь в дверь и теперь родители выманивают ее у нас

на пару часов, тесть в ней души не чает, а теща ее обожает и балует как только может. Корри уже давно не худенькая и не застенчивая, а о том, что она была когда-то Дэйзи, вспоминает иногда только моя жена.

АЛИСА ХАНЦИС



Родилась в городе Набережные Челны. Работала редактором, журналистом и корректором. Первый же роман Алисы Ханцис «И вянут розы в зной январский» был отмечен литературной премией «Рукопись года» в номинации «Язык» и получил третье место на конкурсе «Русская премия» в номинации «Крупная

проза» (2012). Её рассказы публиковались в журналах «Новый берег» и «Новый журнал», альманахах «Австралийская мозаика» и «Под небом единым», в газете «Интеллигент». Живёт в городе Мельбурн, Австралия.

Карт-бланш

Рассказ

Видимое может быть невидимым. Если всадник едет через лес, то его сначала видно, а потом нет, хотя на самом деле он там.

Р. Магритт

Я лежала и не могла заснуть. С самого вечера мне не давала покоя назойливо звучащая в голове мелодия для тромбона – она возникла откуда-то почти без моего участия. Я даже попробовала перед сном сыграть ее – она звучала вполне органично, до тех пор, пока барабанной дробью не вклинился мамин стук в стену. Чертовы панельные дома! Когда я ложилась спать, к тромбону в моей голове присоединилась труба. Я ворочалась. Было жарко. Я встала открыть пошире окно, и с далеким гудком клаксона в мою тему впорхнул кларнет, подхватив побочную партию.

Через час это стало невыносимым. Мелодия летела, легко и непрощено штурмуя мою бедную голову. Она не позволяла мне просто расслабиться и слушать, она настойчиво требовала чего-то.

Я поднялась и села к столу. Свет лампы полоснул по глазам; зажмурившись, я нащупала выдвижной ящик и вынула нотную тетрадь.

Боже мой! Я же никогда не писала партитур!

Лихорадочно собираю обрывки знаний – ручка нетерпеливо пляшет в пальцах, как живая.

Как транспонирует кларнет?..

Смогу ли я записать все это? Глупая, глупая, глупая девчонка!
Скрипичный ключ. Никогда не видела ничего красивой. Выведенный
одним нервным росчерком, он замер, ожидая продолжения.

Ну же!

Басовый ключ. Последний вдох перед тем, как нырнуть.

Боязнь чистого листа. Листа, рассечённого нотоносцами.

Затравленно обвожу взглядом комнату. Некуда отступить.

На стене справа от меня – репродукция. Рыжая лошадь и всадница в
сиреневой амазонке. Лошадь замерла в позе пиаффе. Ноги слишком
длинные. Всадница сидит маленькой восковой куклой. И все же я не
могу отвести взгляда.

Звуки теснятся, невидимые звуки, пока несвободные, грозящие
проломить мне череп.

Первые несколько нот брызнули из-под ручки, повисли на ниточках
стана, беснуясь и раскачиваясь. Музыка зазвучала в комнате, сначала
неуверенно, но вскоре, когда мои пальцы, сжимающие ручку, окрепли,
она заполнила пространство. Занавески на окне заколыхались.

Меня начал бить озноб. Когда здесь успело похолодать? Полуодетая, я
обхватила себя свободной рукой и забралась на стул с ногами, не
переставая писать.

Вверх-вверх-вверх! Кларнет взбегает по спиральной лестнице и издает
торжествующий клич. Затем замирает, словно вдруг испугавшись
высоты.

Мне не хватает воздуха.

Вниз-вниз-вниз! Кларнет съезжает по перилам прямо в объятия трубы.
Какого цвета звуки? Кларнет мне кажется сине-серым. Труба –
золотисто-медовой.

Ноги затекли, опускаю их снова на пол. Переворачиваю страницу.

Нотные значки становятся все мельче и мельче.

Комната тонет, очертания предметов стираются. Видимое становится
невидимым.

Музыка пульсирует вокруг меня, переливаясь – сейчас – зелено-голубым,
словно лента северного сияния. Невидимое становится видимым.

Я обессилена. Глаза слезятся. Нити нотоносца сливаются в серую
полосу. Пальцы дрожат.

За окном начинает светать.

В тот же день, после репетиции, я робко постучалась в дирижерскую и,
получив разрешение войти, молча протянула мистеру Пигготту свою

тетрадь. Он взял ее, так же молча, раскрыл (боже, зачем сердце так оглушительно стучит!) и скользнул взглядом по первой странице.

– Будь добра, когда в следующий раз возьмешься писать партитуру, делай это правильно. Вооружившись карандашом и сев за стол, он углубился в мои каракули. Почти сразу брови у него поползли вверх – я догадалась, что маэстро увидел мой кларнет в строе До, – но на этот раз он промолчал. Я смотрела, как он читает, быстро пометчая и исправляя что-то, и вдруг спросила:

– Сэр, какого цвета звук у трубы?

Он поднял на меня глаза, нахмурившись, недовольный тем, что его прервали, на мгновение замер, словно прислушиваясь к чему-то, и сказал:

– Жёлтого.

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН

Вокруг да около...

Это был мой первый в жизни отпуск и мое последнее мальчишеское лето. Осенью мне предстояло отправиться служить в армию. И я приехал домой, к родителям.

Мама как то странно-предупредительно ходила вокруг меня. Я еще не знал, что вижу ее в последний раз. Она открыла 10-литровую бутылку с вишневой наливкой и сказала:

– Пей лучше дома, чем всякую дрянь с твоими приятелями.

Ей было невдомек, что там, откуда я приехал через год после окончания техникума, пили в основном чистый спирт, который наши коллеги таскали из источника, бывшего фонтаном на полигоне, что располагался в нескольких сотнях метров от нашего массивного, в классическом стиле, 3-х этажного здания СКБ. Там, на полигоне, регулярно, иногда по нескольку раз в сутки, раздавался чудовищный рев, длящийся около полутора минут. Это было время стартового разгона нашего основного изделия, клона от фашистского ФАУ-2.

Родители очень не хотели меня отпускать в большой мир. Мне было всего 17. Но я бежал от их опеки и из неких романтических побуждений в маленький спецпоселок на Южном Урале, в 120 км от Челябинска. Через полгода я переманил к себе и сестру, 6-ю годами старше меня, девушку живую, артистичную, в свое время она выделяла изящные па в танцевальном Ансамбле московского Дома Союзов и нравы, бытовавшие там, таскала потом за собой всю жизнь. Сестра уже успела не совсем удачно сбежать замуж. Так что родители остались одни, вернее с моим надежным наперсником, сибирским котом Васькой, белоснежным пушистым гигантом с двумя черными пятнами – на голове и на кончике хвоста.

Время мое отпускное сразу после приезда понеслось вскачь. Дома я почти не бывал. Днем я встречался со старыми приятелями, сокурсниками, с теми немногими, кто еще оставался из большой, веселой нашей компании.

А длинные летние вечера, до первых петухов, проводил с Валею Пьянковой, местной красавицей с пшеничной косой до пояса, только что закончившей медучилище. Это была моя бывшая пассия, с которой я познакомился год назад, незадолго до отъезда из города и держал это

знакомство в большом секрете. Отношения наши тогда были легкими, приятельскими, мы даже и не переписывались. Я неожиданно встретил ее в первый же отпускной вечер на танцплощадке в городском саду, и мы уже не расставались. Девушка она была строгая, в старых традициях, всяких нежностей сторожилась, мы и целовались то редко. Она говорила: – И чего мужики в этом находят, как будто мы медом намазаны. Какие то они все липучие.

Женщина еще в ней не проснулась. Мне было очень приятно находиться в ее обществе, она вся была как будто пропитана свежестью и чистотой. Мы исходили с ней весь наш небольшой городок и прилегающие рощи, развлекаясь бесконечными разговорами. По большей части тема обсуждалась одна. Я имел неосторожность рассказать Вале Пьянковой в виде анекдота, что наш комендант, когда я пришел к нему просить отдельную комнату в общежитии для нас с сестрой, рассмеялся и сказал: – Не морочь мне голову насчет сестры, принеси документ из загса и сразу получите комнату в малосемейке или даже квартиру, как раз дом сдается. И не тяни резину. Сейчас самый удачный момент. Твоим бытом интересовался уже сам Серов.

Серов был зам. Генерального Конструктора. Чтобы он обратил внимание на одного из 500 работников СКБ – должен быть повод. И повод был. Генерального мы видели по большим праздникам в президиуме. Еще бы. Как никак – зять самого министра оборонной промышленности Устинова. А Серов иногда проходил по нашим зеркально отполированным паркетным полам. И останавливался перед кульманом, за спиной у какого-нибудь конструктора. Это что-то да значило. У меня, кроме штатного кульмана, был еще электромеханический арифмометр на столе. Агрегат был из новых, здоровенный, шумный и не очень надежный. И как-то, проходя мимо, этот высокопоставленный научный муж обратил внимание, что на моей расчетной простыне, длиной метра два с половиной, в которой пошагово просчитывалось перемещение центра тяжести во время полета ракеты, добрая треть полей остается не заполненной. Серов вдруг очень заволновался, спросил, что это означает. И я объяснил, что эти поля лишние, можно легко совместить несколько операций, выделив общий множитель для суммы. Идея была понятна, но железная последовательность шагов явно нарушалась. К тому же в простыне рассчитывался пошагово некий интеграл, а, как известно, с помощью этого математического действия легко можно доказать, что дважды два – пять. Серов оказался мужиком дотошным. Он залюбопытствовал и

вместо того, чтобы впаять мне выговор за злостное самовольство, отзвонился в соседний отдел. Оттуда, минут через пяток, появился местный математический гений, выпускник МГУ, метр двадцать с кепкой, с огромным шнобелем и десятком диоптрий в очках. Он как-то неодобрительно крякнул, но поставленную задачу просек моментально, с полчаса поколдовал в прошнурованной тетрадке, а потом, даже не глядя в мою сторону, показал вывод Серову. Оказалось: во-первых – результат был в мою пользу, во-вторых – в нашей продвинутой конторе здоровую инициативу реально поощряют. К вечеру уже был подписан приказ. Я получил прибавку в 150 руб. к зарплате (к моим 1200). дополнительные 6 дней отпуска к моим 18 и спецпитание – ежедневную бутылку молока (которого не пил) за вредность. Серов лично услышал, как грохочет наше новейшее кибернетическое чудо.

– Как вы это выдерживаете – повел он плечами, когда я при нем еще принялся добывать свою расчетную простыню.

Но Валя Пьянкова этот анекдот поняла по-своему. У нее червоточили две проблемы. Обе – с мужиками. Одна – с ее собственным отцом-алкоголиком. После смерти Валиной матери, он не просыхал уже который год – пил горькую. И требовал от дочери, чтобы она добывала водку – где хочет, или спирт, как медик. И чуть что, хватался за топор и гонялся за ней по двору. Протрезвев на короткое время, валялся в ногах и каялся. Там был еще и братик, которому она была и мамка и нянька и все, все, все. Второй проблемой был приклатненный сосед, воспылавший к ней, как только она подросла, невиданной страстью. И грозивший ее зарезать, если увидит с кем то. Она уже подумывала не переселиться ли ей на самом деле к этому постылому соседу, чтобы защититься от отца. И тут появился я со своим анекдотом. И все наши разговоры сводились к тому, что мы должны уехать вместе. И пожениться. И по моему желанию – этот брак будет нормальный или фиктивный.

– Получим квартиру и у тебя будет свой угол, когда вернешься из армии. Работу я найду. Легко. Медики везде нужны. И если хочешь, я тебя буду ждать. Я человек верный.

Я в этом не сомневался. Репутация в городе у девочки, не смотря на такого родителя, была безупречная.

Возможно, так бы оно и случилось. Но за нами начал таскаться ее ревнивый сосед. И однажды глубокой ночью он вылез из подполья. Мы как раз были на плотине. Ревнивец набросился на меня сзади и, дыхнув перегаром, начал душить, выкрикивая что-то бессвязное и злобное. Но со мной были полгода занятий во Дворце Культуры с приехавшим из

Москвы продвинутым энтузиастом по борьбе самбо. Я резко присел, уцепил его за голову и, перекатив через свою спину, шмякнул во весь рост об асфальт. Потом еще в первый и последний раз в жизни засадил лежащему в скулу носком ботинка. И тут увидел, что он откуда-то вытянул нож. Я продолжал действовать точно как меня учили – резко долбанул каблуком по костяшкам пальцев и подобрал выпавший воровской самодел, тщательно отполированный с аляповатой наборной рукояткой. Я видел подобные у нас в общежитии – и не мудрено. Вход в зону, окруженную колючей проволокой, был буквально за углом, метрах в 50. По утрам, едва забрызжет рассвет, из окна можно было наблюдать, как зеков поотрядно выводили на работу.

У меня возникло острое желание пырнуть поднятой гадостью во что-нибудь унизительно мягкое. Но я удержался и зашвырнул клинок куда подальше, в темную воду. Он как то утробно булькнул, скрываясь навсегда – говорили, что здесь, у самой плотины, была многометровая гибельная глубина. И тут случилось неожиданное. Валя Пьянкова, вмиг потерявшая всю свою неизбывную девичью нежность, злой фурией налетела на меня:

– За что ты его избил, дурак, что он тебе плохого сделал! Ну ходит он за нами и что. Он давно ходит, я знаю. Ты бессердечный человек. У тебя глаза злые. Бедный Витек, надо отвести его домой...

И пошла его поднимать. Русская сердобольная душа. Такая музыка на троих в моей программе не была предусмотрена. Я развернулся и ушел. Через три дня я уехал к себе в Златоуст. Один.

АЛЕКСАНДР ЮРОВЕЦКИЙ

Щ-стье

Сказка

Жила-была буква Щ. Её домик находился на тридевятой окраине столицы Словесного государства – города Алфавита. Соседей она видела очень редко, зато в окошке постоянно мелькали знаменитости. А, Е, И, О носились каждый день то на отечественных, то на дорогих иностранных словах и вызывали у Щ чувство обиды.

«Как хорошо быть гласной! Красивой, желанной, – вздыхала она. – Все рты раскрывают, выкрикивают, глазают, наперебой приглашают в самые разные слова...»

Щ, конечно, немного лукавила: было немало желающИх и упрашивающИх, радеющИх и даже радующИхся её согласию. А вообще и еЩё просто проходу не давали своими приглашениями в нескончаемые доклады, диссертации, отчёты... Разумеется, и в художественную литературу, и в менее художественную...

«Не гневи судьбу, завидуЩая, – с презрением ворчал Твёрдый Знак. – Востребована от А до Я и не ценишь своего богатства».

Но этим он только сильнее расстраивал Щ:

«Ну да, чтобы оттенять их красоту. Разве можно сравнить «трепетную лань» с «трепешущей»? До чего ж я большущая, страшнущая и скрежещущая! А ведь когда-то предоставлялся такой шанс! Молодой была, глупой. Мне «СЧастье» предлагали, а я даже не заметила – требовала всевозможных «ощущений» и непременно «СейЧас». Но С и Ч всё прочитали, договорились между собой и вдвоём оттеснили меня. А после, из жалости, подарили «Щедрость». Или с ехидным намёком – кто их разберёт?»

Как-то раз Щ куда-то забрали, а потом бросили в мешок вместе со всеми остальными буквами. Было душно и тесно. Мешок время от времени сильно трясло, и несчастные буквы бились и тёрлись друг об друга. В эти моменты они поднимали страшный шум, а когда затихали, часть из них исчезала.

Вдруг Щ показалось, что её зовёт какой-то ребёнок, и она целиком обратилась в слух.

– Дорогая Щ, – шептал мальчик лет десяти, – ты мне очень нужна. Мы с дедушкой сейчас играем в «Эрудит». Это такая игра, в которой перемешиваешь буквы в мешочке, а потом берёшь, не глядя, и ставишь на доску слова крест-накрест. За разные буквы дают разные очки, а если попадаёшь в цветные клетки, то эти очки умножаются. Ты – одна из самых ценных, и, если я смогу тебя вытянуть, то обязательно выиграю. Я пока что ни разу не выигрывал у дедушки. Он знает кучу слов, потому что много читал и многое повидал в жизни. Но я тоже хочу выиграть. Помоги мне, пожалуйста.

Щ не на шутку разволновалась.

– Я тоже хочу, чтобы ты выиграл! – закричала она и стала изо всех сил расталкивать другие буквы, пытаясь пробраться поближе к верху.

Но те хотели вырваться из мешка ничуть не меньше. Правда, им было всё равно, кто их вызволит – лишь бы поскорее.

– И я хочу наверх! – завизжала рядом Ш. – Куда прёшь, бессовестная? Я тоже – единственная и ценная! Аккурат десять очков – ничем не хуже тебя!

Щ стало как-то неловко, в ней сразу с укором заговорила «Щепетильность», а Ш, почуяв это, мигом пустила слезу.

– Бог с тобой, – вздохнула Щ, – хочешь – иди. Перебегать дорогу не стану.

А про себя подумала: «Только бы эта нахалка не разревелась – краска потечёт, и превратится она в Щ. Возьмёт её славный мальчуган и выиграет. Не в победе ведь дело – он её любить будет, а я опять счастье провороню».

В этот самый момент Ш схватил дедушка. Он с удовольствием выставил «шар» и получил аж двадцать шесть очков за две буквы. Так вышло, потому что у него была А, и он поставил её на синюю клетку, которая удваивает очки за всё слово. Повезло глупой и вздорной Ш. Не то чтобы очень крупно и без особых заслуг с её стороны, но результат был весомым. Да и кто через пару ходов припомнит подробности?

Внук боролся изо всех сил, но разрыв с каждым ходом неумолимо рос.

– Миленькая Щ, – вполголоса не терял надежды он, – я так мечтаю тебя заполучить...

Желанная буква слышала его и отчаянно хотела попасть в нежные пальчики после каждого встряхивания мешочка. Но все буквы были одинаково гладкими, скользкими, и, расталкивая друг друга, зачастую срывались во тьму, когда казалось, что они уже надёжно сидят в руке игрока.

Щ была противна мелочная возня товаров. Особенно раздражали гласные-близняшки, пытавшиеся прорваться скопом. Она слышала, как сверху доносились досадные возгласы игроков, вытаскивавших по несколько Е или И кряду. Щ сидела в самой глубине, изо всех сил пытаясь внушить мальчику своё местонахождение. Она была настолько уверена в разумности этого метода, что почти не удивилась, когда вдруг оказалась в ладошке ребёнка. На самом же деле с каждым ходом темница пустела, и шанс вытащить любую из оставшихся резко увеличивался. Однако игра подходила к концу. На руках игроков оставались, конечно, буквы, да и прикуп не до конца опустел, но выставить новые слова было уже почти невозможно. А дедушка вёл с ужасающим отрывом в шестьдесят очков. И тут внук с победоносным видом поставил свою спасительницу на жёлтую клетку! А, значит, цена такой буквы утраивалась! Мало того, она примыкала к пересечению давным давно выставленных «крик» и «блик». Получились «щи» вправо и вниз! Шестьдесят два очка одной буквой!

– Я так хотел Щ, я так её ждал! – горячо восторгался мальчишка. – Это самая лучшая, самая замечательная буква на свете!

Щ нежилась в своей золотой клетке и с любовью глядела на ребёнка. Ей стало так тепло, так уютно, так радостно... Почти, как дедушке.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК (ПОТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ)



90-е годы конца XX-го века в России без преувеличения можно назвать временем интеллектуального Ренессанса. Особое место в этом интереснейшем процессе занимает частное издательство «Водолей», основанное в 1991 году сотрудником Областной Томской библиотеки Евгением Кольчужкиным.

В первую очередь «Водолей» обратился к тем поэтам, писателям и философам, которые по разным причинам в течение десятилетий были обделены издательским вниманием, или просто умышленно преданы забвению. Таким образом, «Водолей» продолжил традиции таких символистских издательств начала прошлого века как «Скорпион», «Мусагет» и т.п., переиздавая в первую очередь выходявшие в них книги. Для такой грандиозной задумки понадобились тесные контакты с филологами, переводчиками и авторами.

С 2002 года «Водолей» получает постоянную прописку в Москве. Особый вклад в деятельность издательства внес его главный редактор, писатель, поэт, переводчик, историк поэтического перевода Евгений Витковский.

Основная сфера деятельности издательства – Серебряный Век (серия «Серебряный век. Паралипоменон»). Это - практически пропущенные, забытые страницы Серебряного Века, изданные добротнo и с любовью. Начинаясь эта серия с книги Лидии Алексеевой, двоюродной племянницы А. Ахматовой, за которой последовали тома С. Соловьева, М. Тарловского, С. Петрова, Б. Нарциссова и многих других. Всего к изданию намечено около 200 почти забытых авторов. Открываются совершенно невероятные вещи, каждая книга издательства – это неожиданные встречи, истории, судьбы, достойные отдельного обстоятельного разговора.

Альманах «Витражи» продолжает рубрику «Серебряный век, пропущенные страницы». В этом номере представлен «последний поэт Серебряного Века» – Леонид Латынин

РЕ-МИНОРНЫЙ ХОРЕЙ

*Возле самого зенита,
Неподвижна, как луна,
Легким облаком прикрыта,
Тень бессмертия видна.*

Леонид Латынин

Мы казались веку анахронизмом. Но век кончился, а мы остаемся (в том, что написано – уж точно, но и не только). Век сам оказался анахронизмом, более того, его, возможно, вовсе не было. Впрочем, с нами ли с первыми такое приключилось? Нет даже обломков той как-бы-культуры, к которой нас так или иначе причисляли. Так что наши имена писать не на чем. Разве что на обложках?

Слава Богу, нынче имена пишут именно на них, и никто из нас на большее претендовать не вправе. Символами ушедшего века оказались писатели, у которых даже могил нет, чтобы на них цветы положить. Ни у Мандельштама, ни у Цветаевой, ни у Сигизмунда Кржижановского, ни у Нины Берберовой. Причины исчезновения могил у всех разные, итог одинаковый: на книжную полку цветов никто не кладет. На нее книги ставят, а если эти книги читаются – какая ж это могила, какая Смерть? «Ад, где твое жало?..» Впрочем, вот цитата из *почти* современника:

«Всякий ищет свое, — думал я. — Собака кость с остатками мяса, мать удачи для сына, сын — славы. Безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви. А чего ищущу я? Ничего. Я люблю только точно *писать* жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: «А ведь он дышал и чувствовал совсем так же, как дышу и чувствую я. Мы — одно!» И подумал бы обо мне, как о друге, как о брате. Но, Боже мой, чего же, в конце концов, я хочу? Не больше, не меньше, как бессмертия!» Это слова, которыми кончается рассказ дальневосточного классика Арсения Несмелова (1889-1945) «Ночь в чужом доме»: напечатан был рассказ в Харбине в августе 1945 года, через две недели город оккупировали советские войска, Несмелов, колчаковский белый офицер, был арестован и вывезен в СССР, где скоро умер в пересыльной тюрьме в Гродекове близ Владивостока. Случайно ли такие слова оказываются в жизни человека последними? Кстати, у Несмелова тоже ведь нет могилы. Но есть собрание сочинений. Только слова и остаются: самая бесплотная часть человека, которую удобней называть душой. Вот вам и доказательство ее бессмертия.

В советской литературе почти любой талантливый человек попадал на положение маргинала. А когда кончилось все советское, оглянулись читатели и с удивлением обнаружили, что маргиналов тех стоит в истории... целая магистраль. Критик и литературовед Владимир Турбин испытывал ужас от того, что именем Велимира Хлебникова где-то назовут улицу. Наверное, столь же дико прозвучала бы «улица Георгия Иванова». Но виртуально, «в духе» эти улицы есть, и поэты встречаются на их

перекрестках. Больше того, даже самому поэтом быть не надо, чтобы на такой перекресток выйти – но уж там с поэтом точно повстречаешься. Мне такая встреча выпала: составляя бесконечные антологии, я читал стихи тех, чьи имена для меня долгое время были *всего лишь* именами. Вот так я и встретился с Леонидом Латыниным. Сперва меня пленило сходство каких-то его интонаций с тем самым Георгием Ивановым, который у меня все никак не мог выйти даже скудным однотономиком (чуть позже вышел роскошным трехтономиком, но это как-то само получилось). Потом показалось, что сходство у них довольно-таки внешнее. Впрочем, после того как прочитались две-три сотни латынинских стихотворений, сходство явилось снова, но как раз глубинное. То самое, где на уровне слов-символов не просто «шумит чепуха мировая, / Ударяясь в гранит мировой», а где «кончилась любовь бессмыслицей войны», и где не сразу разберешь, что первая цитата из Иванова, а вторая – из Латынина. Впрочем, когда разберешь, это как раз и перестанет для тебя быть важно. Ибо некая *единая* поэзия важнее частных: в искусстве прогресса нет, а кто сомневается, пусть перечитает Катуллу.

Прогресса нет, но хамство бывает. Перечитывая стихи Латынина и его прозу, я захотел поглядеть – что пишут о нем составители поэтических антологий, избыточно многочисленных на исходе века. Не считая, понятно, тома «Строфы века», который составил Евгений Евтушенко, а я был научным редактором этой книги: с тем, что написал Евтушенко в 1993 году о том, что в стихах Латынина – «та же самая самоуглубленность, может быть, препятствующая распознаванию», – я как с этим был не согласен, так не согласен теперь, для меня эти стихи – образец той самой неслыханной простоты, которая вовсе не ересь и в которую дай-то Бог власть каждому. Так вот, ждал меня некий шок: в большинстве просмотренных мною антологий Латынина *нет* *вовсе*. Поспрашивал составителей: что, не понравилось им, или кто-то поругался с кем-то?.. И по меньшей мере трижды получил я один и тот же ответ: «Ну, всех включить нельзя». Это хамство, конечно. Но это и судьба маргинала, который, как говорил Сигизмунд Кржижановский (о себе), живет в таком отдаленном будущем, что ему самому оно кажется далеким прошлым.

Хоть и есть попытки извлечь из прошлого не культуру, но *масс-культуру*, но ничего хорошего из них не выходит. Сколько ни напрудили мегабайт за своими компьютерами нынешние литературоведы о том, что маркиз де Сад хороший писатель – читать его все одно невозможно, и временно вынутый из забвения он снова и снова будет в него возвращаться, а в памяти только и останется, что прозвище «секс-дедуля» да важный факт, что был маркиз прямым потомком той самой Лауры, которой сонеты писал Франческо Петрарка. И роскошный, юбилейный, сороковой номер эстетского журнала «НЛО», с гордым грифом «БУЛГАРИНСКИЙ НОМЕР», не перевесит ни одной пушкинской эпиграммы, – даже и не пушкинской, а чьей угодно, да еще того факта, что читать быстрого разумом Фаддея скучно до невозможности. Зато вдруг оказывается, что отец двоих декабристов Михаил Муравьев – поэт чуть ли не первого ряда в русском XVIII веке: а ведь в прославленной антологии Николая Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах» (1888, издание третье, исправленное и дополненное) никакого Муравьева *вовсе* не было. И думал ли кто, что тот же самый XVIII век окажется для Англии прежде

всего эпохой Кристофера Смарта, душевнобольного поэта, жившего в Бедламе, – нечего и говорить, что для него места в антологиях тоже почти два столетия не находилось. Водоворот времен перевешивает вывески не хуже андерсеновской бури, и набоковский Кончеев, сокрушавшийся, что нет славы, а есть «провинциальный успех» в эмиграции, и добавлявший: «В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдет...», лукавил: он отлично знал, какое огромное место займет его поэзия в грядущей России. Я не Набоков, а Латынин не Ходасевич, но воображаемая наша беседа явно имеет место.

Строки и строфы Латынина иногда приходят на ум, привязываются и бормочутся сами по себе, в отрыве не только от автора, но и от контекста. Притом из разных стихотворений порой проговаривается несколько отдельных строк, складывающихся во вполне законченное целое. Ритмически автор предельно скуп, и его любимый четырехстопный хорей неизменно звучит в ре-миноре: это не ре-минор токкаты Баха, но и не похоронный марш Шопена, это его собственный ре-минор, быть может, только и родственник такому же хорею Георгия Иванова: «...Что никто нам не поможет, / И не надо помогать». И наговаривается: «Не бросай меня в начале / Жизни, света и печали...», – «Будет только шум рассвета, / Месяц май, начало лета...», – «Незатейливая глина, / Жизни здешней половина...», – двустипхи из стихотворений, разделенных десятилетиями, слагаются в какое-то новое целое, неожиданное живое, трепетное и узнаваемое. Это очень редкое свойство (кто хочет – пусть пройдет по русской поэзии и меня проверит), не плохое и не хорошее само по себе, а просто *качество*, присущее *стихии*, и потому не нуждающееся в оценке. Подобных особенностей у поэзии Латынина много, а у его прозы еще больше, и они слагаются в некое весьма сложное целое, почти не поддающееся характеристике на вербальном уровне. Прямая апелляция к чувствам помимо слов, пресловутое «суггестивное лирическое начало» бьется в этих стихах естественно, как пульс, притом практически никак не продолжая линию отца-основателя русской суггестивной лирики, Афанасия Фета, – да и слава Богу, у Фета продолжателей и так хватает. Обмолвился недавно один довольно серьезный философ, что русский язык дан русской литературе «на вырост», оттого и не приживается в нем верлибр, что нет пока нужды отказываться от ритмики и рифмы. Ведь и впрямь не приживается! Блистательные образцы верлибра на страницах тысячестраничных антологий того служат доказательством то ли грустного, то ли забавного, но в любом случае неоспоримого факта: ни единого русского поэта-верлибриста среди великих русских поэтов нет. Есть отдельные верлибры у великих поэтов, и есть средние верлибристы. Только и всего... А рифму, особенно же ритм и аллитерацию русский язык еще только-только освоил.

Верлибры (или что-то на них похожее) у Латынина тоже есть, но из них прямая дорога не в священное ночное бормотание, именуемое стихами, а в прозу, которую он успешно пишет. Оставляя в стороне вопрос о масштабах дарования того или иного прозаика, скажу, что любой часто перечитываемый прозаик рано или поздно начинает в моем сознании распадаться на отдельные слова и звуки, после чего искусство исчезает – и происходит это со «Страшной мезью» точно так же, как с «Хазарским словарем». Единственная разница между стихами и прозой (по крайней мере – для меня, а другой

точки отсчета у меня нет) та, что «одну молитву чудную» слишком часто наизусть твердить нельзя: она или перестанет быть чудной молитвой, или... да, вот именно: обнаружит свою поэтическую природу, как происходит это, прости Господи, со словами Спасителя в Нагорной проповеди, и не так уж еретичны нынешние переводчики Библии, которые считают «Отче наш» – стихотворением. Проза Латынина в этом смысле – безусловно то, что называется «прозой поэта», и тут Георгий Иванов его ближайший родственник, ведь и «Петербургские зимы» при внимательном прочтении обнаруживают свою поэтическую природу, начиная от зачинов и рефренов и кончая чисто поэтической метафоричностью. Но на прозу самого Латынина псевдо-проза Георгия Иванова повлияла очень мало. *Кто именно повлиял* – увидит любой читатель на пятой ли, на десятой странице, и так же, как я, не захочет поминать все то родство, которого сторониться автор не волен и от которого не отчуждаешься самими скучными, в стиле Жака Деррида, декларациями. К счастью, Латынин ни одной такой декларации не сочинил и, Бог даст, не сочинит.

Впрочем, его пример был счастлив лишь тем, что успел получить имя. Имена своим героям Латынин дает редко и предельно продуманно, поэтому буквально каскад бесконечного родословия на страницах «Спящего во время жатвы» оставляет читателя поначалу в некотором ужасе. Но лишь до тех пор, пока за именами не проступит их *заклинательная* природа, кстати, точно отмеченная французским славистом Жоржем Нива.

Какая же это проза: «И Ставр взял нож, что лежал на столе возле кровати коричневой, как шоколад фабрики Ротфронт, еще в невысохшей крови и Моисея, и Исаака, и Седекии...». Если уж искать прозу, то она такая: «В зрелые годы мириться легко, что не всегда на столе молоко...». Между тем первая фраза – цитата из романа Латынина «Ставр и Сара», вторая – из стихотворения «Долг». О прозе Латынина, к слову сказать, написано довольно много и нередко с пониманием оной. Но с постоянной оговоркой, что «борщ отдельно, мухи отдельно» – проза там, стихи сям. Я же, давно и прочно уверовав, что искусство реальной жизни и жизнь искусству неумело подражает, долго пытался выяснить, где у Латынина начинается проза и где кончаются стихи. И пришел к ответу, что искать эту границу аморально: так же аморально, как читать прозу поэта, игнорируя его стихи, – чем известная часть критиков, писавших о Латынине, изрядно согрешила. Один из весьма острых людей оговорился как-то, что «Латынин всё меньше чувствует себя стихотворцем». Вынужден процитировать бессмертную реплику Фагота-Коровьева – «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» Латынинская проза его же поэзию никак не упразднила: каждый писатель, променявший по особенностям своего дарования поэзию на прозу, вздохнет и Латынину позавидует. Есть предметы, о которых можно говорить и так, и эдак, и стихами, и прозой. Только не каждому писателю дано точно знать – когда именно и как. Латынину, кажется, это дано: остается удивляться и завидовать.

О творящемся между двух зеркал колдовстве сколько уж написано и стихов, и прозы. Наверное, последователю Георгия Иванова, с его «Друг друга отражают зеркала, / Взаимно искажая отраженья» было этой темы не миновать. Но у Георгия Иванова дальше этой констатации дело не идет, дальше он всегда говорит о совсем другом и отчасти постороннем (о добре, зле, поражении и тому подобных вещах, говорить о

которых и принято, и традиционно). Но Латынин разместил друг против друга два *кривых* зеркала: «Кривое слева и кривое справа», между зеркал же обнаружился стакан невыпитого чая, несколько созвездий, ну, и еще кое-что. Это его собственный мир, и вход в него затруднен, о чем писал Евтушенко. Но истинная поэзия никак не проходной двор, и самый трудный вход в ней тот, на который семь столетий назад набрел флорентинский изгнанник, чье имя, как и Господне, не следует поминать всуе. Между тем этот мир имеет несколько довольно близких к нему, как нынче говорят, «параллельных», и я совсем не уверен, что *мироформист* (спасибо Роджеру Желязны и его переводчикам – есть чем заменить претенциозное слово «демиург») Латынин об этих родственных мирах особо задумывается. Говорю я прежде всего о главном среди зарубежных русских учеников Георгия Иванова – об Игоре Чиннове, подарившем мне полтора десятилетия дружбы и переписки, завещавшем мне свою личную библиотеку русской поэзии. Именно с его поздними стихами восьмидесятых годов сближаются стихи Латынина, – то ли случайно, то ли совсем не случайно написанные в восьмидесятые годы. «Заблудившихся аргонатов» (выражение еще одного эмигрантского классика – Валерия Перелешина) в эти годы стала как-то неожиданно сводить центробежная сила искусства – если не всегда под переплеты одних антологий, то на общую книжную полку, уж на одну-то точно, на мою собственную. И смешиваются в памяти хорей Латынина и Чиннова, к приведенным выше двустихиям цепляется: «На обугленной стене <...> темный дым и тень в окне», «Если выйдем из тюрьмы, / То рассказ напишем мы», «Знаешь, я почти забыл <...> Мокрый мостик без перил» – память, переполненная стихами, подсказывает, что голоса-то у поэтов разные, разный жизненный опыт, судьба и взгляды – но общего все-таки очень много: отнюдь не один лишь заколдованный ре-минорный хорей, и не один лишь анненковский портрет Георгия Иванова вместо закладки между двумя любыми любимыми страницами. Общее – то место, где миры соприкасаются, где можно перешагнуть из одного мира в другой. Это уже само по себе, кстати, чудо. Наверное, если покопаться в памяти, то отыщется и еще один-два астероида со сходным микроклиматом. Но на *пояс астероидов* не наберется. Просто у величайших планет, судя по Солнечной системе, непременно есть спутники. Именно в Космосе – который сам по себе символ одиночества – происходит то же самое, что в литературе, и то ли дух человеческий проецирует в себя мироздание, то ли как раз наоборот.

Лампадка (все же, наверное, свеча) Серебряного века оказалась в поэзии тем огоньком, которого хватило русскому искусству на всю долгую полночь XX века. Латынин часто говорит об эмиграции как об *иммиграции*, откровенно заявляя о себе как о внутреннем эмигранте, – по крайней мере в поэзии. Причем именно в стихах, опубликованных в советские годы и в СССР, это было совершенно ясно видно. Будь наша цензура покультурней, она бы этих стихов в печать не пропустила. Но культурная цензура – оксюморон, жареная вода. Цензура, конечно, закручивала гайки, но знать не знала, что нарезка давно сорвана, и усилия пропадают впустую: *поэт* не может быть учеником *Лебедева-Кумача*.

Впрочем, называть Латынина впрямую учеником Георгия Иванова я бы не рискнул, разве что в том высоком значении слова «ученик», которое нынче почти вовсе забыто, в

котором исключено понятие «подражатель». О последних остроумно сказал Сальвадор Дали – «Блаженны подражатели – им достанутся наши недостатки». Наплодившееся в поколении девяностых годов племя подражателей эмигрантских поэтических школ (вплоть до прямой имитации парижской ноты или казачьей поэзии, существовавшей в советское время тоже только в эмиграции) получили в наследство преимущественно то, что им посулил гений сюрреализма. Не хочу называть их по именам, многие давно этими недостатками переболели, да и называет кое-кто из них в числе своих учителей и меня, и Латынина. С учениками кумиров – уж и совсем беда, эти просто заняты копированием недостатков, этакой хоровой декламацией. Но к счастью, этой болезнью семидесятники вовремя переболели.

«Оговорка по Фрейду» – на Западе считается, что это русское выражение. Кого это я назвал семидесятниками, такого и понятия-то в литературоведении нет! Нет, но... будет. Кого объединят под этим ярлыком литературоведы грядущего – понятия не имею, и строить предположения боюсь. Алдановский Пьер Ламор говорил: «Нет суда истории, есть суд историков, а он меняется каждое десятилетие». И в литературоведении то же самое, о чем уже было сказано. Однако выйти за пределы своего времени никому из поэтов, писателей, художников не дано. Даже не вполне порою законная грамматика Латынина, загадочные управления слов и не столь уж редкие амфиболии несут на себе его авторское клеймо.

«Я с вами проститься едва ли успею...» написал один поэт, а другой много лет спустя обронил – «Мы с вами сойдемся, мой милый, едва ли...»: похоже-то похоже, да только ничего общего. Первый поэт, эмигрант второй волны Иван Елагин, конструировал свой мир чисто театрально, меняя декорации и кулисы, второй – Леонид Латынин, эмигрант разве что внутренний, менее всего заботится о подмостках. У людей с одинаковым цветом кожи и глаз могут не совпадать группы крови. Они и не совпадают: поверьте мне, двухтомного Елагина я составил и издал практически без посторонней помощи, Латынина прочитал не столь полно, но честное слово – весьма основательно.

В 1974 году Леонида Латынина приняли в Союз Советских писателей, – было ему тогда 36 лет. Смешно нынче вспоминать об этом – в те времена это была спасающая от обвинения в тунеядстве лазейка. Девять лет спустя туда же приняли меня (мне та же лазейка требовалась, все под одним богом – с маленькой буквы – ходили). Что это нынче означает? Пожалуй, только то, что мы, дышавшие воздухом эмиграции, всерьез решили никуда не ехать. Семидесятые годы стали временем возникновения третьей волны русской эмиграции, – факт из нынешнего школьного учебника. Вот и получается еще один оксюморон-страшилка: оба мы... эмигрировали в Союз Писателей. Где-то он теперь? Взносы мы куда-то какие-то платим, но даже с круглыми датами никто из этой организации не поздравляет. По крайней мере нынче ясно, что к поэзии факт вступления в ССП – в исторической перспективе – не имеет отношения никакого. Можно бы и вовсе забыть об этом. Но есть биография «Родился... учился... женат, дети, внуки...» Хорошо бы вовсе про этот «Союз Писателей» забыть. Однако это та самая «песня», из которой никак не выкидывается ни слова. Даже если песня плохая, а слово такое, что в приличном обществе его не вымолвишь.

Нечего нам жаловаться: если мы не дожили до демократии (и не уверен, что доживать до нее я хочу), то до свободы мы дожили. До свободы писать, что хочется, издавать без единого цензурного искажения (так, что и опечаток не исправляют), и даже до свободы, которую вправе применить к нам читатель: он вправе нас не читать, – хотя кто-то же раскупает нынешние не очень тиражные наши книги, этот факт никаким конем не объедешь, как по другому поводу говорил Иван Елагин.

Ну и ладно. На худой конец я точно знаю, что меня читает Леонид Латынин. А я читаю Леонида Латынина. И – нечего прибедраться – у каждого из нас, и не только у нас – сотня читателей наберется. И нет у нас времени горевать над крахом русской культуры: во первых, нет никакого краха, во вторых – нам еще много чего написать надо – до того дня, когда окончательно догорят наши лампадки. Но и тот день будет только очередной датой в биографии, а никак не концом всего: на то воля Божья.

ЛЕОНИД ЛАТЫНИН



Первым учителем был Пётр Константинович Сумароков, сын священника. Первыми книгами были Библия и несколько сотен томов теологической литературы из домашней библиотеки, как рукописных, так и изданных в XVIII—XIX веках. В 1964 году окончил филологический факультет МГУ. В 1962-74 годах работал в издательстве «Художественная литература», на радио — в испанской, затем бразильской редакции, и, наконец, в отделе поэзии журнала «Юность».

После 1974 года много времени провёл на русском Севере, занимаясь изучением иконографии и промыслов народного искусства.

В восьмидесятые годы работал над переводами среднеазиатских поэтов. Автор романов «Гримёр и Муза», «Спящий во время жатвы», изданных в Европе и Америке.

Я только ночь готовился к эпохе,
Не пил, не ел, не требовал огня,
А только шил из междометий вздохи
И из того, что делало меня.

И день пришел – и будничней, и праздней,
Любого дня подобие насквозь,

И чей-то стон, кривой и безобразный,
В меня воткнул прозрачную ось,

И я вишу на выдохе без вздоха,
Ворча, на ось наматываю дни –
По имени прекрасная эпоха,
По отчеству спаси и сохрани.

М.Тереховой

Сад ты мой, больной и белый,
Свет ты мой – на склоне дня.
Жест по-детски неумелый...
Вспоминай меня.

Двор. И выход в переулок.
Вечер долгий без огня.
Лес не прибран, гол и гулок...
Вспоминай меня.

Все неправедные речи.
Речка. Польшья –
Место нашей главной встречи...
Вспоминай меня.

Позабудешь – Бог с тобою,
Все у нас равно.
Опускаюсь с головою
В трезвое вино.

Ах, какая там удача
Среди бела дня –
Вечер. Снег. Чужая дача...
Вспоминай меня.

Что за сила мчит нас лихо,
В разны стороны гоня?

Еле слышно. Еле. Тихо.
Вспоминай меня.

Невыносима жизнь, но смерть невыносимей.
Она вполне права, живое не любя.
Ты с каждым днем родней и с каждым днем ранимей,
И я тобой, увы, ранимее тебя.

Роняет лес листву устало и неспешно,
И белки легок скок среди пустых ветвей.
И мне смотреть светло, родно и неутешно,
На этот новый взгляд, вовне, из-под бровей.

А жизнь еще гудит, проста и нелюдима,
Торопится истечь навзрыд и невпопад,
Где призрак золотой разрушенного Рима,
И все, как веру и историю назад.

Ну что мне делать с тем, что будущего нету,
Что прежний, старый Бог, у нового в долгу.
Я опускаю плот в расплывчатую Лету
И оставляю смерть на этом берегу.

22 сентября 2005

Пуста дорога и просторна,
Мертва дорога и крута.
И жернова смололи зерна.
Все мимо рта.

А где-то там, за гладью Стикса,
Живут и воют на луну.
И бедный игрек, жертва икса,
Опять играет с ним в войну.

Там строят домны и заводы,
Куют орала и мечи.

Колдуют до утра уроды
Над картой мировой в ночи.

А здесь земля и перегнои,
Здесь черепа и вечный сон,
Развалины забытой трои
Со всех сторон.

Здесь надо мной кружит всевышний,
И хладна белизна ланит...
Но эвридики зов чуть слышный
На белый свет меня манит.

17 сентября 2005

Колыбельная до-диез минор

Евгению Витковскому

В мире рыб полуночное пенье,
Хороводы, медленная тьма,
Бедное негромкое мгновенье,
Майская короткая зима.

Уплывают в теплые закуты
Свиньи, плавниками шевеля,
Забывая долгие минуты
В трюме молодого корабля.

Снова опускаются туманы,
Шепчутся ворона и треска,
На песке осыпались романы,
Буквы и страницы из песка.

Водоросли взрослые застыли,
Вымытые Богом поутру,
Спины в пене, еле руки в мыле,
И фонарь немый на ветру.

9 апреля 2001

Ныне и присно во веки веков
Жить мне пристало в стране дураков,
Милых моих дорогих дураков,
Ныне и присно во веки веков.

Как я любил их и скопом, и врозь,
Мудро любил, и любил на авось,
Нежно любил и безбожно, увы,
Тайно любил на задворках Москвы.

Годы прошли, как лавина в горах,
Коротко так, как небрежное "ах",
Как еле-толстый в руках альманах,
Кратко – в уме, но короче – в умах.

Бедными были, а стали – больны
Те дураки моей милой страны,
Всех разбросало, как ветром листву –
Прежде во сне, но потом наяву.

Некому вспомнить случится потом,
Как я любил свою землю и дом.
Некому будет молиться: «Еси,
Имя забудь, но когда-то спаси», -

Бедные речи, пустые слова,
Что по закону сложил естества,
Просто сложил на обрывках бумаг
Точно такой же бессмертный дурак.

Я мучим не виной – ее переживу,
Я мучим не судьбой – она уже вершится,
Как, посмотри, серебряная птица
Уходит равнодушно в синеву.

Я мучим не тобой – вино стремится в мех.
Твой путь и чист, и прям, как мой – греховен.
Я мучим глухотой, какой Бетховен
Страдал, умея слышать лучше всех.

Да, глухотой к дождю, что моросил,
И к мысли долговечней пирамиды.
Я глух к тому, кто мне чинил обиды,
И глух к тому, кому их наносил.

Я виноват... Я мучим глухотой...
Но если б знать на чьем-нибудь примере,
Что глухота моя, пусть в самой малой мере,
Поможет слышать то, что слышал я душой.

Тихий омут возле мельницы,
Ивы падают отвесно.
Все наверно перемелется,
Утрясется, переменится,
Будет даже интересно,
Что когда-то било-мучило
И по свету помотало.
Было счастье мне поручено,
Из него я сделал чучело,
И того потом не стало.

Все, конечно, перемелется...

ЧИТАЯ ПРУСТА

Свято место не бывает пусто.
Пустота заполнит пустоту.
Выпьем пива, почитаем Пруста
И впадем, как в ересь, в простоту.

Вот рояль, к нему, конечно, ноты,
Десять пальцев, музыки кусок.
Нам сыграют польку идиоты,
Всунув в звуки детский голосок.

Трали-вали – не жили, как жили,
Через пень колоду, кое-как.
Или выживали. Чаще – или:
В руки – свечку, на глаза – пятак.

Кто остался, мается и ныне,
Еле жив, уставу вопреки.
Господи, за что в Твоей пустыне
Так редки и кратки родники?

Дует ветер, музыка сочится,
Булькает холодная вода.
Неужели больше не случится
Ничего на свете никогда?

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА



ЮРИЙ БЕЛИКОВ



Родился в Пермской области. Окончил пермский Госуниверситет. Публиковался в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». Принят в Союз российских писателей по устной рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», Впоследствии работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы» - и «Прости, Леонардо!» Третья книга стихов выходит в 2007 году и

удостаивается всероссийской литературной премии им. Павла Бажова. Стихи Юрия, кроме российской и зарубежной периодики, печатаются в антологиях «Самиздат века», «Антология русского верлибра», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России», «Молитвы русских поэтов», изданиях портала «45-я параллель». В 2013-м году вышла четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду». Она отмечена двумя престижными наградами – премией имени Алексея Решетова и всероссийской общенациональной премией «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига.. Живёт в Перми.

ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ

(Разговор с Валерией Новодворской)

Фото автора

Обывательский отклик был zelo устойчив: Новодворская – шепутная, поперёшная тётка, которую не переговорить. Даже теперь, когда она сама не может это ни подтвердить, ни опровергнуть. Архивы российского телевидения сохранили преимущественно её крупные планы, увековеченные, очевидно, в различных ток-шоу для того, дабы придать Валерии Ильиничне облик юмористически-отталкивающий. А мне вот, представьте, довелось лицезреть Новодворскую на высоких каблуках. Это было в 2005 году в редакции московского журнала «Новое время», в редколлегию которого она входила. Валерия Ильинична сидела за письменным столом, вычитывая некий материал (тогда-то я и сделал этот снимок!), и вдруг поднялась и двинулась по комнате, внутренне вполне по-женски конфузясь, что ваш покорный слуга превращается в

невольного свидетеля перемещения её критической массы. Но я-то обратил внимание на другое – на то, что эта масса перемещалась на высоких каблуках!

Не переговорить?..

В некотором смысле всё так: я Валерии Ильиничне цитирую



Мандельштама, отбывавшего ссылку в Чердыни, она – мне Пастернака, очутившегося в Перми: «Синее оперенья селезня сверкал над Камою рассвет». И тут же интересуется у меня как у аборигена:

– А сколько Кама в ширину?..

Оказывается, Новодворская в своё время переплыла Днепр, а он вширь – с километр. Когда же я ей поведал, что Кама в иных местах достигает и двух, а то и трёх километров, молвила:

– Нет, у меня руки устанут!..

Всё-таки смирилась. То есть, конечно, выйди Валерия Ильинична на Каму, она бы – как председатель российского центрального координационного совета партии «Демократический союз» – нашла бы способ её покорить. Сравнила бы, к примеру, с Кама-сутрой, закованной в наручники мостов. И этому бы я не удивился. Но что меня поразило – так это признание «бескомпромиссной» Новодворской, почти беззащитный её вздох:

– Мой любимый писатель – Грин! Жить без него не могу!..

В начале 70-х она приобрела на чёрном рынке за 80 рублей (приличные по тем временам деньги) собрание сочинений Александра Грина «в серенькой обложке с красными и белыми буквами». С той поры постоянно перечитывала эти книжки.

Я толкую Валерии Ильиничне про бродяжничество Грина по Уралу, про то, как в одночасье в этнографическом Парке истории реки Чусовой был открыт гранитный памятник великому писателю-романтику, установленный прямо в речке Архиповке, как Грин, по его собственному признанию, впервые почувствовал себя писателем не в Крыму, а на Урале – рассказывая сказки лесорубу Илье...

– Да-да-да, – подхватывает Новодворская, по ходу уточняя про лесоруба:

– Он ещё пельмени стряпал!..

– А помните, как напарник Грина подговаривал убить хозяйку, у которой они определились на постой? – пытаю я свою собеседницу, словно

именно она была той самой едва не порешённой хозяйкой. И – снова, будто только что прочитала:

– Да-да-да, потому что его напарник думал, что у неё есть деньги! А Грин потом хозяйке во всём признался – она ещё побежала к уряднику, а сам Грин ушёл пешком – в избах молоко покупал... Он-то Урал, в отличие от меня, повидал. Я через Урал только ехала по Транссибу – всё пыталась самоцветы из окошка разглядеть. Ничего, естественно, не увидела, а Грин... Хорошо, несчастный, до конца 30-х годов не дожил. Но я никогда не думала, что там у вас, на Урале, будет памятник Грину!.. Голос Новодворской... Так скрипит сверчок или дверь той самой избы, где останавливался во время своих уральских скитаний Грин...

– Валерия Ильинична, в Перми живёт 12-летняя девочка Саша, говорящая с интонациями Новодворской. Вот слушаю я эту девочку и думаю: «Наверное, Новодворская стала в России уже культовой фигурой?»

– А я думаю, этой девочке не дают покоя лавры Максима Галкина! Но я не советовала бы ей идти по наметившейся стезе, потому что Галкин – крайне неаппетитная и не рукопожатная фигура – я бы ему руки не подала! Это очень большая дешёвка – хуже, чем отец Райкина, который смеялся над домработницами, над не пришитыми в ателье пуговицами, над дефицитом товаров, и его охотно приглашали на свои вечеринки партийные боссы. Попробовал бы он посмеяться над идеалами социализма, над чем-нибудь вроде введения войск в Чехословакию! Но у Райкина было хотя бы то извинение, что его могли посадить в тюрьму, если бы он стал над этим всерьёз смеяться.

А у Галкина вообще нет никаких извинений. Кстати, он очень хорошо зарабатывает на корпоративных вечеринках. И отнюдь – не крамолой. И даже – на вечеринках номенклатурных. Он смеётся над тем, над чем дозволено смеяться. И всех своих персонажей в это невольно вовлекает. И меня – в том числе. Если бы я могла ему запретить поминать моё имя, говорить моим голосом, я бы это сделала. Получается, что я всё время выясняю отношения с тем же Зюгановым и абсолютно не занимаюсь Путиным. Галкин берёт ту составляющую, которая сейчас разрешена. А всё остальное просто отсекает. И при этом он хочет сойти за сатирика? И говорит моим голосом ужасные пошлости...

Выходит, я такая же, как он: так же приспособливаюсь. Мне это крайне противно. Я ненавижу Галкина. Если бы можно было подать иск в какой-

нибудь международный суд!.. Но, я полагаю, никакой международный суд не примет такого иска – слишком тонкая материя...

– *А подать в наш суд?..*

– В наш суд я принципиально не буду подавать после истории с Лебедевым и Ходорковским, Сутягиным и Даниловым. Я не считаю российский суд правовой инстанцией. Поэтому Галкин может вытворять всё, что ему захочется, - я к этому не имею никакого отношения. Если ваша девочка стремится к той же карьере, то флаг ей в руки! Из неё явно ничего хорошего не выйдет... Вы определили меня в «культовые фигуры», потому что девочка говорит моим голосом?.. Нет, скорее, это стихийное бедствие...

– *Но согласитесь, сейчас существует целый набор культовых фигур, и людям, на них взирающим, равно как и самим культовым персонажам, это весьма нравится... Взять ту же Машу Арбатову или Виктора Ерофеева...*

– Беда в том, что я – не Маша Арбатова и я – не Виктор Ерофеев, не Аркадий и не Константин Райкины, вместе взятые. Я занимаюсь серьёзными делами. Вовлекаться в орбиту попсы типа Алины Кабаевой, которая даже пролезла в какой-то совет при Президенте при полном отсутствии мозгов?.. По-моему, виселица предпочтительнее. Я действительно бы это предпочла, если идеалы демократии, европейские ценности, правозащитная деятельность, трагическая судьба России, борьба за свободу – всё, что я перечислила, превращено сегодня в некий бренд, достойный присутствия головы Че Гевары на майках. Кстати, Че Гевара сие заслужил – он занимался несерьёзными, никому не нужными вещами, поэтому на майках и на сумках – самое ему место! А я, мне кажется, ничем этого не заслужила...

– *А всё-таки, почему о вас говорят: «Задумана Господом она была правильно, но потом произошёл какой-то слом, и Валерия Ильинична вся ушла в протест. Против «коммуняк ли», против Путина ли. У Новодворской протест – как двигатель». Отчего так упорно вас числят протестной фигурой?*

– Протестная фигура – это нигилизм в духе XIX-го века, когда молодые люди, выступая против конкретных злоупотреблений правительства, против того, что Россия была неадекватной Европе, зашли слишком далеко и стали отрицать вообще всё. В том числе, – нормальные причёски, хорошие манеры, семейную жизнь, возможность зарабатывать деньги, жить в комфортабельной квартире. Отрицать всё и вся вплоть до Пушкина и изящных искусств, которые вовсе здесь были не при чём. Да,

основания для протеста имелись. Но оснований для нигилизма не было. Основания для нигилизма были не до Октября, а после Октября. В советскую эпоху оснований для нигилизма было более чем достаточно. Вот тогда, пожалуй, я была нигилисткой, хотя на причёску это тоже не распространялось. Просто не у всех были деньги на модные причёски... А модных туалетов и вовсе не водилось! Это надо было из-за границы привозить или доставать за огромные деньги из-под полы. У меня такой возможности не было.

А сегодня протестная фигура – это, видимо, человек, который протестует против общественного зла. Зла – навалом. Причём я бы не сказала, что мне очень много надо. Протестная фигура, которая хочет, чтобы Россия была похожа на США, или на Великобританию, или на Норвегию с Голландией, – это, по-моему, очень умеренное требование? Чтобы всё было, как у людей: и свобода, и рыночная экономика, и экологические ниши для всех, и культура, и, дороги, и, простите, дураки – чтобы они не возглавляли государство, а сидели, где положено, - в каком-нибудь тихом уголке... Я бы

не сказала, что это нигилизм или избыточный протест. По-моему, это нормально. Потому что Запад – это норма. А всё, что у нас до этой нормы не дотягивает, – основание для протеста. Заметьте: я всегда протестовала против того, против чего нельзя было не протестовать.

– Хотя политика – дело спокойное. По крайней мере, так считается на Западе. В России же «покой нам только снится». 19-летний московский поэт и философ Илья Тюрин писал: «Но если силы для генерации русского характера у нас остались, то для его появления требуется приличная власть и немного исторического покоя». Возможен ли в России исторический покой? Или это, по определению, нереально?

– В России возможна историческая летаргия, в которой народ, по-моему, сейчас и пребывает. Куда уж дальше?.. Коматозное состояние. Людям всё равно. Они в этом коматозном состоянии переходят в мир иной, ни разу не проснувшись. Те, кого убили в Чечне, можно сказать, проснулись на том свете. Едва ли это желательный вариант! А их родители, спокойно смотревшие на то, что их детей отправляют в Чечню?.. А родители бесланских детей, которым не приходило в голову поставить перед собой вопрос: «А хорошо ли это, что Чечню завоевывают?» Пока их дети не оказались в той памятной школе, они считали, что это их не касается. А зрители «Норд-Оста»?.. Я совершенно уверена, что там не было протестных фигур, потому что на такие мюзиклы, где воспеваются советские лётчики, протестные фигуры просто не ходят. Там как раз был

путинский электорат, которого «приличная власть» между тем не пожалела. Ну вот, потом и до бесланских родителей дошло, что надо идти на митинг против войны в Чечне, когда им об этом напомнила группа захвата. Поэтому исторический покой, о котором мечтает ваш 19-летний философ, налицо: Россия в нём находится, как в могиле.

– *Если вспомнить теорию Льва Гумилёва о пассионарности, на ваш взгляд, нынешний российский этнос пребывает в стадии старения? Или?.. Трудно себя представить, чтобы, в сравнении с другими странами, наш народ вышел сегодня на улицы...*

– По-моему, мы просто из эмбрионального состояния не вышли.

Старение предполагает какой-то период расцвета. Про старение можно говорить в контексте истории римской империи. Была римская республика, были какие-то консулы, какие-то законы, братья Гракхи, какая-то борьба за свободу, сенат... Затем это всё при императорах стало затухать. И, в конце концов, состарившийся народ утратил даже государственность. В контексте России наше благополучие датируется XII веком. Это – Киевская Русь до Орды. И – Новгород до его завоевания.

– *XII век – это уже «Слово о полку Игореве». Помню ещё со школы: «Чёрные тучи идут с моря, хотя прикрывают четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дона великого. Здесь поломаться копьям, здесь притупиться саблям о шлемы половецкие...» Какое уж там, в XII веке, благополучие?!*

– Это то благополучие, которое тогда было возможно. Киевская Русь была, простите, в отношении ВВП первой в Европе. Мы были международным валютным фондом. Не мы занимали деньги – у нас занимали. Кроме того, у нас занимали войска! По уровню гражданской свободы наши города были первыми, а по уровню благосостояния Новгород – это, конечно, вершина, потому что превосходил города ганзейского права. И все остальные города на Руси были такими же. И Киев, и Чернигов... Да, это было мимолётно, продержалось недолго, зато являло собой достаточно стабильную систему демократии! Княжеские свемы, городские механизмы самоуправления... Просто все об этом забыли. Но это на самом деле было лучшим временем в нашей истории. А что касается набегов, то ведь они случались везде. Скажем, Польша имела дело не только с татарами, коих она, в отличие от нас, кстати, разбила, хотя была меньше и по размерам и по ресурсам, но и с турками. Это не русско-турецкие войны, когда мы пошли турок завоевывать, – турки поляков завоёвывали! В общем, проблем хватало. И – в западной

Европе. Возьмите Англию. Сначала – набеги германских племён, англов, саксов, потом – норманны. Вся история ранней Европы – это история войн. Как раз в этом смысле мы не были уникальны.

– *А есть ли в отечественной истории какая-либо фигура, которая бы вас не раздражала?*

– В российской истории было достаточно достойных фигур. Если начинать с истока, то это Владимир Мономах. Полоцкие князья были очень неплохи. Князь Михаил Черниговский, отказавшийся выполнять ритуалы Орды в 1248 году. Далее вообще идут великие фигуры: Михаил Тверской, который первый в нашей истории разбил татар и которого предали московские князья. Тверь должна была собирать Русь, а не Москва! Это – князь, погибший в Орде и причисленный к лику святых. Его сын Александр, издавший первые в нашей стране листовки! Это были листовки против Орды. Целая плеяда бояр новгородских – сыновья Марфы Борецкой и сама Марфа Борецкая, организовавшая сопротивление Москве...

– *А если перепрыгнуть через несколько веков?*

– А если перепрыгнуть через несколько веков, то это – князь Андрей Курбский, митрополит Филипп Колычев, который публично проклял Иоанна Грозного.

– *А боярыня Морозова?..*

– Нет, это уже было глупо. Религиозные фанатики меня никак не привлекают. Это – особая статья: протопоп Аввакум, Морозова, Урусова. У нас были либералы, начинающиеся при Петре: князь Василий Голицын, которого Петр не понял и сослал. Дмитрий Голицын, пытавшийся сделать правление Анны Иоанновны конституционным. Вот цепочка диссидентов, дотягивающаяся до наших дней. В конце концов, – пять процентов носителей скандинавской традиции держать Русь на плаву. Без них она давно бы уже скончалась. По-моему, такой страны уже не было бы...

– *Вы себя относите к этой плеяде?*

– Естественно. Все западники России – чётко носители этой скандинавской традиции.

– *А Чаадаева не забыли?*

– Чаадаев – не совсем то. Там было много позёрства. В конце концов, он ничем не пожертвовал – его никто никуда не посадил. Хотя точка зрения была весьма правильная. Но он же ничего, в принципе, не делал, в отличие от Герцена, который создал российский тамиздат: и «Колокол», и «Полярную звезду».

– А вы, Валерия Ильинична? Сколько раз вы были, простите за подробности, на нарах?

– Если посчитать, то достаточно. Только каждый раз какие-то обстоятельства возникали. Мне давали возможность выйти, иначе я с вами сейчас бы не разговаривала. Три раза – 70-я статья. Это – много. Антисоветская агитация и пропаганда. Обычно старались давать 190-ю или какую-то уголовную. А то, чтобы три раза была чистая 70-я, – большая редкость. В последний раз уже – в новой, горбачёвской формулировке: призыв к насильственному свержению строя. Ну и – административные аресты... 17 заходов по 15 суток. В общей сложности семь с половиной месяцев наберётся. За два года это прилично. Каждый раз мне везло. Освобождение с формулировкой «в связи с изменением ситуации». Это означает, что не изменился заключённый, а изменились внешние обстоятельства. Сначала это был Рейкьявик при Горбачёве, когда начались освобождения политзаключённых. Потом – когда у Горбачёва рухнуло терпение, и он стал сажать «Демократический союз», чтобы слишком много свободы не просили, случился августовский путч... В первый раз – когда был большой арест 70-х годов (тогда Галансков погиб в лагерях, и у меня было очень плохое состояние), они просто второй смерти не хотели: вот и освободили. Мне везло, очень везло. Кому не повезло, тот уже интервью не даёт...

– Сейчас в государственных органах – практически ни одного бывшего или нынешнего диссидента. Закономерно ли, что в них отсутствуют эти люди?

– О чём вы говорите?! Конечно, чекисты только и станут диссидентов трудоустраивать! Если – трудоустроить, то – дабы прослыть в глазах Европы людьми просвещёнными. То есть – на уровне уже соучастия. Вот Людмила Алексеева. Она, конечно, не в шоколаде, а совсем в другом веществе. Её имя будет покрыто позором: путинские цветочки, сотрудничество... Хельсинкская группа, которая была при Орлове настоящей Хельсинкской группой, полностью опозорена. Профанация идёт страшная. А в начале ельцинских времён кое-кому кое-что подбросили. Но очень ненадолго, потому что диссиденты не ужились с чиновниками. Полная биологическая несовместимость! Депутатами стали Пономарёв, Якунин, Рыбаков. Но от них были одни убытки. Ковалёв? Ельцин всё равно Ковалёва не слушал. Если б он послушал Ковалёва насчёт чеченской войны, то потом каяться было бы не в чем. Кое-кому дали работу. Например, Гале Старовойтовой. Но её долго Ельцин терпеть не стал. Как правило, выгоняли. Как только диссидент

начинал действовать, как полагается действовать в Европе, этого вынести не могли – или сам Ельцин, или его окружение. Прошло несколько месяцев после августовского путча – и уже прозвучала «красивая» фраза, после которой ушёл его первый пресс-секретарь Павел Воцанов: мол, если плохо будет себя вести Украина, мы у неё Крым отберём! Такая фраза – она из какой эпохи?! Это – чистая Империя! После этого Воцанов устроил дикий скандал и, конечно же, его убрали. А за что убрали Егора Яковлева с телевидения? За то, что он показал правду о конфликте ингушей и осетин. А дальше Россия полезла от большого ума в Грузию – вмешалась на стороне Шеварнадзе в гражданскую войну. Это было ещё до Чечни. А после этого уже всё! Какое могло быть сотрудничество после начала чеченской войны? Ельцин разгоняет всех. Убирает Юшенкова. На критику Немцова отвечает не тем, что говорит: «Спасибо, Боря, что ты мне помогаешь, учишь меня, как надо себя вести!», а выгоняет его из «наследников». Ельцин, конечно, никого не сажал, не закрывал никакие телеканалы, но на функционерских местах он диссидентов не терпел. Когда Галю Старовойтову выгнали, так она только печать на дверях увидела – ей даже никто ни о чём не сказал. Поэтому чего уж сейчас удивляться?! Шелов-Коведяев – сколько он там продержался в МИДе?! Как Козырев цеплялся за это место? На какие компромиссы шёл? Очень зря. А сколько Гайдар проработал у нас? Восемь месяцев.

– А на современном политическом горизонте есть ли играющие фигуры, которые бы более-менее вас устраивали?

- Эти несчастные фигуры – они полностью убраны с политической доски. Я просто не представляю себе ситуацию, при которой они могут на этой доске оказаться. Хотя это были бы полноценные президенты, премьер-министры. Только кто их туда пустит?!

– Вы, на мой взгляд, прекрасный филолог, стилист, если брать ваши статьи в журнале «Новое время» и пронзительную книгу документалистики «Над пропастью во лжи», даже – устную речь. Что угнетает вас в языковом запасе наших политиков?

– Отсутствие такового запаса. Это – люди совершенно невежественные, безграмотные.

– «Мочить в сортире?»

– Ну, а про жаргон российского Президента я не говорю. Похоже, что он был беспризорником, хотя это и не так. И, похоже, что он ещё и на зоне побывал. По крайней мере, странно, что у него – на уровне Штирлица – появились подобные речевые идеологемы и лексические единицы! То

есть он просто говорит на арго. Неужели менталитет сказывается? Эти власти ведут себя как налётчики. А с «ЮКОСом» – так просто как грабители с большой дороги, что, соответственно, психологически развивается в облик речи.

Что касается облика речи, то в Красноярске, например, великий писатель жил. Я с ним как-то в один самолёт попала. Помню, он так очень нелюдимо стоял – на меня никакого внимания не обращал, и я не посмела к нему подойти. То есть лично мы с Виктором Астафьевым не были знакомы. Хотя убеждения, думаю, у нас достаточно общие, одинаковые. Очень достойную прозу писал человек. По содержанию – вполне-вполне-вполне. Его роман «Прокляты и убиты» – это стоящая вещь. Вот я бы посоветовала всем тем, кто стремится во власть, читать такие произведения. Дабы не было стыдно в дальнейшем за их облик речи.

– *Перед началом нашего разговора вы сказали, что на вашем письменном столе лежит книга стихов поэта Станислава Божкова «Красный квадрат». Я читал этот сборник и знаю, что он посвящен Валерии Новодворской. А внутри есть ещё и стихотворное посвящение - «Встреча», заканчивающееся словами:*

*И последняя вспыхнет звезда
на закованных наших запястьях...*

Я печатал стихи Божкова в рубрике «Приют неизвестных поэтов», выходящей в российской газете «Трибуна». Следил за его странной судьбой. Божков жил в Березниках (это ближе к северу Пермского края), а печатался в Нью-Йорке, Париже и Оксфорде. Знаю, что он писал письма Ельцину – видимо, на правах земляка советовал, как надо управлять Россией. В начале 90-х сначала пропал без вести, а потом его останки опознали – он был не только убит, еще и сожжён... Божков входил в ваш «Демократический союз» и, как вы обмолвились, был единственным крестьянином в вашей плеяде...

– Ну да, у нас больше никаких крестьян в «Демократическом союзе» нет, хотя это очень условный крестьянин. В такой же степени и Есенина можно было считать крестьянином, но Есенин жил своим поэтическим трудом, в конце концов, получал уже приличные гонорары, а Божкову, чтобы прокормится, приходилось класть печи, выращивать гусей и поросят. Он, действительно, видел ту деревню, которую мы и отдаленно не видим. И то, что человек смог получить там такое образование, что начал писать вполне приличные стихи, дорогого стоит. У него же стихи – не есенинские. Его стихи выказывают глубокое знакомство с историей –

стихотворение о маршале Нее, например. Это вообще для европейской антологии! И так полюбить свободу, чтобы вступить в «Демократический союз»?! Это - уникальное явление, своего рода Ломоносов.

Я о его стихах высокого мнения. И – московские поэты. Это действительно – хорошие стихи. Вот строки, которые посвящены, собственно, не мне, а вообще, по-моему, всему «Демократическому союзу». Я помню их наизусть:

*Сдаваться нам нету резона,
Но важно погибнуть в борьбе.
Пусть каркает птица ворона
На самой высокой трубе,
Когда наши храбрые кости
Положат на вечный покой
На самом высоком погосте,
Над самой красивой рекой...*

И я это везде цитирую. Так что это стихотворение я пустила в люди. И смерть Божкова – очень большая потеря. Я его ни разу в жизни так и не увидела...

– То, что он назвал в последней строчке – «Над самой красивой рекой», – это та самая Кама и есть. Она протекает в Березниках. Затем – вдоль Перми. Какие ассоциации связаны у вас с Пермью?

– В Перми я не бывала – мне не везло. В этих ваших «симпатичных» лагерях, кажется, женской политзоны просто не было? Зато там у вас Сергей Адамович Ковалёв побывал. «Пермь-35», «Пермь-36», «Пермь-37»... Впоследствии их закрыли – музей сделали. Но самое лучшее, что они могли бы придумать, честно всё это сейчас расконсервировать. Если они хотят иметь политзаключённых, узников совести, пусть, по крайней мере, держат для них отдельные лагеря, чтобы было не хуже, чем при Брежнев. Мой вам совет: проведите у себя в Перми акцию около музеефицированной зоны «Пермь-36»: мол, почему здесь нет живых экспонатов?

МОСКВА – ПЕРМЬ

БЕЛЛА ВЕРНИКОВА



Поэт, эссеист, художник, историк литературы, доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме, член Союза писателей Израиля. Родилась и жила в Одессе; с 1992 г. в Израиле, живет в Иерусалиме. Автор восьми книг (стихи, эссе, графика, детская книга), участник международных художественных выставок. Печаталась в литературных журналах России, Украины, Израиля, США, Англии, Италии, Японии: «Юность», «Радуга», «Арион», «Топос», «Сетевая Словесность», «Бег», «Приокские зори»,

«Дерибасовская–Ришельевская», «Иерусалимский журнал», «22», «Артикль», «Литературный Иерусалим», «Интерпоэзия», «Квадрига Аполлона», «Бег», «Кольцо А», «Новая реальность» и др.; в переводе на английский и японский языки: «Confrontation Magazine» (Long Island University), «METAMORPHOSES» (Amherst, Mass., USA), «Modern Poetry in Translation» (Oxford, England), «Hokusei review» (Япония); в одесских и израильских поэтических антологиях «Вольный город», «Ориентация на местность», «120 поэтов русскоязычного Израиля», «Антология поэзии Израиль 2005», «Глаголы настоящего времени». Победитель Международных конкурсов графики (Варшава, Москва). Журнальные публикации и графика открыты в Интернете.

□ Bella Vernikova, 2017

Дама в шляпе и мужчина с трубкой Эссе

Имен не помнил, путал даты,
Но ты, какой была когда-то,
Не исчезала никуда.

Юрий Михайлик

более слово, чем слева

Велимир Хлебников

Как в сонете Иннокентия Анненского «Так неотвязно, неотдуманно, что, полюбив тебя, нельзя не полюбить тебя безумно», где любовная лирика обращена не к женщине, а к поэзии, эпиграф из стихотворения Юрия Михайлика можно соотнести с изобразительным искусством. А именно с живописью первых десятилетий 20-го века – «Дамой в шляпе» Матисса, портретами Кандинского, Бакста, Серова, Фешина и др., заодно с обликом курильщика от Сезанна до Хуана Гриси и Ханы Орловой. А эпиграф из Хлебникова напоминает нам, что авангардное искусство формировалось в Европе и в России вне связи с политическими событиями, до революции 1917 г. оно не было еще политизировано и художники руководствовались личным интересом к новым выразительным средствам, испытывая влияние художественных открытий, а не административных установок.

Сопоставляя оригиналы картин в музеях и на выставках, благодаря усилиям музейных работников «передвижных» и доступных зрителю в разных странах, видишь, как ощутимо влияли друг на друга художники, распределенные в истории искусств по различным направлениям европейского авангарда.

К примеру, комментируя выставку «Поль Сезанн и русский авангард начала XX века», экспонировавшуюся в 1998 г. в Эрмитаже и Музее им. Пушкина, анонимный автор корреспонденции, цитируемой на разных сайтах, отметив визуально ощутимое воздействие новаций Сезанна на создателей кубизма Брака и Пикассо, подробно пишет о связи живописи Сезанна с работами художников русского авангарда:

«...Возможностью видеть в оригинале полотна Сезанна они были обязаны двум замечательным русским коллекционерам – Сергею Ивановичу Щукину и Ивану Абрамовичу Морозову, которые привезли в Москву все сливки новой французской живописи, в том числе Сезанна, тогда, когда даже во Франции она еще не получила широкого признания. Посещая частные галереи Щукина и Морозова, московские художники видели все самые новые, прогрессивные достижения французской живописи. Именно благодаря коллекциям Щукина и Морозова смогло возникнуть такое удивительное явление, как русский авангард. И все же если под авангардом обычно подразумевают русский кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм, беспредметную живопись, то на этой выставке был представлен скорее «русский сезаннизм», а не авангард. Художники «Бубнового валета», такие, как Машков, Кончаловский, Лентулов, за которыми закрепился ярлык «московских сезаннистов», по-своему интерпретировали творческое наследие Сезанна. Их большие,

яркие, кричащие полотна имели гораздо больше общего с русским примитивом: вывеской и лубком, нежели с более утонченной, рафинированной живописью Сезанна. На выставке экспонировались пейзажи, натюрморты, автопортреты русских художников, мотивы которых явно были навеяны полотнами Сезанна. Из наиболее интересных важно отметить «Курящего солдата» Михаила Ларионова, продолжающего сезанновскую тему курильщика, но трактованную в духе русского примитива, а также «Курильщика (стиль подносной живописи)» Натальи Гончаровой».

Дополню этот комментарий датой – выставка «Бубновый валет» открылась в Москве в декабре 1910 года, ее участники и составили одноименную авангардную группу.

В статье искусствоведа Елены Турчинской «Сезаннизм и отечественная живопись XX века», размещенной на сайте Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, характеризуются художественные новации Сезанна, востребованные в живописи русского авангарда:

«Пространственное построение картин Сезанна основано на другой перспективе, которую называют «ныряющей», встречающейся чаще в натюрмортах, когда передняя часть стола разворачивается почти параллельно плоскости картины. В пейзажах – это «перцептивная перспектива», как называет ее Б.Раушенбах. При этом, по мнению М.Матюшина, Сезанн активно апеллировал к зрению, что делал и сам Матюшин в процессе создания своей «теории расширенного смотрения». ... Сезанн в своих работах использует своеобразный живописный прием – чередование мазков и пятен, лежащих рядом друг с другом, благодаря чему холст подчиняется единому и энергичному ритму. И картина становится сплошным цветоритмом».

Как писал художник-сюрреалист и теоретик искусства Вольфганг Паален, приходит понимание того, что «внутренняя природа вещей так же значительна, как и внешняя. Вот почему Сёра, Сезанн, Ван Гог и Гоген открывают новую эру в живописи: Сёра – своим стремлением к структурному единству, к объективному методу, Ван Гог – своим цветом, который перестает играть описательную роль, Гоген – смелым выходом за рамки западной эстетики и особенно Сезанн – решением пространственных задач».

В творчестве Пикассо период с 1907 по 1909 гг. называют сезанновским или африканским. Влияние Сезанна приводит и Пикассо, и Брака к геометризму в изображении, когда в основе сложной композиции лежат

простые фигуры – шар, цилиндр, конус. С архаикой африканского искусства Пикассо знакомится в Париже, на выставке в Этнографическом музее Трокадеро весной 1907 года.

История создания кубизма и его разнообразных влияний представлена в моих метатекстах с графикой на сайте визуального искусства «Иероглиф» – «105 лет кубизму» (<http://hiero.ru/2237082>) и др. Об африканском влиянии на творчество Жоржа Брака речь идет в метатексте «Georges Braque, 1911 /Центральная часть триптиха» (<http://hiero.ru/2127135>) с подписью:

Редкую фотографию молодого Жоржа Брака в его мастерской в Париже (1911 г.) я сканировала из книги: Jean LAUDE. /Французская живопись (1905-1914) и "негритянское искусство"/. PARIS, 1968.

В тот же триптих входит лирико-графический метатекст «Пошли мне сад на старость лет / левая часть триптиха», где приведены фрагменты стихотворений М.Цветаевой, А.Ахматовой, Х.Р.Хименеса, сопровождаемые цитатой из статьи балканского слависта Александра Флакера о свойствах триптиха в искусстве модерна:

Марина Цветаева
Сад

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.
.....
1934

Анна Ахматова
Летний сад

Я к розам хочу, в тот единственный сад.
Где лучшая в мире стоит из оград,
Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскую помню водой.
В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.
И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуюсь красой своего двойника.

.....
1959

Хуан Рамон Хименес
Черепицы в дожде и цветах

Бродят души цветов под вечерним дождем.
О ростки желтоцветов по кровельным скатам,
вы опять отогрели заброшенный дом
нездоровым и стойким своим ароматом

.....
Перевод А. Гелескула

...триптих в искусстве европейского модерна или символизма не говорит о последовательности событий во времени, а создает вариации «того же высказывания или метафорическое его дополнение».

Александр Флакер
Russian Literature, 16, 1984

.....
<http://hier0.ru/2189116>

Определение Александра Флакера фиксирует ассоциативно-метафорический характер соединения отдельных частей в художественное целое и соотносится с практикой современного искусства, где фрагментарность, как писал Юрий Николаевич Тынянов в статье о Тютчеве, «стала основой для совершенно невозможных ранее стилистических и конструктивных явлений».

В метатексте «Пошли мне сад на старость лет / левая часть триптиха» приведены фрагменты трех стихотворений, в которых ощутимы и вариации, и метафорическое дополнение. Как отметил Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Ахматова ассоциировала сад с Эдемом... Сад в поэзии Ахматовой – символ иного, настоящего и счастливого бытия». В стихах Марины Цветаевой «Сад» тоже видна эта ассоциация – сад как счастливая мечта в адском и бредовом настоящем. Не упоминая о бредовом настоящем в стихотворении 1959 г., Анна Ахматова отталкивается от него, возвращаясь в Летний сад своей молодости, в петербургский текст русской литературы с его привычными атрибутами –невской водой, статуями, двойничеством, отражениями. В исследовании «Петербург и «Петербургский текст русской литературы»

Владимир Николаевич Топоров к числу культовых питерских мифов причисляет их привязку к «узким» локусам (Зимний дворец, Михайловский замок, Юсупов дворец, Исаакиевский собор, фальконетовский монумент Петра, Летний сад).

При сопоставлении с трудами В.Н.Топорова о петербургском тексте русской литературы, тональность которых слышится в ахматовском отрывке из «Поэмы без героя»:

Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.
И царицей Авдотьей залягтый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

возникает метафорическая связь с третьим фрагментом рассматриваемого метатекста – стихотворением испанского поэта Хуана Рамона Хименеса, лауреата Нобелевской премии по литературе 1956 года «За лирическую поэзию, образец высокого духа и художественной чистоты в испанской поэзии». Стихотворение Хименеса «Черепицы в дожде и цветах» в переводе Анатолия Михайловича Гелескула совмещает романтические души цветов под дождем с заброшенностью и горечью тех мест, «где невеселы краски, и много цветов, и большие глаза нелюдимы и сини...».

.....

Дамские шляпы с перьями ушли в прошлое, курение выходит из обихода на наших глазах, может быть, мода вернет их как стилизацию, но останутся стихи, картины, скульптуры, репродукции и ощущение в культурной памяти, что та, «какой была когда-то, не исчезала никогда».

АНДРЕЙ КРАВЦОВ



Родился в 1970 году в Казахстане, с 2001 г. живет в Австралии. Автор монографии «Русская Австралия» (М.: Вече, 2011) и указателя «Русские печатные издания Австралии: 1912-2012» (М.: Пашков Дом, 2018). В 2012 г. окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. Горького. В 2016-м защитил кандидатскую диссертацию на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Признанный библиограф ученого С.Я. Парамонова (Лесного) - популяризатора «Влесовой книги». Участник нескольких передач на НТВ-Мир (Москва), Радио Свобода (Прага) и Радио SBS (Мельбурн). Работает переводчиком и куратором издательского проекта «ЧтецьЪ». Автор свыше 40 публикаций в научных, научно-популярных и литературных изданиях России, Германии, США и Австралии.

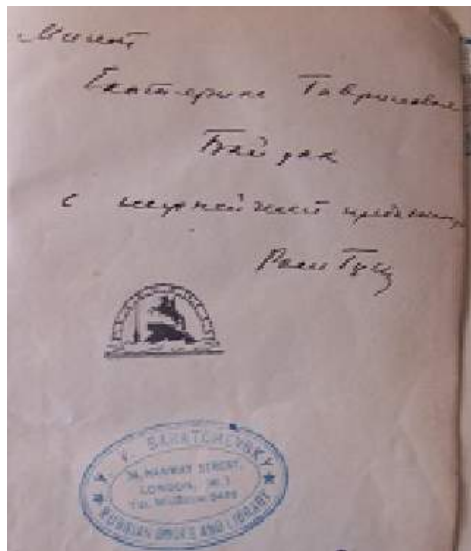
©Андрей Кравцов

ДАРСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ. ОЧЕРК ТРЕТИЙ: ГУЛЬ И БАЙДАК.

Если вы библиофил, то через ваши руки проходят тысячи книг, и некоторые из них могут содержать любопытные артефакты на обложке, корешке, полях страниц и даже иной раз на срезе блока. Достаточно внимательно присмотреться к букинистическому экземпляру, чтобы представить себе не только последнего владельца изрядно зачитанной книги, но и эпоху, в которой он жил. Инскрипты на полях и титульных листах, а также дарственные от руки с именами дарителя и одариваемого подсказали мне интересную идею – попытаться установить характер их взаимоотношений, уровень общения двух личностей – автора и того, кому он надписал свой экземпляр. Ведь, это только в эпоху массовой литературы появилась традиция дарить автографы на вечерах встреч с читателями, на новых книгах, только что приобретенных. Издания же библиографические, а тем более, изданные в русском зарубежье, были лишены этого свойства.

Они надписывались, как легко заметить, только тем, кто был знаком с автором лично. Из интересного замысла постепенно сложилась серия

очерков, которые я назвал «дарственными очерками». Своего рода дар тем, кто оставил в книге дарственную запись, тем, кто ею владел, да и тем, кто сейчас прочитает этот очерк и задумается над представленным



здесь, но далеким по времени, инскриптом.

Однако в третьем, публикуемом здесь очерке не все так просто. Он не ограничен автором и владельцем, поскольку в повествование вмешивается третья персона, отнюдь не лишняя в данном случае.

«Милой Екатерине Гавриловне Байдак

с нежнейшей преданностью.

Роман Гуль.

Париж. Июль 1934», -

гласит надписанный авантитул книги «Генерал БО», изданной в Берлине русским издательством «Петрополис» в 1929 году.

На тот момент, к лету 1934 года прошло менее 12 месяцев как автору книги Р.Б. Гулю удалось вырваться в Париж из немецкого концлагеря, в котором он находился пусть и недолгие, но все же тягостные, несколько недель. Роман Гуль не впервой оказывался в казематах, до того он успел побывать в петлюровской тюрьме в Киеве и в лагере перемещенных лиц в Германии. Каковы же были причины того, что известный русский писатель, историк, документалист был задержан и посажен?

Как это ни смешно, но из-за подозрений в связях с Советской Россией. Особенно это выглядит странно по отношению к нему, вызволенному немцами же из украинского плена в самом начале 1919-го, а до того сражавшегося с красными в рядах корниловских войск. Сам Роман Борисович объяснял свой арест выходом немецкого издания романа «Генерал БО». На наш же взгляд, главной причиной явилась его работа над документально-художественными очерками – серией портретов известных большевиков – Тухачевского, Ворошилова, Буденного, Блюхера, Котовского, Дзержинского, Менжинского, Петерса, Лациса, Ягоды. И вот почему мы делаем такой вывод. Скажем, в книге «Дзержинский» (1936) прослеживается возникновение и разгул красного

террора. Издать такую книгу в фашистской Германии Гулю тогда не разрешили. Как известно, национал-социалисты и советские коммунисты в те годы очень крепко дружили и друг друга поддерживали. Книга Гуля вышла в Париже, на что власти Германии, в которой жил автор, не могли не отреагировать.



«В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог психологически и душевно жить», –

вспоминал он в первом томе мемуаров «Я унес Россию».

«Всем существом захотел я вырваться из этого коричневого тоталитаризма на свободу».

Гуль уже готов был бежать из Германии, когда его арестовали и отправили в концлагерь Ораниенбург, откуда через месяц освободили с объяснением, что арест был произведен «по недоразумению». Подробности о

пребывании в заключении он описал в книге «Ораниенбург: что я видел в гитлеровском концентрационном лагере» (1937) уже находясь в Париже.

Оказавшись в Париже, Роман Борисович восстановил старые оборванные контакты. Упоминавшаяся выше Екатерина Гавриловна Байдак (1903-1977) также воевала в корниловских частях, как и Гуль участвовала в «Ледяном походе», эвакуировалась позже через Одессу. Поэтому не удивительно, что книга ее сослуживца была им надписана и подарена ей еще в 1934 году. Но кто же загадочный третий персонаж, вмешавшийся в эти дружеские взаимоотношения?

Им оказался В.В. Барачевский, скаутмастер, руководивший единственным русским скаутским отрядом в Лондоне, и одновременно организатор русской библиотеки и книжного магазина. В его библиотеку и передала Е.Г. Байдак свой экземпляр книги, о чем свидетельствуют многочисленные овальные штампы на английском языке. Перед тем, в 1933 году, скаутмастер Барачевский награждается знаком Белого Медведя 2-ой степени за его скаутскую инициативу, организацию и плодотворную работу с русскими скаутами и волчатами в Лондоне. И

известен лишь этим в большей степени. В чем же причина передачи надписанной книги хорошо знакомого ей человека, лично подарившего ей этот экземпляр, передача в другую страну, из Парижа в Лондон, да еще и в общественную библиотеку? Неслыхано. Читаем дальше. В конце 1936-го благодаря изданному по-французски роману «Генерал БО» известный кинорежиссер Жак Фейдер (1885-1948) приглашает Романа Гуля работать в фильме о русской революции под названием "Knight without armour" («Рыцарь без доспехов»). Фильм ставился Александром Корда и главные роли исполняли прославленные Марлен Дитрих и Роберт Донат. Роман Борисович был приглашен как консультант по техническим и драматургическим вопросам (*technical advisor*). В Лондоне он пробыл больше полугода и, когда вернулся во Францию, то на заработанные деньги купил на юге страны небольшую, в 5 гектаров, ферму Пети Комон. Близ городка Нерак, в департаменте Лот-э-Гаронн.

В упоминавшейся книге воспоминаний «Я унес Россию» Гуль вспоминает о своей работе в Лондоне, как о чуде, произошедшем в его парижской жизни:

*«...я ехал по Лондону в комфортабельном
“казенном” автомобиле
“Лондон филмз продакшен компани”,
вспоминая, что несколько дней тому назад в Париже
у меня не было денег даже на трамвай».*

Он рассказывает, каким образом это «чудо» случилось: «Известная французская драматическая артистка, долго выступавшая в Комеди Франсез, Франсуаз Розе, жена Фейдера, выслала мужу из Парижа несколько “нужных для его фильма книг”. И среди них был мой “Азеф” по-французски, изданный у Галлимара под заглавием “Lanceurs de bombes” (“Бомбометатели”). Но по недосмотру издательства на титульном листе было напечатано “перевод с немецкого”. Помню, я поехал тогда к Галлимару, чтоб “устроить скандал”, требуя перепечатать титульный лист. Но милейший Брис Паррэн, тогдашний директор издательства, свободно говоривший по-русски (женатый на русской – Челпановой, дочери известного московского профессора), уломал меня всякими “вескими” доводами. Перевод на французский Н.Гутермана был очень хорош, и Фейдер, прочтя книгу, как он говорил, “залпом”, пошел тут же с “Азефом” к Меерсону, сказав: “Лазарь, вот этого немца я обязательно хочу достать как “техникал адвайзора”. Взяв книгу, Меерсон залился смехом (по рассказу Фейдера):

*“Да это же вовсе не немец,
а русский, мой друг,
которого мы немедленно
можем вызвать телеграммой”.*

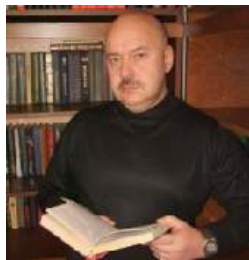
Я был в восторге! – говорил Фейдер, – и мы, с согласия Корды, послали вам телеграмму. Это и была телеграмма в пятьдесят два слова с требованием “не соглашаться меньше чем на пятьдесят фунтов в неделю”.

Так состоялось спасительное обогащение Романа Борисовича Гуля. Приехав в Лондон он там знакомится с Барачевским, который тут же заинтересовался его романом и в поисках книги, к тому времени уже распроданной, смог лишь упросить через Гуля его знакомую Екатерину Байдак предоставить для русской библиотеки в Лондоне, которой Барачевский заведовал, ее дарственный экземпляр. Возможно, со временем он надеялся найти другую копию, а эту вернуть, но увы.

Так, порой удивительные судьбы, схожие с человеческими, проходят те или иные книги в своем существовании. Утратив корешок, съехав в трапецию своим блоком, книга, тем не менее, сохранила историческую подпись и штампы, соединив на своих страницах судьбы трех русских эмигрантов, и предоставив нам обширное поле для занятых исследований и вдумчивых размышлений.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ

(род. 1962, Нижний Тагил)



Русский писатель; прозаик и литературный критик. Получил филологическое образование в Нижнетагильском Педагогическом Институте Ииституте. Был учителем, монтером пути, рабочим чёрной и цветной металлургии. Позже работал журналистом в газетах Братска, также в разных качествах на местном телевидении. «Однако, – как писал Олег Августовский, – в силу свойств собственного характера он не смог там надолго задержаться,

поскольку желание говорить то, что думает и поступать так, как хочет, оказалась сильнее желания получать постоянную заработную плату. Долгое время жил в Братске (поэтому там его считают братским писателем), где последней специальностью его была — «сторож». В 2012 году вернулся в родной Нижний Тагил. С июля 2014 года ведёт постоянную критическую рубрику в «Литературной Газете».

Автор книг «Бахмутовские хроники», «День облачный», «Корабль уродов» и др. Печатался в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Волга» (Саратов), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Бельские просторы» (Уфа), «Урал» (Екатеринбург), «Новый берег» (Дания), издательстве «Franc-Tireur» (США). Лауреат международной литературной премии «Silver Bullet» (США, 2009), премий журналов «Урал» и «Бельские просторы» в номинации «Литературная критика» (2012).

Дмитрий Быков назвал Кузьменкова одним из лучших прозаиков современной России:

«Кто знает об одном из лучших прозаиков современной России – Александре Кузьменкове (Братск)? Все мои попытки издать его сборник в Москве закончились ничем, а между тем это серьезнейший прозаик и мыслитель, равно не имеющий отношения к “новому реализму” (который в действительности

ИСТОРИЯ ДЛЯ ГОСТИНОДВОРЦЕВ

(Г. Стерлигов «Учебник истории. От Грозного до Путина»;
Слобода, самиздат, 2024 год от Христа)

Не лепо ли ны бяшьть, братие, начати днесь трудных повестий житие о писанейце Германове, Германа Лвовича? Начати же ся тый песни по былинамь сего времени, а не по замышлению Германю, понеже бе мужь вельми невегласен и рече безлепици мнози... Именно так следовало бы

писать об «Учебнике», поскольку автор категорически предпочитает древнерусский.

Стерлиговский опус, номинированный на «Нацбест-2016», проходит по ведомству non-fiction, но это явное заблуждение. «Учебник истории», написанный эксцентричным бизнесменом, – шедевр юмористической беллетристики. Да такой, что Жванецкому с Задорновым впору занимать очередь на бирже труда. Респект номинатору Дмитрию Трунченкову, потешил...

Запоздавая преамбула. История есть политика, опрокинутая в прошлое, говаривал верный ленинец Покровский. Что и наблюдаем: в последние годы новый Карамзин явился аж в двух ипостасях – умеренно-либеральной (Акунин) и православно-самодержавной (Стерлигов). Несмотря на явную разницу во взглядах, оба летописца подвизаются в жанре folk-history: «Дилетант пишет для дилетанта, излагая свою личную точку зрения на прошлое», – пояснил профессор ВШЭ Игорь Данилевский. Точки зрения у обоих самодельных геродотов куды как затейливы. Акунин, к примеру, объявил Дажьбога богом дождя, открыл новую нацию – русославян – и зачем-то сочинил реальным князьям немислимые погрехи: Ростислав Отравленный, Давыд Жестокий и проч. Стерлигов... но с этого места подробнее.

Талант юмориста у Германа Львовича я заметил давно. «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики», – дивный слоган, на зависть Губерману с Иртеньевым. А «экологически чистая» баранина из «Элитного бутика натуральной пищи» по 1 000 руб./кг – согласитесь, шутка из верхней десятки. Правда, похохмить на исторические темы у нас любят многие: от Фоменко и Носовского до бывшего заместителя генпрокурора Колесникова. Последний как-то раз поделился с парламентариями ценнейшей информацией: изначально Коран был написан на скифском языке, а мусульманское знамя было голубым, а не зеленым. Скифы в шоке, пророк Мухаммед в недоумении. Впрочем, Г.С. не затеряется среди любых конкурентов, смею вас уверить.

Цитату ждете? Минуту терпения: на очереди еще один теоретический экскурс. Не пугайтесь, последний. Пушкин говаривал, что отечественная история пишется в трех изводах: для гостинной, для гостиницы и для Гостиного двора. Если Акунин работает в расчете на гостиничных образованцев, то целевая аудитория Стерлигова – гостинодворцы и охотнорядцы. Желательно, из Союза Михаила Архангела.

А теперь – цитату в студию!

«Даже когда первый пост занимает жидовствующий безбожник русского происхождения, то все равно тип власти можно характеризовать как кагал, если вокруг в высшем руководстве в основном евреи, если идеология остается еврейской, если законодательство талмудическое, если деятели науки и культуры в основном евреи».

Палеонтологи восстанавливают облик динозавра по одной кости. Но не пытайтесь реконструировать весь стерлиговский текст по одной этой цитате. Наш гений – загадочный парадоксов друг, а потому явился с мешком открытий чудных, одно другого чудесатей.

Потщи ся Герман сказати душеполезная некая, но разума си стяжати не возможе и в учениях бе не зело хытр, зане глагола велми паче меры преизлишно и звягливо, яко не токмо ученым мужемь, но и чадомь ко смеху. И уподоби ся скомрахови. Кто же убо восхощет такового ефопскаго писания чести?

Для разминки – несколько сентенций общего свойства. Существующее летоисчисление никуда не годится, поскольку ведется от ложной даты рождества Христова: на самом деле у нас сейчас 2024 год. Покорение мусульманской Казани и присоединение языческой Сибири были концом православной Руси и началом еретической и безбожной России. Греческое православие впало в ересь, согласившись на Флорентийскую унию, а следом за ним та же участь постигла и русское православие. Академия художеств стала центром нравственного и духовного растления России. Главный смысл балета – кривляться и задирать женские ноги, чтобы было видно срамное место, едва прикрытое тонкими трусами. Женские учебные заведения растлевали нацию, поскольку в теремах девицы для разврата недоступны. Верховая езда – лучшая профилактика простатита (инфекционного, если что, заболевания). Ученые – колдуны и алхимики, корень всех бед человечества.

На очереди сугубо исторические открытия. До изобретения пороха не был уничтожен ни один вид животных и птиц (видимо, мамонты, шерстистые носороги, моа и проч. не в счет). Лжедмитрий I – это спасшийся царевич Дмитрий Иоаннович, а Лжедмитрий II – это спасшийся Лжедмитрий I. Екатерина II блудила с Потемкиным на глазах у мужа (с Орловым, это бы я понял). «Российская грамматика» Ломоносова была призвана отучить людей читать на древнеславянском (что за язык такой? не слышал...), чтобы отрезать от них письменные источники знания о правдивой истории (летописи-то, стократ

вычищенные рясофорными цензорами?!). Кумиром Николая I был Лермонтов (охотно верю: «Собаке собачья смерть...»). Сталин, скорее всего, был евреем. Основание «Союзмультфильма» – продолжение дела сатаниста Уолта Диснея, поскольку нарисованный мир калечит детскую психику (о советской студии «Культкино», работавшей в 1920-е, автор, похоже, не ведает). Сталинский кагал готовился напасть на Гитлера, чтобы продолжить мировую революцию (салам от Суворова-Резуна). До горбачевских времен в Советском Союзе пользовались исключительно натуральными моющими средствами, а вредных синтетических в помине не было (хм... а как же шампунь «Пингвин», порошки «Персоль» и «Лотос»?). Ельцин – вампир в буквальном смысле слова (не иначе, от серебряной пули помер).

Пора бы и остановиться, ибо на каждой из 360 с лишним страниц «Учебника» найдется реприза, достойная Павла Воли. Впрочем, трудно обойтись без бонуса:

«Сначала Всемиловитый Бог поставил над провинившимися русскими безбожных и жестоких русских правителей. Не помогло. Тогда поставил править русскими иноземцев-немцев. Не помогло. Тогда отдал Бог Русь на растерзание евреям. Не помогло. Теперь наказывает нас десятками миллионов азиатов и зверской властью осатаневших колдунов-ученых со всякими невиданными отравками и болезнями. Не помогает. Да что же с нами еще сделать, чтоб мы поняли, покаяться в ереси и вернулись к служению Богу?!»

Само собой, у доброго доктора Стерлигова есть рецепт, как нам обустроить Россию. Программа-минимум: расселение городов, возврат к натуральному хозяйству, изгнание ученых (в особенности медиков), всеобщее покаяние и возврат к некому рафинированному православию, свободному от униатской ереси. Программа-максимум: реанимация моноэтнического русского государства в границах Киевской Руси.

Практически любое высказывание Г.С. тянет на статью 282 УК РФ: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично...» А иные заявления – на статью 280.1: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации...» Впрочем, прав Оруэлл: у нас все равны, но некоторые равнее. Видимо,

слухи о дальнем родстве автора с отставным генерал-майором КГБ не столь уж беспочвенны.

И последнее: один из спонсоров «Нацбеста-2016» – Союз охраны психического здоровья. Странно, по «Учебнику» это не заметно.

О руськая земле!.. Одно утешение: до шорт-листа Г.С. так и не добрался.

СЕРГЕЙ ЛАЗО



Родился в г.Житомире (Украина), по образованию филолог. На родине его окрестили «человеком - оркестром». Один во многих лицах: музыкант, певец, композитор, поэт, драматург, журналист, продюсер, модератор культурных программ. Чувствует себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом, имеет хорошую семью. Сергей Лазо – автор 17-ти книг и шести дисков. Член Союза писателей и Союза журналистов Украины, лауреат ряда украинских и международных премий. Концертирует, неразлучен с гитарой. Любит живопись, современную хореографию и путешествия на воздушном шаре. Большой поклонник джаза.

Андрей Остапенко

Поколение музыкантов, пришедшее после нас. Уже не запрещалась рок-музыка, уже Ниагарским водопадом бушевал музыкальный поток, и уставшие гэбисты перестали глушить музыкальные каналы «Голоса Америки». Вовсю расцветала пора ВИА (вокально-инструментальных ансамблей), формировался отечественный поп-рынок. Совок отражал поп-музыку, словно кривое зеркало, песни лепились под определённый шаблон (это можно, а то – нельзя!), даже фирменные инструменты, привезенные из-за границы, звучали как-то импотентно, без живого импровизационного драйва. С одной стороны худсоветы отфильтровывали откровенную пошлость и китч, с другой – выхлещивали живой голос кухонь, дворов и подворотен. Даже названия тех самых ансамблей, дозволенные министерством культуры, были по-советски аккуратно причёсанные. Вспомните: «Добры молодцы», «Самоцветы», «Весёлые ребята», «Лейся, песня», «Водограй», «Синяя птица», «Песняры»... Андрей играл в коллективе Софии Ротару и был профессиональным музыкантом. Приобретая нужный опыт и осознав, что творческий взлёт там для него не предусмотрен, он вернулся в родной Житомир, обустроил музыкальную студию и стал творить как композитор и аранжировщик. Я застал его в облаках сигаретного дыма, вдохновенно обкуривающего заветный синтезатор «Роланд». У него всегда были самые последние звуковые примочки (впоследствии компьютерные программы). С техникой он не то, что дружил, он колдовал над ней. Я готовил свой первый альбом, послал Андрею две новые песни и вскоре приехал для возможного сотрудничества.

Близился конец прошлого тысячелетия (фраза, вырванная из контекста, приводит в ужас – словно период нашей синтезаторной деятельности пришелся на какое-то раннее Византийское средневековье!), время катилось к двухтысячному году. Андрей встретил весёлой, чуть ироничной улыбкой и без предисловий выпалил:

– Я прослушал запись, и должен признаться, произведения мне понравились. Если честно, даже не ожидал...

Работалось легко и быстро. Очень порадовала его интерпретация песни «Я ушёл», где губная гармошка звучала, как у Джаггера. Но живой-то гармошки не было и в помине, эти звуки он извлекал из внутренностей своих мигающих электрических ящиков, спаренных разноцветными проводами, и звучали они как настоящие, даже лучше. Я не знал, кто мог бы так сыграть на губной гармошке – о тембре звучания вообще говорить не приходится. И тема «Унесённые любовью» звучала не стандартно, интересно была прописана гитара, сама манера игры чисто гитарная, хотя проигрывалась на клавишах. В общем, наш первый блин не вышел комом, а доставил удовольствие, утвердив взаимное уважение и крепкую дружбу. Контрольное прослушивание свежее испеченных песен, конечно же под коньячок, в его синей «Хонде», честно заработанной и недавно пригнанной из Германии...

И сам богат безмерно,

Покуда не богат...

Эти строки вполне соотносимы с Андреем Остапенко. Он никогда ни на что не жаловался, всегда излучал улыбку. От него постоянно исходил весёлый позитив, вне зависимости от того, чем он занимался в данный момент: трудился, играл, сидел за рулём, чокался рюмкой или рассказывал анекдот. Всегда одержим работой, сутками просиживал на студии, а ведь была ещё семья, киевская квартира на улице Саксаганского, дети, быт, родственники в Житомире... И он это разруливал, имея всё, и отдавая всё, без раздумий, напряжения и сожалений. Постоянное место обитания Остапа – студия Михаила Дидыка в дальнем торце Киевского института музыки им. Р.М.Глиера. Маленькая комнатка, заставленная компьютерами, аппаратурой, клавишами, плеерами, кучей дисков. Раньше это была аппаратная, почти всю переднюю стенку занимало темное окно, когда-то смежное с несуществующей нынче артистической. Окно это утратило первоначальное назначение и теперь служило местом размещения фотографий, визиток друзей и соратников (приятно отметить, среди них красовался и мой фэйс). Существует легенда, что Юлий Цезарь обладал

способностью выполнять несколько дел одновременно. Уверен, Остапу он бы проиграл, потому что я не раз становился свидетелем примерно такой картины: захожу к Андрею, он сидит в кресле, удерживая коленями компьютерный блок и что-то туда пристраивая, свободной, третьей, рукой здоровается со мной, четвёртой прикуривает, пятой угощает домашним молдавским вином (кто-то отблагодарил!), шестой доигрывает музыкальную фразу, а седьмой записывает (мне!) последний альбом Джорджа Бенсона, и при этом ведёт деловой разговор по двум телефонам...

– Андрюша, надо сделать аранжировку... Сможешь?

– А что, есть подходящая жертва?

И всё это одновременно! А ведь ещё постоянно кто-то заглядывает, чего-то хочет, и с этим тоже надо как-то разбираться... Единственную свободную от полок и аппаратуры стену украшали афиши, где Остапенко выглядел неприлично молодым, с беснующимися кудрями и абсолютным отсутствием живота. Выше располагались выгравированные на золотистых пластинах дипломы авторских побед на «Шлягере» и других телерадиопроектах.

Особенная, пламенная и взаимная любовь у Остапа была с техникой.

Наверное, она возникла ещё в совковые времена, когда в комплект музыкальных инструментов обязательно входил паяльник (и припой в спичечном коробке). Время несло вперёд, и хотя паяльник традиционно присутствовал среди прочих аксессуаров андреевой каморки, её хозяин был постоянным обладателем модных телефонов и навороченных программ. Сев ко мне в машину, он тут же настроил десяток нужных радиостанций (я безрезультатно бился над этим не один месяц !), а потом выдал:

– Нужно добавить низов, у тебя в динамиках сплошная середина...

Я даже не предполагал, что там прячется эквалайзер! Вообще, все эти ручки, кнопки, колёсики, тумблеры, вызывающие у меня страх и растерянность, для него были добрыми друзьями и близкими родственниками.

Очень непросто было заманить Остапа на какое-то мероприятие, проходившее вне стен студии. Даже при его желании попридти, тотальная занятость не позволяла. Мне это удалось дважды: в первый раз на авторском вечере в Союзе писателей (он аккомпанировал моему дуэту с Натальей Сумской), второй – когда приехал в Киев горячо любимый нами гениальный Маркус Миллер. Я вручил приобретённый заранее билет и стал шантажировать:

– Если не явишься на концерт, пожалуйюсь лично господину Миллеру... Подействовало. Ну и, понятно, послеконцертные «ахи», восторги, и «горит она, эта работа»... А вот ко мне на юбилей он приехать не смог, зато прислал дарственную фонограмму с надписью: «Бессмертному Творцу в День Совершеннолетия!!!» Это в мои-то 50! Я пел:

*И хоть былых дней не вернуть,
Из них открыты в завтра двери,
Важна единственная суть –
Любить, надеяться и верить...*

Аплодисменты делили поровну. Как, впрочем, и веру-надежду-любовь. Финал был трагичен в своей неожиданности и фатальности. Позвонили друзья, сообщили: у Остапа серьёзные проблемы, он на обследовании в житомирской онкобольнице. Что хорошего в подобном известии? Немедленно позвонил Володе Шинкаруку, который, конечно же, знал больше. Конкретика резанула по живому: саркома, шансов нет... Вечером позвонил Андрею, шутили, да, мол, надо сдать анализы, а там, через пару дней увидимся в Киеве...

Через пару дней его не стало.

А ещё через неделю состоялся вечер памяти Андрея Остапенко, и пришло много талантливых людей, и мемориальным музеем стала его комнатка, где всё, даже начатая пачка сигарет и мобильный «apple», были на своих местах; так, словно он только что вышел, просто так, на минутку, и вот-вот появится, с этой неистребимой провокационной улыбкой, которая нескончаемо прокручивалась на экране, и друзья из «MapSound» пели реквием, и звучали слова об ушедших музыкантах, такие простые и такие ёмкие...

«Мы жили в одно время, в одной стране, в одном городе, вместе играли, пили, дружили. Просто любили жизнь. Потом вам суждено было уйти в лучший из миров, а нам остаться здесь. С годами стало казаться, что вы всё-таки были лучше нас, может потому, что мы так и не достигли вершин, о которых мечтали когда-то, и во многом из-за этого ваши светлые имена сегодня незаслуженно преданы забвению. Простите нас за это. Коллеги-музыканты, братья по цеху, друзья далёкой юности. Нас разделяет небо, но связывает память, ибо до тех пор жив человек, пока о нём помнят».

Соло.

«БОЛЬНО ТОЛЬКО,
КОГДА СМЕЮСЬ»



ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД



Послевоенный одесский выпуск. До 2000 – Одесса. Сейчас – Нетания, Израиль. Публикации в периодической печати, в альманахах. В 2011 – сборник стихов. В 2006 - Международный конкурс сатириков и юмористов – 1-е место в номинации «Афоризмы».

Во сколько лет и как вы потеряли девственность?

– И что вам эта девственность далАсь?

Да, потерялась! Но потом нашлась.

– А кто любит субботу?

– Весь мир обожает субботу –

Не надо идти на работу!

– Мужчины! Что подарить любимому на Новый год, чтоб это было романтично?

– Парусник с алыми парусами.

Остальное придумайте сами.

– Не сочтите за наглость. Просто надо. Возьму в дар, с благодарностью, ноутбук или компьютер в рабочем состоянии.

– Никто не дарит? Вот зараза...

Прочтите нам весь список сразу.

– Куда пойти после работы вечером?

Сперва зайти в аптеку. Потом - на дискотеку.

– Что подарить мужу после восьми лет совместной жизни?

– Дитё - подарок благородный,

Если возраст ваш детородный.

– Самый простой и прикольный лозунг к Новому году?

– Вы просите меня о слишком многом.

Ну ладно, подскажу вам: " С НОВЫМ БЛОГОМ! ".

– Есть ли жизнь на Марсе?

– Ответ профессора услышав, сникли все:

"На Марсе? Я не знаю. Есть на "Сникерсе".

– Кто видел последний раз Лысого? Где он?

– Вчера мы отдыхали на реке.
Я видел Лысого, но в парике.

– Кот зеленый?

– У Лукоморья кот зелёный:
Зелёный шерст на кошка том.

302 – Здесь есть стриптизеры города Одессы?

– Вы это зря... Из интереса
Сейчас сбежится вся Одесса!

– Можно ли стать собственником заката? Можно ли на этом заработать?

– Могу Вам мой закат продать.
Примерно так за тысяч пять.

– Народ, есть у кого под рукой новогреческий словарь?

Просто загибаюсь от тоски:
Под рукой напильник и тиски.

– Краткая биография Пушкина?

Родители его родили.
ПисАл, влюблялся. Застрелили.

– Почему живу с одним, а тянет к другому?

– Нет, это не зависит от хотения -
Здесь действуют законы тяготения.

– Вот мне интересно знать, где ты сейчас?

– А что ответить? Всё не то, не то...
Лиловый негр мне подаёт манто!

– Анархия ли мать порядка?

– Н-да, это - для ума зарядка.
Анархия - вдова порядка!

– Как правильно приготовить тушканчика?

Serg

– Не ешьте, Серг, пожалуйста, тушканчика -
Уж лучше водки жahnуть два стаканчика.

Наташа Резник:

«Совместно со Львом Вайсфельдом, как обычно, записывая по две строчки каждый, сочинили стихи про любимого дедушку. Любые совпадения со здравым или еще каким-либо смыслом случайны»

СТИХИ ПРО ЛЮБИМОГО ДЕДУШКУ

Зачем купили тёплую жилетку?
Мне тёплая жилетка ни к чему.
Купите мне пузырь и сигаретку.
Жилетку я у дедушки займу.

В жилетке прячет дед свои бумаги -
Две ксивы КГБ и ФСБ,
Какой-то дряни редкостной полфляги,
И телефон одной знакомой б...

Знаком мне телефон знакомой деда,
Что в органах работал - не секрет
(С собой всегда притащит он к обеду
Землячки и Дзержинского портрет).

Я пошло деда в унитаз сливаю
И заправляю флягу коньяком...
А деда в шутку часто называю
Свиньей и недобитым кулаком.

Хотя люблю его неимоверно,
И за него на всё почти готов:
Однажды я достал ему примерно
Две дюжины фальшивых паспортов.

По ним берёт мой дед кредиты в банках,
Недвижимость скупает на корню.
Все груди у него в почетных планках,
А ордена я в баночке храню

Как память о былых его заслугах
Перед народом, партией, страной...
Пока он о былых своих супругах
Всплакнет, ложась с теперешней женой.

Они достойны, впрочем, и рыданий...
Но не хочу я деда волновать:

Ведь он в пылу партийных заседаний
Умел такие звуки издавать,

(Чихал внезапно и громоподобно)
Что прятались партийцы под столы.
И выясняли долго и подробно:
Мол, чтостряслось, запел Бюль-Бюль-Оглы?

Дзержинский на пол грохнулся из рамы?
Дала "Аврора" "носовое пли"?
И никакие боевые граммы
Их после успокоить не могли.

Партийные решения принимая,
Они такой испытывали стресс,
Что вплоть до подготовки Первомая
Кричали: "Слава ОБХСС!"

И гимн партийный пели отрешённо,
Почуяв, что накрыт банкетный стол.
Вот так мой дед под водочку с крүшоном
В историю компартии вошел.

Свою жилетку дедушка лелеет -
А я надеюсь сдать её в музей,
Когда он наконец-то околеет
В кругу родных, соседей и друзей.

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК



Родилась и училась в Ленинграде. С 94-го - в США, в штате Колорадо. Публикации стихов и прозы в журналах "Новая юность", "Интерпоэзия", "Студия", "Дружба народов", "Вестник Европы" и др.

Лень продолжать. Пусть будет одностишье...

И все б сбылось!... Но зазвонил будильник.

Кругом такое!.. Хоть иди участвуй.

И выпили немного – три флакона...

Что исправлять! Меня уже родили...

Твои б мозги да к моему диплому!..

Вчера лежу и думаю: "Доколе!.."

Верна троим. Но не предел и это.

Я проверялся. Вы больны не мною.

Призвание – патологоанатом!

Не опоздай. Во вторник. В десять. В ванной.

На минус два кило я похудела.

Как, Брут! И ты... в "Единую Россию"?..

Тефтеля – это вам не фунт изюма!

Не хочешь исповедаться? Расколем!

Я – санитар!

Не мне восторгов и оваций
Вкушать слепое торжество.
Оставьте "браво" для паяцев.
Я не умею ничего.

Когда пою, то дохнут крысы,
Когда танцую, то - партнер.
Пишу ли я? Да, мной исписан
Коряво не один забор.

Мне никогда не сделать имя
И в мире красок и кистей.
Хотя рисунками моими
Пугают маленьких детей.

Но если трудно, если надо,
То, чем могу, тем одарю:
Пришлите мне любого гада.
Своим искусством уморю!

Колыбельная

Схоронился солнца лучик
До рассвета в щель.
Щелк-пошелк – в углу Щелкунчик
Кушает мышей.

Звезды водят втихомолку
В небе хоровод.
Тр-р – вскрывают злому Волку
Ножиком живот.

Мрак над домом нашим руки
Низко распростер.
Дзынь – хрустальной туплей лупит
Золушка сестер.

Что плету? Куда, малышка,
Маму понесло?
А! Добро в хороших книжках
Побеждает зло!

Про Наташу

Все комнаты повыметены чисто:
Ни пыли, ни соринки, ни пятна.
Сегодня Пьер уехал к декабристам.
Наташа отдыхает у окна.

Над головою дети не топочут.
Их няня на прогулку увела.
Одна Наташа в сумраке. До ночи
Заброшены обычные дела.

И ей, сквозь пелену оконной влаги,
Меж вздохом и подобием зевка,

Вдруг видится неистовый Курагин,
Его глаза, и губы, и щека.

Ей слышится внезапный шелест платья
И шепота смешная ерунда.
Пожатия, лобзания, объятия,
Рыдания, истерик череда.

Романсы, суматоха, топот конский...
Воспоминаний путается нить.
В них мечется непонятый Болконский
Между "простить" и гордым "не простить".

Еще одно мгновение свободы
Проносится за складками портьер.
А после роды, роды, снова роды...
Пеленки, няня, дети, толстый Пьер.

И в ворохе забот домашних позже,
Средь завтраков, болезней, детских клизм,
Ей сонный разум сладостно тревожит
Таинственное слово - феминизм.

МИХАИЛ РАБИНОВИЧ



Родился в 1959 году в бывшем Ленинграде. Работал, естественно, инженером. В Нью-Йорке с 1991 года. Работает, конечно, программистом. Рабинович – это псевдоним, но настоящая фамилия тоже Рабинович. Четверть века назад его рассказы стали публиковаться на страницах юмора, а вскоре – и на других страницах печатных изданий нескольких стран. Сейчас таких публикаций – примерно четыреста. Ну, триста девяносто – почти наверняка. Есть – и в толстых журналах, есть и переведенные на английский язык, есть и книга – "Далеко от меня", вышедшая в Нью-Йорке. После сорока начал писать стихи, которые тоже можно прочитать в альманахах, журналах и в сборнике "В свете неясных событий", изданном в Одессе. Широко представлен в Интернете. Участвовал в передачах американских русскоязычных радиостанций и "Эха Москвы".

МОНОЛОГ

У моего дедушки была яхта, а мама была похожа на еврейскую принцессу. У нее был приятный голос. Я давно не слышала, как мама поет. Мы с ней встречаемся часто, раз в год в Диснейлэнде, и еще потом, обязательно. Когда родители развелись и я осталась с папой, мама, наверное, обиделась.

Дедушкина яхта была большой, а я была маленькая. Я помню цифры на борту – вначале я не понимала, что это за крючки, а потом привыкла. Я ложилась на пол и смотрела на небо. Дедушка говорил – вот же он, океан, а я смотрела на небо. Он любил меня. Он сажал меня на плечи, и мне было лучше видно небо. Однажды я описалась, и шея у него стала мокрой, и он смеялся.

Он родился далеко и приплыл в Америку на корабле. У него была невеста под Гомелем, он жил там раньше. Она не захотела ехать сюда, а он уже не мог остаться. Он приехал сюда и был так беден, что много ходил пешком и много видел. Однажды он встретил бабушку, и они стали жить вместе.

– Это было хорошее время, – говорил дедушка.

В их районе – почти у всех яхты. Дедушкиным соседом был один режиссер, из Италии. Дедушка как-то сыграл у него в эпизоде. Там

герои, парень и девушка, идут по набережной, видят дедушку и спрашивают, как у него дела. Он немного молчит, молчит, а потом отвечает: "Спасибо, все хорошо" и берет у них сигарету. И все. А они идут дальше.

Я помню, как однажды на яхте собрались все. Было так хорошо и весело, я была маленькая. Потом я выросла, мне надо было решать, и я осталась с папой. Не только потому, что он уже был знаменит. Но и поэтому тоже. Мы шли с ним по улице, он купил мне мороженое, и две женщины подошли к нему и сказали его имя, и он ответил, да, это я, и взял их обеих за плечи.

У моей мамы был приятный голос, а папу называли великим. Я - черная. Когда видишь человека, то сразу понятно, какого цвета у него кожа, но больше-то ничего не понятно.

Папа вырос в Бронксе. У его мамы был свой дом, и у всех соседей были свои дома, и когда первый раз сказали, что дома снесут, то никто в это не поверил. Но дома снесли и проложили прямую скоростную дорогу, а бабушке дали деньги, и они с папой стали жить в большом доме.

Бабушка сказала, что там-то папа первый раз попробовал марихуану, и бабушка только один раз мне это сказала. У него была плохая компания, но смешить всех папа тоже начал там. Я видела этот большой, в сорок этажей, дом и папину школу. Он очень похоже показывал тогда свою учительницу, соседей, бабушку, даже их собаку, и говорил за них, и все смялись.

Помню непонятные цифры на яхте. У мамы был приятный голос, она пела. Я помню, она пела, когда собрались все, и дедушка поцеловал папиной маме руку, я прочитала стишок, дедушка рассказал, как он снимался у итальянца - на набережной дуло, было холодно, а дедушка должен был быть в одной рубашке, и так смешно он рассказывал, что папа закрыл лицо руками и прямо трясся, а потом сам стал показывать - что-то непонятное, про политику, но взрослые хлопали в ладоши и громко кричали, и даже дедушка кричал.

– Я уже большая? – спросила я у дедушки.

– Нет, маленькая, – ответил дедушка. – Съешь вон латкес.

Это картофельные оладьи. Я съела, я решила, что прошло много времени и спросила: "А сейчас – большая?", и все засмеялись, а дедушка попросил меня еще подождать, чтобы стать большой.

Сейчас я большая, это уж точно, и Алекс говорит, что мы должны пожениться.

Мне нравится Алекс, и есть такое, о чем знаем только мы, я и он, и о чем мы никогда никому не скажем, и когда я закрываю глаза, то часто вижу его, - но любовь, наверно, это другое, и он говорит: "Ты - со мной, почему же тогда я не самый счастливый человек на свете".

Я ведь знаю даже, что бывает, люди любят друг друга, но вместе жить у них не получается.

Алекс думает, что я все еще сержусь на него из-за Меган, а у них ничего не было, но Меган навсегда уехала в Техас, и как я сейчас решу, так и будет, то-есть так у них и было, как решу. Если я ему поверю, то ничего не было, - ну, пусть так и будет. Он хороший, Алекс. Он привел меня к своим родителям, и мы славно поболтали. Они хорошо помнят моего папу, не только по телевизору - они два раза были на его представлении, - а маму они не помнят, хотя еврей, как и она.

У мамы был приятный голос, она выступала с концертами, но что-то там не получилось. А папу называли великим. Те две женщины, которых он обнимал, пока я ела мороженое, тоже называли его великим.

Родители Алекса не сказали, что он великий, но сказали, что он им нравился.

- Ты им тоже понравилась, - сказал мне Алекс.

- Но ведь они еще что-то сказали? - спросила я.

Алекс пошутил: конечно, они заметили, что я черная.

- Папа не против тебя, он просто как бы размышляет, представляешь, мол, папина мишпуха, твои братья, я имею в виду твои братья, - это все дополнительные... Ну, семейная жизнь, мол, это непросто, каждый, каждый день, и любые дополнительные... Но, не это ведь главное, да, да? Алекс мне рассказал про папу правду, - да я и сама это знаю, правду - значит, и про Меган он не соврал.

Мои мама и папа любили друг друга, иначе с чего бы они стали жить вместе? Они познакомились после маминого выступления, папа подошел к ней и подарил цветы.

Они мне часто об этом рассказывали. Это было хорошее время.

Сейчас мама об этом не вспоминает, а папа умер. Я уже не жила с ним, когда он умер, я вернулась к маме. Он сам меня попросил. Когда он умер, с ним была другая женщина, мать моей сестры. Странно - моя сестра светлее, чем я, а у нее ведь оба родителя - черные. Еще у меня есть два брата, может быть, даже три. Третьего папа не признал.

Он был великим комедиантом, да. "Катрофельные палочки и латкес", - так называлось его шоу, у меня есть фотография, я помню.

Дедушка рассказывал ему про латкес, и мне, конечно, тоже рассказывал. Он был маленький, дедушка, любил латкес, там были очень вкусные, но и здесь не хуже. Почему бы мне не взять еще одну?

Я взяла латкес и спросила: "Я уже большая?" – и все засмеялись.

Если бы не наркотики, мой папа был бы жив и сейчас. Алекс говорит, что я странная, иногда совсем как маленькая девочка, и говорю как маленькая, а я отвечаю, что выросла, хотя иногда мне кажется, что нет. Я люблю смотреть на небо, но оно не такое большое, как тогда, на дедушкиной яхте. Мне было так хорошо, когда все собрались и смеялись, и папа показывал что-то непонятное, про политику, а не про латкес, но все равно, и я была маленькая, но уже могла подумать: а что, если все так и останется насовсем, яхта остановится, и все мы замрем, как на фотографии, и всегда мне будет так легко, и я думала об этом, будто бы если бы я согласилась, то все бы и замерло, но я захотела дальше - и яхта не остановилась.

Во время папиных похорон шел дождь, потом мы остались с мамой одни, и мама сказала, что она очень сильно любила папу и никого больше так не любила. От мамы у меня есть младшая сестра тоже. Я жила с мамой, и мы много разговаривали тогда, и я ей рассказывала все, даже то, что не могла сказать папе. Когда-то мама шутила, что я – папина дочка, а она сама – мамина.

Дедушка умер через месяц после папы. Незадолго до этого мы с мамой приходили к нему, он лежал на кровати и вдруг вспомнил, как когда-то я написала ему на шею и что это он никак не мог мне простить, но тут вот узнал, что есть такое специальное лечение - уринотерапия, а потом дедушка вдруг стал говорить непонятное, будто во сне, и мама слушала, а потом сказала мне, что дедушка вспоминал тот свой маленький городок под Гомелем, вспоминал на своем старом языке, и себя в том городе вспоминал, и невесту, которая не поехала с ним, и деревья, которые росли возле ее дома, и собаку, которая жила с ней, и короткую узкую тропинку, напрямик, чтобы к ней можно было бы быстрее придти. Мама тогда не сказала, что любит дедушку, но она любила, любила.

Алекс тоже смешной. Он боится собак, а они это чувствуют. Он меня спросил, не стыдно ли бояться собак, а я сказала, что их тоже надо любить, и он засмеялся.

У мамы был приятный голос, но она давно не поет. Мы скоро увидимся, и я попрошу ее спеть. Я не помню, как называлась дедушкина яхта.

МАША РУБИНА



Мария Рубина – поэтесса из Массачусетса, урожденная петербурженка, постоянный автор журналов "Чайка" и "Фонтан", создатель немногочисленных лирических и многочисленных юмористических стихотворений, миниатюр и афоризмов, в том числе беспардонно ушедших в народ.

Золушка и Людмила Улицкая

Жизнь у Зойки не заладилась ещё до рождения. Сначала умерла мама - хрупкая слепая преподавательница физкультуры в школе для умалишённых, тяжело рожая старшего брата Волика. Потом умер и сам Волик, объевшись белены в пионерлагере "Внешние воды".

Так что уже в младенчестве на Зойку свалилась вся тяжёлая работа по дому – то пелёнки себе простирнуть, то прогладить их с пяти сторон, то горшок вынести. И когда домой неожиданно вернулся её отец, профессор Лесоповальский, отсидевший в соседнем амбаре пятнадцать лет за тунеядство, – его встретила ладная мускулистая деваха с озорной чёлкой на левом глазу и бельмом на правом. (как-то на правый глаз ей упала кастрюля с борщом, который потом доедали всей огромной коммуналкой – долго, с искринкой, с огоньком, как и принято было в те голодные годы).

Профессор вернулся не один, а с новой супругой. Высокая, дородно-полнозая, с сильным зычным голосом, Скалка Меценатовна быстро стала хозяйкой в новом доме: поставила в каждой комнате по трёхспальной кровати, и спала на них по очереди то утром, то днём, то вечером. Двух своих дочерей – Розку и Ривку и сына Петрика она тоже родила во сне. Петрик родился болезненным и слабеньким. – Не жилец, – сочувственно вздохнула повивальная бабка Сидоровна, посмотрев на десятикилограммового Петрика, и без сожаления выплеснула его из ванны.

Сначала Зойка долго плакала, но через две минуты привыкла и уже радостно гоняла по дому со шваброй и веником. Работы ей только прибавилось. Розка (высокая, начинающая лысеть брюнетка) и Ривка (в отличие от сестры мелкая, чуть выше стола толстуха с чёрными кокетливыми усиками) росли белоручками и водили в дом мужиков, за

которыми надо было подбирать пустые бутылки. Помогать было некому. Первая домработница Феня, – рассыпчатая белокурая старушка, утонула в тазу для стирки. Наняли было другую – маленькую, кругленькую Нору Моисеевну, но и та долго не продержалась, в первый же вечер закатившись под плиту, да так там и сгинув.

Профессор Лесоповальский уже давно не занимался воспитанием дочерей, с головой уйдя в защиту чести своей диссертации о перспективах размножения жуков-говноедов в условиях Крайнего Юга. В декабре Зойке исполнилось пятнадцать лет, и в её жизни вдруг начались прекрасные превращения.

Сначала у неё вырос обратно правый глаз. Часто, перед тем, как лечь спать, Зойка вынимала глаз и рассматривала его перед зеркалом, удивляясь матовой округлости этого странного стеклянного шарика. А потом случилось и вовсе чудесное.

Из деревни Гнилые Кирзаки неожиданно приехала сестра профессора Лесоповальского – Хава Нагиловна. Семейные предания гласили, что пару веков назад тётка была тяжело ранена во время русско-турецкой войны. С тех пор она не расставалась с крючковой палкой, с которой она ходила и в мир, и в сортир, и на пир, а бывало, что и в сумасшедшем доме с ней лежала.

– Ну что, племяшка, замуж тебе пора! – гнусавым голосом проскрежетала тётка Хава.

В ней – худой и сморщенной, уже трудно было узнать ту весёлую кокетливую хохотушку Хавочку, из-за которой застрелилась вся 13-ая мужская гимназия, включая директора Спицына и сторожа Гаврилыча. Теперь Хава Нагиловна походила на зелёные перцы, которые Зойка запекала по праздникам в изразцовой, подёрнутой плесенью печке.

– Девка на выданье, а глянь – в каких опорках ходишь, – добавила она, тыча Зойке суковатой палкой в правый глаз.

С этими словами тётка достала из вещмешка крошечные туфельки. Затрепыхав всем организмом и едва наметившейся грудью, Зойка примерила туфли и заплакала от неожиданно переполнивших её новых ощущений.

С тех пор с новыми туфлями она не расставалась. Так и влюбилась, щеголяя в новых туфлях, случайно встретив в коммунальной ванной водопроводчика Шурика Николаевича.

Щуплый, корявенький, страдающий синдромами Туретта, Табуретта, Дауна и Аппа, Шурик Николаевич казался Зойке молодым Богом. И плевать ей было на то, что ни пришить, ни пристегнуть к нему было

давно ничего нельзя, и что у корявенького Николаевича где-то в Старокозловской области вот уже который год угасала от родильной горячки молодая жена.

Шурик Николаевич давно вёл двойную жизнь. Днём он работал водопроводчиком, а по ночам подрабатывал диссидентом, распространяя перепечатанные на стареньком ундервуде речи Леонида Ильича Брежнева на 10-м съезде КПСС. Изредка ему удавалось распространить "Блокнот Агитатора", за что он был неоднократно бит в местном отделении милиции.

По ночам они встречались в ванной. Шурик Николаевич читал Зойке выдержки из книг Брежнева "Целка", "Большая Вода" и "Вырождение". Зойка, затаив дыхание, слушала.

Они включали холодную воду на полную громкость, чтобы не разбудить спящую долгим беспробудным сном Скалку Меценатовну, и читали, читали до полного посинения. Так прошло три года. Дом снабжался холодной водой бесперебойно, несмотря на случившиеся за эти годы четыре гражданские войны и один путч.

К концу третьего года, уже окончательно посиневшая Зойка заболела.

Шурик Николаевич грел её озябшие ножки, подёрнутые синим инеем, в своих корявых мозолистых выдавших виды ладонях, но включить горячую воду так и не догадался. Да и что было взять с измученного двойной жизнью, самого дышащего на ладан старого идиота.

Зойкины похороны прошли скромно. Скалка Меценатовна продолжала спать, Розка и Ривка уже давно повыходили замуж и нарожали целую гору внуков, а профессор Лесоповальский окончательно выжил из ума не только себя, но и руководителя проекта по так и не защищённой диссертации о жуках-говноедах Федю Шмулевича.

И только маленькие Зойкины туфельки одиноко валялись по всей квартире, медленно покрываясь ржавчиной и медным купоросом. Изредка забредавшие в старую покинутую квартиру бомжи, тщетно пытались примерить полуистлевшую Зойкину обувь, хотя туфельки налезали им только на большой палец руки.

Но это уже совсем другая история.

Сентябрь 2012-Сентябрь 2012. Бостон-Хьюстон-Смит энд Вессон-усадьба Маманегорюево.

Перевела с улицкого Мария Рубина-переводчица.

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ



Родился 13 марта 1966 года в Киеве. Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. Два года отслужил в армии, на Дальнем Востоке. С 1989 года – свободный художник. Первую книгу («Приключения Торпа и Турпа») написал в соавторстве с Михаилом Валигурой. Книга была издана в 1992 году в издательстве «Эссе».

В том же 1992 году переехал в Германию (город Франкенталь). Долгое время писал для себя, не участвуя в

литературной жизни, не пытаясь публиковаться и выставляя свои живописные работы – в странах СНГ, Европы и Америки.

В 2009 году в Украине вышла книга М. Юдовского «Поэмы и стихи». Поэзию и прозу автора опубликовали литературные журналы и альманахи в Украине, России, Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. В 2013 году издательство АСТ (Москва) выпустило книгу прозы М. Юдовского «Воздушный шарик со свинцовым грузом», в апреле того же года американское издательство «POEZIA.US» опубликовало поэтический сборник автора «Тела и тени», а в 2014 году в издательстве «Петит» (Латвия) вышла книга стихов «Полусредние века».

Юдовский является лауреатом нескольких литературных премий, его живописные работы находятся в музеях, а также частных коллекциях пятнадцати стран мира. Пишет как на русском, так и на украинском языке. В 2015 году закончил работу над переводом на русский и украинский языки всех сонетов Шекспира.

Шут в сапогах (армейская повесть в байках)

Повестку из военкомата я получил в конце апреля.

– Не ходи, – посоветовали мне друзья.

– Что значит «не ходи»? – не понял я.

– Пройгниориуй.

– Как-то невежливо, – говорю. – Нужно хотя бы отписать им в ответ, поблагодарить за приглашение, извиниться, что не смогу воспользоваться...

– А вот это хорошая мысль, – согласились мои друзья. – Отпиши.

Можешь считать, что белый билет по психической статье у тебя в кармане.

Прохожу призывную комиссию в военкомате. После нескольких врачей попадаю к отоларингологу – немолодой женщине с крашенными в

рыжий цвет волосами. Она мне говорит:

– Станьте в угол.

Становлюсь.

– Закройте правое ухо указательным пальцем.

Закрываю.

– Теперь повторяйте за мной. – И шепотом произносит: – Шестьдесят шесть.

– Шестьдесят шесть, – повторяю таким же шепотом.

– Что? – говорит она.

Оказавшись в кабинете проктолога, один призывник решил симулировать геморрой. Не знаю, как можно симулировать геморрой, но будущий боец настаивал:

– Внимательней, внимательней смотрите!

– А чего мне там смотреть, – вяло отмахнулся проктолог. – Тоже мне музей...

Когда очередь дошла до меня, проктолог велел мне оголеть тыл, нагнуться и раздвинуть ягодицы.

– Вот так сразу? – говорю.

– А чего тебе еще надо? – удивляется проктолог.

– Каких-нибудь предварительных ухаживаний. Ресторан, шампанское, цветы...

На призывном пункте у многих ребят из романо-германского факультета киевского универа было написано на футболках: «Fuck the draft».

Начальство пункта поначалу безразлично отнеслось к этой эскападе, потом, видимо, поступил сигнал, нас всех выстроили, и подполковник, бурля от гнева, принялся орать:

– Типа, умные, да? Типа, думаете, что армейское начальство не знает, что такое «фак»? Отлично знает. И матерщину тут не потерпит. Ну, и что за «драфт»? Что такое «драфт»?

– Сквозняк, – давась от смеха, переводит ему кто-то из университетских призывников.

– Совсем охренели, – говорит подполковник. – Их завтра хер знает куда пошлют, а они на сквозняк жалуются.

С призывного пункта нас забирали какой-то ушастый лейтенант и очень красивый сержант. Лейтенант в своей речи то и дело ссылаясь на внешность сержанта:

– Видите, какой статный сержант Попов? Это армия его так выправила. Видите, какой он красивый? Это армия его таким сделала.
– Товарищ лейтенант, – не выдержал Попов, – меня, вообще-то, не армия, а родители рожали.

Приезжаем эшелон из Киева в Москву. На перроне лейтенант выстраивает нас, зачитывает по списку – двоих не хватает. Он бледнеет, начинает что-то бормотать про дезертирство, тут, как ни в чем ни бывало, появляются двое с мороженым.

– Вы... вы совсем охренели! – орет летёха. – Вы понимаете, что за время вашего отсутствия Родину уже трижды захватили?

Один из «дезертиров», лениво лизнув мороженое, отвечает:

– Так нам уже служить не надо?

В самолете, который летел до Хабаровска, нас кормили жареной курицей и жареной же картошкой. Оказавшийся в соседнем со мною кресле толстяк Илья, быстро умяв свою порцию, заявил:

– На убой кормят.

– Да кому ты сдался, – отвечаю.

– Сдался – не сдался, а жрать в армии туфту придется.

– Ты не забывай, – говорю, – что мы на Дальнем Востоке служить будем.

А там пища особая. Это же край лосося. На завтрак – красная икра, на обед – жареная кета.

– Серьезно?

– Чтоб я сдох!

По приезде попадаем в разные батареи, но едим, конечно, одну и ту же пакость. Как-то встречаемся взглядом в столовой, и Илья бросает мне через пару столов:

– Сдохни!

Приезжаем в часть. Нас выстраивают перед баней. Велят всё с себя скинуть. Раздеваемся, стоим голые. Пять минут. Десять. Пятнадцать. Полчаса. Кажется, полчасти собралось и глазеют на нас. Наконец, появляется прапорщик, начальник вещевого склада, в сопровождении нескольких солдат с обмундированием.

– Приветствую, товарищи бойцы! – провозглашает прапор, слегка пошатываясь и прикладывая руку к фуражке.

Мы отдаем ответно честь – кроме парнишки, стоявшего рядом со мной, который отсалютовал своим членом. Прапор посмотрел на него и

говорит:

– Вот. Вот единственный боец, который знает, что к пустой голове руку не прикладывают.

На третий день службы повезли нас копать траншеи. Роем, мой сосед слева вдруг прекращает рытье и глядит на меня с ухмылкой.

– Чего? – спрашиваю.

– Да, – говорит он, – не хотел в армию идти, а теперь не жалею. Впервые увидел еврея с лопатой.

Я в ответ огрел его черенком лопаты по голове. Не очень сильно, так что на пятую точку он приземлился скорее от неожиданности. Тут мимо проходит младший сержант, командир отделения.

– Чего не копаем? – интересуется он. – Чего на земле сидим?

– Товарищ младший сержант... – начинает мой сосед, но тот его перебивает:

– Лопату в руки и вперед.

Затем подходит ко мне и говорит тихо:

– Ты, бляха, по тем местам бей, где синяков не видно. Культурный, типа, народ, а простых вещей не понимаете.

Старший сержант попросил меня нарисовать медальон с портретом его девушки, приложив фотку. Я нарисовал. Он говорит:

– Похожа. Только некрасивая какая-то. Перерисуй.

Я перерисовал. Он говорит:

– Вот! Теперь красивая. Только не похожа.

Учебка наша находилась в сопках, посреди тайги. До ближайшего населенного пункта было семь километров. В сентябре завелся поблизости тигр-людоед. Командир полка приказал выстроить всю часть на плацу и объявляет нам:

– Товарищи солдаты! Среди вас еще находятся несознательные мудаки, которые ухитряются бегать в самоволку, хотя я, боевой подполковник, не могу понять куда. Имейте в виду: в наших краях объявился тигр-людоед. Вчера этим тигром был атакован старший лейтенант Васин. Старшему лейтенанту Васину было отгрызено правую руку... Товарищи солдаты, прекратите ржание, я не вижу в этом ничего смешного.

В санчасти написал один стишок, показал его Саше Жанайдарову, с которым мы успели хорошо сдружиться. Тот, в свою очередь, прочел его

фельдшерам. Им, видимо, понравилось, они пригласили меня на чай с конфетами.

– Угощайся, братан, – говорят они.

– Спасибо, – отвечаю. – Вы тоже ешьте-пейте, не стесняйтесь.

Более интеллигентный фельдшер Вадик говорит:

– Я, блядь, тихо млею. Поэты все такие наглые, или ты, сука, наиболее яркий представитель?

Поскольку учебка у нас была артиллерийская, нашу батарею отдали в распоряжение ремонтной роты, чтоб мы помогали им строить склад. Работаю рядом с одним сержантом-ремонтником, очень славным, кстати, парнем. Он говорит:

– Братишка, ты откуда?

– Из Киева.

– Хохол?

– Еврей.

– Интересно... Учился?

– Сперва в художественно-промышленном, потом в инязе.

– А какой язык?

– Английский.

– Клёво. Нормально шпрехаешь? Как будет кирпич по-английски?

– Brick.

– А ложить кирпич?

– To lay bricks.

– Полный класс. Слушай, хочешь я побуду рядовым, а ты сержантом?

– Это как? – спрашиваю.

– Ты будешь мне команды по-английски отдавать, что делать. А я буду выполнять. Всё равно из тебя строитель, как из моего... Как будет по-английски «свисток»?

В батарее со мной служил парнишка из Узбекистана Эркин Мухаммадрахимов, который сочинял стихи и даже печатался в центральной ташкентской газете. Однажды он попросил меня перевести один его стих на русский.

– Я, – говорю, – вообще-то, не силен в узбекском.

– Я тебе подстрочник сделаю! – убеждает Эркин.

Словом, перевел я его стих. Эркин прочел и говорит:

– Да, жалко, что ты узбекского не знаешь.

– Почему?

– Из тебя мог бы выйти отличный узбекский поэт!

Крашу на жаре стенд. В тени стенда лежит сержант с – нарочно не придумаешь – фамилией Зверьянский, лениво пожевывает травинку.

Наверно, ему сделалось скучно, решил поговорить со мной.

– Слышь, – говорит, – а как ты, еврей, в армию загремел?

– А что такого? – спрашиваю.

– Вы же хитрый народ. Лукавый. Всегда отмажетесь. Там заплатите, там подкатите. И делать ни хера не любите.

– Очень, – говорю, – интересно слышать это от человека, который валяется в тени, пока я стенд крашу.

– Я свое отпахал, – заявляет он. – А что, чувак, небось, хочется не базарить со мной, а краской плеснуть? Только кишка тонка – сержант, здоровый, бляха, черт... Так?

– Да нет, – говорю, – не очень тонка.

И окатываю его хэбэшку краской. Он сначала застывает от изумления.

Затем подскакивает ко мне, хватает за грудки, потом вдруг отпускает.

– Думал, рожу набью? – говорит. – Не, мне этот геморрой не нужен. Я еще старшиной хочу стать. Но у тебя, сука, ночь будет веселая – всё оттираешь.

Всего через две недели устраивают нам настоящий маршбросок – как было объявлено, сорок километров с полной выкладкой. Я с трудом могу вообразить, чем бы закончилось это удовольствие. Но, несмотря на близость к границе, вокруг царит такой бардак, что планы по ходу меняются. Начальник штаба полка говорит:

– Они даже не представляют, как им повезло.

Короче, нас отводят в лес, мы располагаемся на полянке, вокруг которой растет черемуха, рвем ягоды, нежимся на траве и часа четыре не высываемся оттуда. Снова приходит начальник штаба, на сей раз с нашим командиром батареи.

– Они даже не представляют, как им повезло, – повторяется он. –

Слушай, старлей, даже не приказ, а личная просьба: сделай им два часа строевой. Не могу смотреть на их радостные лица.

В часть нас привезли под ночь и оставили до утра спать в штабе. Я положил под голову вещмешок, в котором находились парадка и фуражка. Спать на фуражке было жестко, и я – от большого ума – вытащил ее и положил рядом. Ночью в штаб наведались визитеры – местные солдаты.

Я проснулся, когда один из них начал копошиться рядом со мною.

– Тебе чего? – спрашиваю.

– Слышь, зёма, – отвечает он. – Давай махнемся. Ты мне фуражку, а я тебе куплю кило пряников.

– Классно, – говорю. – Если что – я с пакетом пряников на голове буду ходить.

Он уходит, я засыпаю, а когда просыпаюсь утром, фуражки не обнаруживаю. Начинаю тупо рыскать в поисках, хотя и так всё понятно.

– Чего ищешь? – спрашивает меня сосед.

– Как чего? – отвечаю. – Пакет с пряниками, конечно.

Приходят за нами несколько офицеров, выстраивают, распределяют по подразделениям. Я, как окончивший артиллерийскую учебку, попадаю в артдивизион. Сам полк – мотострелковый. Забравший меня офицер, замполит дивизиона майор Жижов заводит меня в штаб, усаживает напротив, начинает разглядывать мое личное дело.

– Да, – говорит, – интересно. Еврей в армии – любопытно, любопытно...

– Товарищ майор, – отвечаю, – меня уже, извините, задрала эта еврейско-армейская тема.

– Ну, так меняй, раз задрала.

– Чего менять?

– Или национальность, или армию.

В первый же день в части припирает меня к стенке один здоровенный старослужащий чеченец и спрашивает:

– Дух?

– Цвет и запах, – отвечаю. – Руку убери.

– Борзый, да? Тебя зарезать?

– Сам в столовой отравлюсь, – отвечаю.

Он почему-то убирает руку и говорит:

– Ладно, иди давай.

Я отхожу. Он вдруг окликает меня:

– Эй!

– Что? – поворачиваюсь.

– Будет кто обижать – мне говори. Я его зарезу.

Замполит майор Жижов проводит политзанятие. Рассказывает об агрессивном блоке НАТО. Солдаты откровенно клюют носами.

– Джавадов! – раздосадованно и громко окликает замполит одного

азербайджанца. – Какие страны входят в агрессивный блок НАТО?

– Америка, – отвечает тот. – Англия...

– Правильно, – говорит замполит. – Только надо говорить не Америка и Англия, а США и Великобритания.

– Как? – удивляется азербайджанец. – И эти тоже?

Пересмотрев мое дело, командир дивизиона вызывает меня к себе.

– Так ты в художественном учился? – говорит.

– Учился, – отвечаю.

– Почему не сказал?

– Не спрашивали.

– Ну и чудило. Такие вещи люди сами говорят. Пишешь красиво?

– Нормально, вроде.

– Вот тебе плакатное перо, тушь, напиши чего-нибудь.

Обмакиваю перо в тушь и вывожу на каком-то обрывке бумаги: «Ну и чудило».

Командир читает и говорит:

– Понятно. Пишешь хорошо, критику, типа, воспринимаешь. Писарь на дембель ушел, будешь за него. Только приколизм твой с похуизмом вместе до добра тебя не доведут. С тобой же не я, с тобой наш начштаба, когда из отпуска вернется, дело будет иметь. А он...

– Что он, товарищ подполковник? – спрашиваю.

– Ничего, – отвечает командир, встает и направляется к двери. На пороге вдруг поворачивается и, пересиливая себя, говорит: – Рифмуется он интересно с твоим «чудилой».

Прибыл из отпуска обещанный начальник штаба, майор Мануйлов. С первой же встречи меня невзлюбил, на что я отвечал ему глубокой взаимностью. Он то и дело повторял:

– Ты, хоть и еврей, а меня не наебешь. Я – потомственный кубанский казак.

Перед учениями дает мне задание: написать на фанере тушью «Доска документации дивизиона». Записывает название на бумажке, чтоб я ничего не перепутал. Я, конечно, ничего не перепутал, но решил подсократить себе работу: уж больно гнусно было шкрябать пером по негрунтованной и даже не отшлифованной фанере. Короче, написал я: «Доска дивизиона». А бумажку с записью начштаба по глупости забыл выкинуть, оставив на столе. На следующие утро приходит начштаба.

Читает мою надпись, наливается краской и орет:

– Какая «доска дивизиона»? Ты кого, бляха, под доской имел в виду? К вам сюда плоские телки ходят? Я тебе что велел написать?

– Доска дивизиона, – отвечаю. – Что вы на бумажке написали, то и я на фанере.

– Я такое написал?

– Вы, товарищ майор.

– А подумать своей головой нельзя было?

– Солдатское дело – не думать, а исполнять приказы в точности.

– Ой, бля, кто бы говорил. Ладно, иди.

Он заходит в штаб и, видимо находит бумажку со своей записью. поскольку из штабной комнаты доносится его рев:

– Сука! Мудак! Еврей, бля! Наебать потомственного кубанского казака!

В самый первый день нам, прибывшим в часть, раздали какие-то анкеты. Я заполнил свою, позволив себе пару раз приколоться. Через три месяца появляется в нашем дивизионе специфической внешности майор и осведомляется насчет бойца Юдовского. Меня подводят к нему и – к моему удивлению – оставляют наедине с ним в штабной комнате.

– Товарищ боец, – говорит он, – ты думаешь, можно со всеми шутки шутить?

– Какие шутки, товарищ майор?

– Ты по прибытии в часть анкету заполнял?

– Не помню... Кажется, да.

– Не кажется, а так точно. Ты хоть понимаешь, для кого твоя анкета предназначалась?

– Не знаю... То есть, никак нет. А для кого?

– Для особого отдела. Ты, конечно, можешь шутить с командирами, с замполитом, но с нами не рекомендую. Мы юмор не понимаем. Но оцениваем его правильно. Ты как ответил на вопрос «есть ли родственники за границей»?

– Не помню, – говорю.

– А я помню. Ты ответил: «Если все люди братья, то есть». Ну, так есть родственники за границей?

– Никак нет.

– Вот, уже лучше. А этот вопрос: «Слушаете ли вы вражеские голоса? Например, «Голос Америки»?» Ты отвечаешь: «Бывает, что слышу голоса, а чьи они – не знаю». Я тебе вот что, скажу боец: если хочется под дурку косить – опоздал. Надо было на призывной комиссии. Голоса он слышит...

– Почему – косить? – обиделся я. – Я, между прочим, добровольно в армию пошел.

– Да ну?

– Честно. Мне военком говорит: выбирай, или ты идешь в армию, или на тебя заводят уголовное дело. Я и выбрал армию.

– По-моему, – говорит майор, – ты сделал неправильный выбор. Если не угомонишься – пеняй на себя. И скажи спасибо, что среди нас тоже есть нормальные люди.

Мне очень хотелось обсудить последнюю фразу особиста, но на сей раз я сделал правильный выбор и промолчал.

Подходит ко мне однажды командир соседнего взвода, старлей по фамилии Хорьков, и говорит:

– Слушай, ты ведь, наверно, стихи пишешь?

– А с чего вы взяли, что я стихи пишу? – спрашиваю.

– Ну, – говорит он, – у тебя бывают... ну, как это говорится... глаза тупые.

– Может, – подсказываю, – взгляд отсутствующий?

– Во-во, – кивает он. – Взгляд отсутствующий и глаза тупые. А у меня, понимаешь, завтра ровно год свадьбы, хочу Варюхе, жене, необычный подарок сделать. Напишешь для нее стихи, типа от меня? Я уже открытку купил. – И протягивает мне открытку.

– Ладно, – говорю, – попробую.

– Попробуй. А я в долгу не останусь.

– Вы уж лучше оставайтесь в долгу, – говорю. – На всякий случай.

– Вот сразу видно, что поэт, – заявляет старлей. – Что-то, вроде, говоришь, а чего говоришь – ни хрена не понятно.

Короче, взял я у него открытку, вспомнил о ней только под вечер и быстренько написал какую-то чушь:

*Я хочу с тобою, Валя,
Без печали и тоски
Жить, любя и фестиваля
Вплоть до гробовой доски.*

Через некоторое время в казарму вбегает Хорьков, находит меня, спрашивает:

– Написал?

– Написал, – говорю и даю ему открытку.

Он ее в планшет сунул, не глядя, и помчался прочь. На следующее утро появляется в казарме с оплывшим глазом и орет:

– Где этот, бляха, поэт? Где этот, сука, Достоевский?

Затем обнаруживает меня, подходит, кипя от злости, достает открытку и принимается махать ею перед моим носом и плевать:

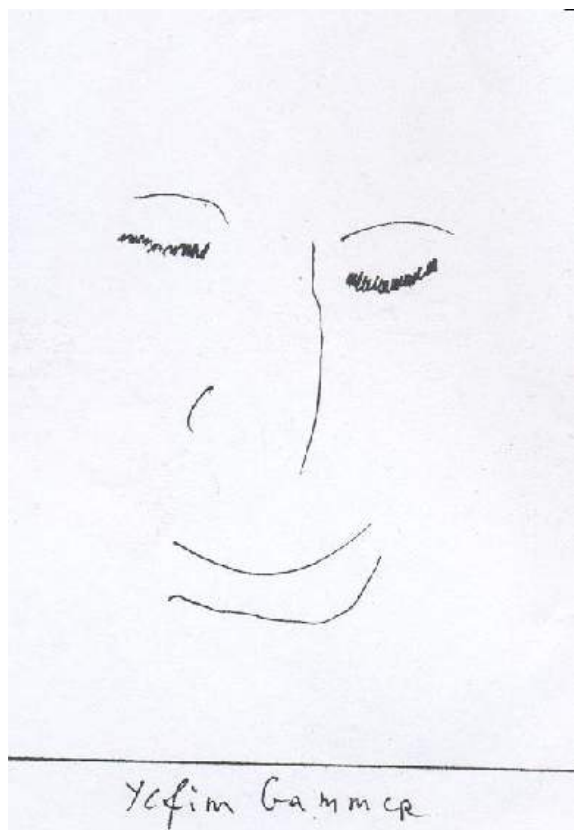
– Ты чего, гад, написал? Ты чего написал, падло?

– А что, – спрашиваю, – рифма плохая?

– Какая, нахер, рифма! Мою жену Варей зовут! Варей, а не Валеи! Она как прочла... Вот бы сейчас тебе так же в глаз захерачить! Она мне говорит: я тебе, говорит, пофестивалю с твоей Валеи. Я тебе, говорит, этой гробовой доской по твоей кобелячей башке дам и ею же накрою...

Устроил ты мне, бляха, годовщину свадьбы. Стрелять вас, поэтов, надо!

ВЕРНИСАЖ
ЖАСИНРЕВ



РУВИМ НЕМИРОВСКИЙ



Родился в 1937 году в Ташкенте. Известный художник и скульптор. Закончил Художественное Училище и Ташкентский Театрально – Художественный Институт. В 1977 г. присуждена Государственная премия УзССР за памятник Беруни. Выиграл 8 международных конкурсов. Известен монументальными работами в Узбекистане: памятники Хамзи,

Беруни, Аль-Хорезми, Шота Руставели, строителям Чарвакской ГЭС и др. Участник многих международных выставок: в Турции, Афганистане, США, Иране, Германии и т.д. Монументальные работы в Мельбурне – «Мост на Балаклаве» и др. Автор грандиозного высотного проекта для Мельбурна «Австралия», который еще ждет своего спонсора и осуществления.

Иллюстрации:

Стр.368

Памятник Аль Хорезми

Стр.369

Портрет Пикассо, керамика

Стр.370.

Портрет Ван Гога, керамика

Стр.371.

Проект памятника «Австралия» для Мельбурна

Стр.372 – 373

Графика Ефима Гаммера.

Один из красивых и оригинальных памятников в Ташкенте, который, увы, не дожид до наших дней – памятник Аль-Хорезми на Чиланзаре, 18. Был открыт в 1983 г. Генеральным директором ЮНЕСКО Амаду-Махтар М'Боу в дни празднования 2000-летия Ташкента. Памятник был изготовлен из гипса и постепенно разрушался. В 90-х был демонтирован.

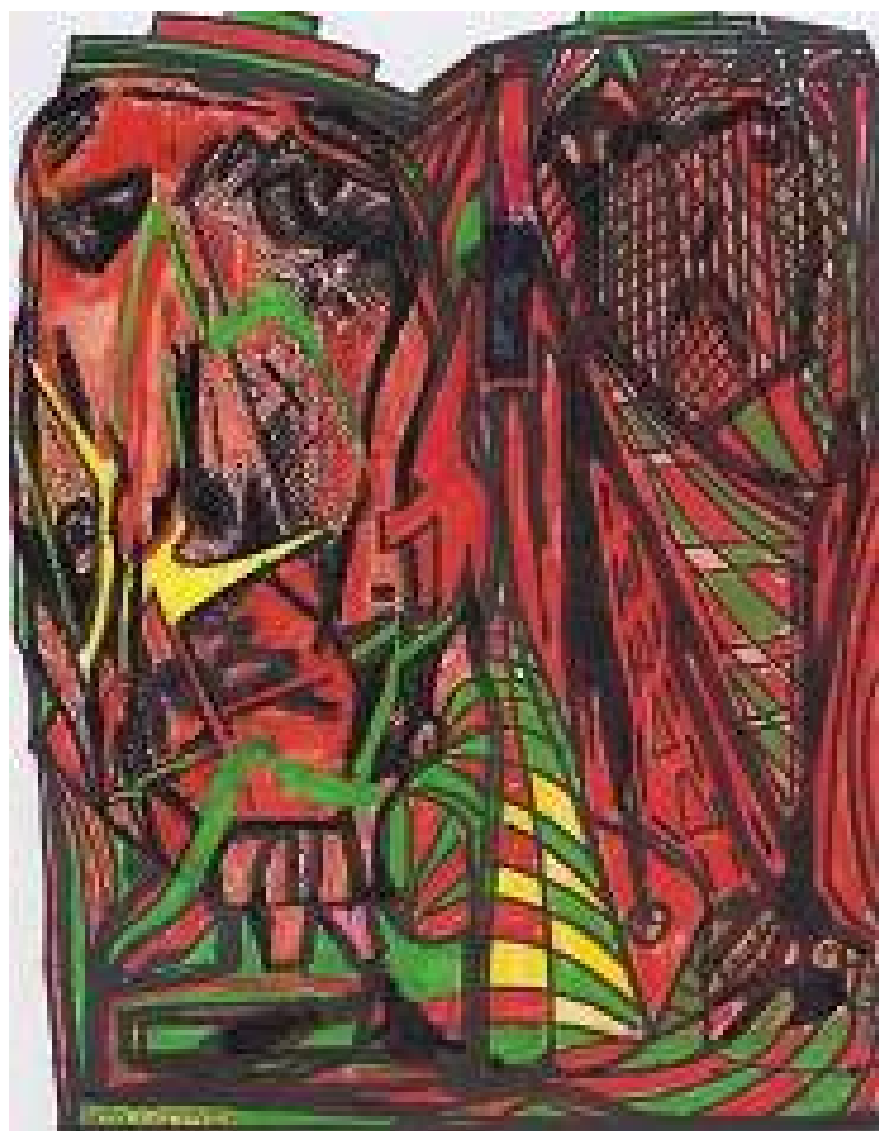
Автору Рувиму Немировскому в январе 2017 исполнилось 80 лет.

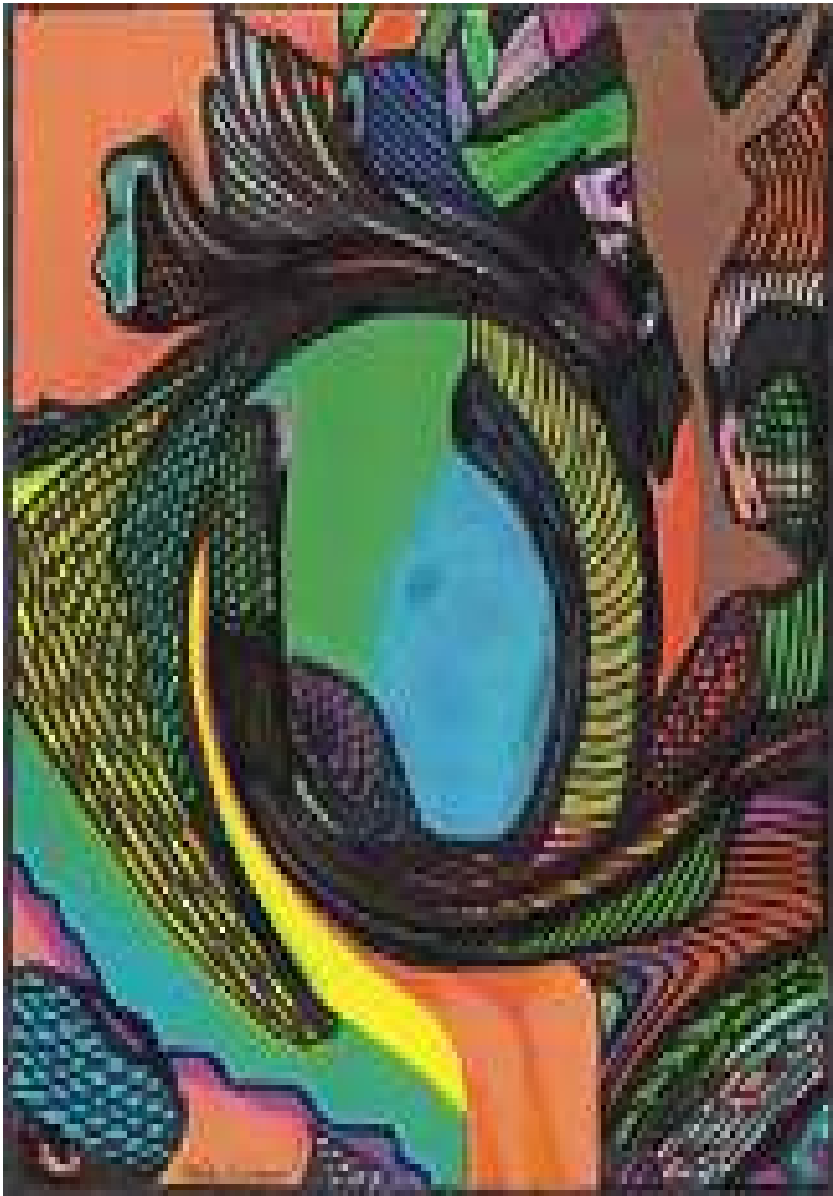












ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПОЭЗИЯ

НУРИ БУРНАШ(ИСКАНДЕР АБДУЛЛИН).....	4
АНАТОЛИЙ АВРУТИН.....	8
ГРИГОРИЙ АМБУРГ.....	13
МИХАИЛ БЕЛОНОГОВ.....	15
ИЛЬЯ БУДНИЦКИЙ.....	19
ЮРИЙ ВАЙСМАН.....	23
ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ.....	27
ДМИТРИЙ ВОЛЖСКИЙ.....	32
АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ.....	36
ЛЮБОВЬ ГОЛЕЙЧУК КОЭН БЕЛЛ.....	38
АННА ГОРЕЛОВА.....	43
ОЛЬГА ГУЛЯЕВА.....	48
ИНГА ДАУГАВИЕТЕ.....	53
СЕРГЕЙ ЕРОФЕЕВСКИЙ.....	56
ТАТЬЯНА ЖИЛИНСКАЯ.....	59
МАРГАРИТА ЗЕЛЕНСКАЯ.....	63
ФАИНА ЗИЛЬП.....	67
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ.....	72
АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО.....	76
НАТАЛЬЯ КРОФТС.....	80
НОРА КРУК.....	85
ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА.....	89
ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ.....	93
ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА.....	98
ОЛЬГА ЛЕВСКАЯ.....	102
БЕРТА МИХАЙЛИЧ.....	106
ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ.....	110
АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН.....	114
МАРИЯ ПАСИКА.....	119
ВЛАД ПЕНЬКОВ.....	124
СЕРГЕЙ ПЛЫШЕВСКИЙ.....	128
КОНСТАНТИН РЫБАКОВ.....	132
ВАЛЕРИЙ СИКОРСКИЙ.....	135
СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН.....	140
АНАСТАСИЯ СОЙФЕР.....	145
ОЛЬГА СУХАНОВА.....	150
ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ.....	154
ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН.....	159
АДАМ ХОЛЬМ.....	164

АЛЕКСАНДР ЮРОВЕЦКИЙ.....	168
МИХАИЛ ЯРОВОЙ.....	170
ЮРИЙ ЯКОБСОН.....	172

ПЕРЕВОДЫ (редактор Галина Лазарева)

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ.....	178
ВЛАДИМИР СЕВРИНОВСКИЙ.....	188
ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВ	195
ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА.....	201

ПРОЗА

ГРИГОРИЙ АМБУРГ.....	205
ЛЕОНИД БОНДАРЬ.....	207
ТАТЬЯНА БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ.....	213
ЕФИМ ГАММЕР.....	223
ИГОРЬ ГРОССМАН.....	239
ЕКАТЕРИНА ДАНОВА.....	243
ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ.....	246
ЛЮДМИЛА МАТВЕЕВА.....	254
ЕЛЕНА МОРДОВИНА.....	256
МАКС НЕВОЛОШИН.....	262
ИРИНА (ЛЯЛЯ) НИСИНА.....	267
ФЕДОР ОШЕВНЕВ.....	275
ИННА РЕЗНИЧЕНКО.....	278
АЛИСА ХАНЦИС.....	282
ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН.....	285
АЛЕКСАНДР ЮРОВЕЦКИЙ.....	289

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК (Потерянные страницы)

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ «РЕ-МИНОРНЫЙ ХОРЕЙ».....	296
ЛЕОНИД ЛАТЫНИН.....	300

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

ЮРИЙ БЕЛИКОВ – ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ.....	308
БЕЛЛА ВЕРНИКОВА.....	319
АНДРЕЙ КРАВЦОВ.....	325
АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКОВ.....	330
СЕРГЕЙ ЛАЗО.....	335

«БОЛЬНО ТОЛЬКО, КОГДА СМЕЮСЬ...»

ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД.....	340
НАТАЛЬЯ РЕЗНИК.....	344

МИХАИЛ РАБИНОВИЧ.....	348
МАША РУБИНА.....	351
МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ.....	355
ВЕРНИСАЖ	366
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	367
(РУВИМ НЕМИРОВСКИЙ, ЕФИМ ГАММЕР)	

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН

АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ

ЮРИЙ ВАЙСМАН

ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ

ИНГА ДАУГАВИЕТЕ

НАТАЛЬЯ КРОФТС

ВАДИМ МОЛОДЫЙ

ИРМА УЛИЦКАЯ

ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА

АНАСТАСИЯ СОЙФЕР

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

